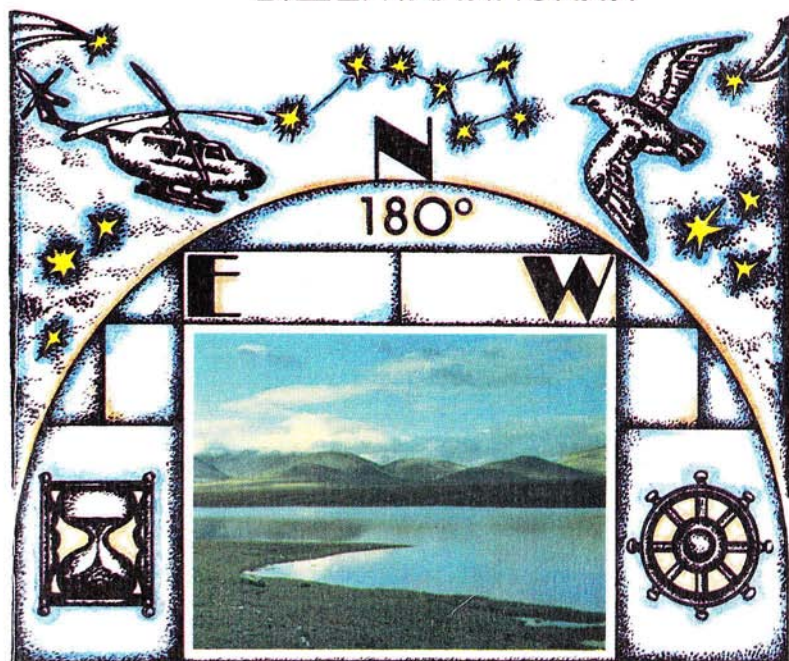


В. ШЕНТАЛИНСКИЙ



**ДОМ ЧЕЛОВЕКУ
И ДИКОМУ
ЗВЕРЮ**



ББК 26.89 (2Р1)

Ш47

РЕДАКЦИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рецензент — почетный полярник
З. М. Каневский

Художник **Е. Л. Гольдин**

Цветные фотографии автора

Ш $\frac{1905020000-000}{004(01)-88}$ 160-88

ISBN 5-244-00154-X

© Издательство «Мысль», 1988

ОГЛАВЛЕНИЕ

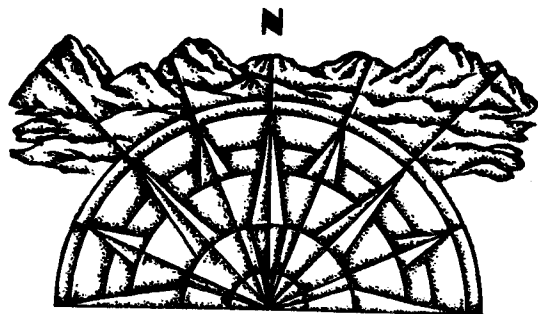
От автора	4
Глава первая ТОЛЬКО ОДНА ЗИМОВКА	5
Первое путешествие во времени ОСКОЛОК ДРЕВНЕЙ БЕРИНГИИ	43
Глава вторая ПО СЛЕДАМ ОНКИЛОНОВ	56
Второе путешествие во времени ЗА КРАЙ ОЙКУМЕНЫ	68
Глава третья ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕНЬ	83
Третье путешествие во времени ОСТРОВ ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД	97
Глава четвертая ШКОЛА ДРЕМ-ХЕДА	123
Четвертое путешествие во времени КОНЕЦ НОВОЙ КОЛУМБИИ	135
Глава пятая ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ УЭРИНГА	159
Пятое путешествие во времени НАНАУН	179
Глава шестая ДОМ ЧЕЛОВЕКУ И ДИКОМУ ЗВЕРЮ	195
Вместо эпилога	235

От автора

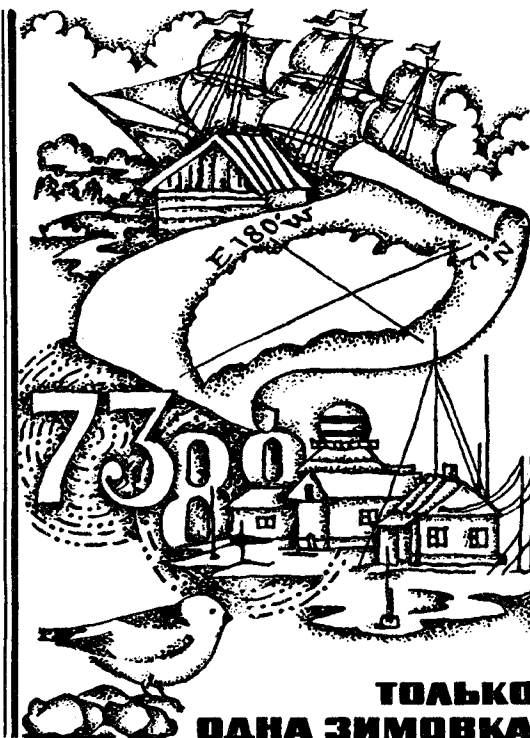
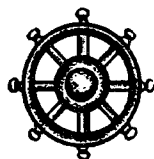
В незапамятные времена, когда таял великий ледник и вымирали мамонты, возник в Северном океане Остров. Менялись эпохи, люди обживали планету, а Остров, похожий очертаниями на растрескавшийся медвежий череп, был необитаем. Долго «открывался» он, трудно осваивался. Люди всегда стремились к этой земле, и каждый шел своим путем и со своей целью, в поисках таинственного берега человек открывал и себя, переступая порог неизвестности, испытывал свои силы.

Сейчас Остров снова стал заповедной землей, но заповедан он теперь не полярной стихией, а волей человека. Мы — свидетели и участники новой его истории.

Эта книга об острове Врангеля, книга-путешествие. Путешествия в обычном смысле слова, в пространстве, будут чередоваться в ней с путешествиями во времени — отдельные главы расскажут об истории этой земли — с момента ее возникновения и до сегодняшнего дня.



ГЛАВА ПЕРВАЯ



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

В деревенской школе, где я учился, на видном месте висела огромная карта с двумя цветными кругами, изображающими земные полушария. Карта эта была, пожалуй, самым ярким пятном в моей школьной жизни, ведь она означала нечто большее, чем просто учебное пособие, она символизировала весь необъятный мир Земли, дарованный каждому из нас от рождения, была в некотором роде взглядом в будущее. Будто перед тобой два иллюминатора, в которые, как из космоса, видишь из своего детского далека всю планету.

В памяти возникает наш первый учитель Андрей Иванович, эвакуированный из Ленинграда инвалид, потерявший там семью да так и застрявший в глухомани. Знал Андрей Иванович обо всем на свете. Вот он сидит под картой на табуретке, нога на ногу, в подшитых валенках, в вечной своей щетине, с длинной самодельной указкой в руке, и что-то рассказывает, то ли про пауасов, то ли про эскимо-

сов, и—что нам больше всего нравится—совершенно не по учебнику.

Тогда-то я и услышал впервые про Остров...

— Скажите-ка, мальцы-удальцы, солдатушки-ребятушки, витьяи в собственной шкуре,—Андрей Иванович никогда не называл нас детьми, что тоже мы очень ценили,—угадайте-ка, какой остров расположен сразу в двух полушариях, и в том, и в этом?—такую загадку задает нам однажды учитель.

Класс безмолвствует. Глаза судорожно бегают по карте. Вездесущий остров не находится.

— Темнота,—печально заключает Андрей Иванович.

Взмах руки, и указка упирается в правый верхний угол карты, к черту на кулички, в тридевятое царство:

— Вот он, собственной персоной. Остров Врангеля! Через него, примерно посередине, проходит сто восьмидесятый меридиан, разделяющий Землю на два полушария—западное и восточное. Таким образом, он, как Фигаро, оказывается и здесь, и там... Усвоили?

Остров Врангеля... Слово произнесено и почти тут же забыто, вернее, подобно кузнечнику, заскочило в самый дальний угол памяти и спряталось там, дожидаясь своего часа.

Только кончилась война, деревня живет искалеченной, полуголодной жизнью, многие из нас потеряли отцов, не успев их запомнить, и матерям не до нас—с рассвета до заката на колхозной работе. Хватает и на нашу долю: сгребаем траву и возим копны, пасем скот, собираем колоски, добываем дрова и вообще помогаем взрослым как можем. Война не обошла ни одной души, всех коснулась своей черной тенью, но жизнь незаметно берет свое.

Звонит звонок, и мы нетерпеливой, шумной гурьбой вылетаем в сияющий день, в мир, который мы тогда обживали и открывали. И он для нас так уютен, в самую пору, как портки, перешитые из материнской юбки, и так же нов, как купленные в сельпо блестящие галоши. Каждый день приносит что-то новое, неведомое начинается рядом—за оврагом, поросшим лопухами и крапивой, за соседней деревней, откуда приходят на уроки мои школьные дружки, за теми страшноватыми, темными лесами на противоположном берегу Камы, что кажутся нам чуть ли не краем света.

Никогда не забуду первое свое настоящее путешествие, еще до школы. Мы заспорили с приятелем, что это там торчит за вспаханым полем, далеко на горизонте... Старая рига, сказал он. Нет, возражал я, смотри, там же две мачты и обрывки паруса. Это корабль, брошенный корабль! Сначала он хохотал, потом злился, но, видно, так сильно была моя упрямая уверенность, что он засомневался: а может, и правда?..

И мы снарядили экспедицию.

Стояла весенняя распутица, моросил мелкий холодный дождь, и поле, по которому мы отправились напрямик к цели, превратилось в непролазную хлябь. Должно быть, мы все же одолели версты две, потому что деревня наша исчезла из виду, скрылась за ближайшим бугром. Дальше потянулась глинистая трясина, в которой мы скоро увязли по колено и окончательно выбились из сил.

— Да ну тебя!—сказал приятель и, с трудом выдирая ноги из глины, поплелся назад. Я же, то ли из упрямства, то ли из-за обуви, которые снимались на каждом шагу, а идти без них я не решался, замер на месте—ни туда ни сюда, заляпанный с ног до головы грязью, размазывая по лицу бессильные слезы.

Приятель все же не оставил в беде, вернувшись в деревню, разыскал мою мать и сообщил ей не долго думая: «Витька утонул!» Скоро пришло спасение. Мать примчалась на телеге, отчаянно погоняя лошадь, сгребла меня в охапку и, плача от испуга и радости, доставила домой.

Так кончилась эта история. И все же, я думаю, случилась она неспроста—иначе почему же и теперь стоит перед глазами прекрасным призраком та рига-корабль...

Кем быть? Вот главное, что надо решать, когда школа позади. Мне повезло: сомнений в выборе профессии у меня никогда не было.

Сколько себя помню, я хотел стать моряком, и только моряком. Как это объяснить? В родне, во всем обозримом прошлом, не было ни одного морехода, да и деревенька наша находилась в предельном удалении от морей и океанов. И не в книгах дело, хотя читал я запоем все, что попадалось: и Жюль Верна, и Стивенсона, и Джека Лондона, и Александра Грина, спутников любого детства, какой мальчишка обходится без них? Так почему все же моряком? Да, наверное, просто хотелось увидеть весь белый свет, а морская профессия казалась для этого самым верным средством.

Через деревню проходил старый тракт—пыльный летом, заваленный сугробами зимой, грязный весной и осенью, он-то и вывел меня в ближайший городок—Чистополь, из которого я направился на колесном пароходе вниз по Каме и вверх по Волге, до Казани, а оттуда, уже по железной дороге,—в Ленинград, морскую столицу державы.

Мир стремительно расширился и неузнаваемо изменился. Я стал курсантом радиотехнического факультета Ленинградского Арктического морского училища (ЛАМУ). Второе слово в названии означало, что впереди нас, курсантов, ждут высокие широты, полярные моря или зимовка в каком-нибудь глухом уголке Крайнего Севера. Но меня это не пугало: главное—новое, неизведанное, а дальше—жизнь покажет.

Честно говоря, Арктику мы, курсанты, представляли себе весьма смутно. Обычный набор стереотипов. Арктика—это

настоящая, «мужская» работа, полярное сияние, крошечные пурги, гитарная грусть по вечерам и, черт возьми, восхищенные письма от далеких подруг, белые медведи, шкуры которых украсят наше жилище... и прочее в том же роде. Будет что порассказать любознательным внукам!

И вот годы учения позади. Помню, перед отъездом из Ленинграда сделал себе подарок: купил на Невском, в книжном развале, уцененный двухтомник Нансена ««Фрам» в Полярном море» Раскрыл наугад — и прочел: «Итак, я еду на Север, туда, в мрачное царство, где не бывает солнца. Там не бывает дня...»

Февраль 1960 года. Москва, улица Разина, Главное управление Северного морского пути. Беготня по инстанциям — оформление документов. Возраст — двадцать лет, специальность — радиотехник и радиооператор, медкомиссия — прививка от оспы, абсолютно здоров.

И наконец, самое важное:

— Мы вас распределили в восточный сектор. Вот... на острове Врангеля нужны люди. Как?

— Согласен.

Географическая загадка, заданная когда-то Андреем Ивановичем, всплыла в памяти и обрела вполне реальный смысл.

Перед отлетом с каждым из нас, выпускников, говорил начальник отдела полярных станций.

— Отныне ваша жизнь — в ваших руках. Отвечайте за нее сами. Не играйте там в героев, геройством вы никого не удивите. Будьте людьми. И научитесь прощать другим мелкие ошибки, не поступаясь главным. Тогда, может, и героями станете.

Это запомнилось.

Передо мной — выдавшая виды, потертая тетрадь в черной клеенчатой обложке, дневник первой зимовки, начатый в день вылета с Большой земли.

Перелистывая тетрадь сейчас, вижу себя как бы со стороны и без прикрас — зеленого, романтически настроенного юношу с нелегким характером и немалым честолюбием, только вступающего в самостоятельную жизнь. И все же рискую довериться дневнику. Однако, читая его, я уже не могу отрешиться от себя сегодняшнего, поэтому на то, что было, невольно накладывается и то, как это я вижу теперь...

БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ

8 февраля

Москва проводила ростепелью и дождем. Но перед самым взлетом тучи разошлись, улыбнулось солнце, и вокруг

сразу просветлело, вспыхнуло, озарилось — как бы на прощание.

Летим из этой внезапной весны в зиму, летим навстречу вращению Земли, пересекая часовые пояса, обгоняя время и «теряя» шестьсот минут жизни. Вернем их через два года, на обратном пути...

Самолет, следующий на Север, совсем не похож на тот, что летит на юг. Вернее, не самолет, конечно, а пассажиры другие: здесь все как бы уж чуточку «свое», «повязанные» Севером, устраиваются неторопливо, привычно, надежно разместив многочисленные сумки и свертки, оторвавшись от земли, надолго отрываются от всей «материковской» жизни. Путь дальний, можно расслабиться, отдышаться, мысленно распрощаться с прошлым и подготовиться к тому, что ждет.

Новички выдают себя сразу.

— Летаю, как баба-яга, в ступе и с помелом, — размышляет вслух старушка, везущая внучку к родителям в Билибино.

Внучка, та тоже никак не может уgomониться, скачет в кресле и говорит громко, на весь самолет:

— А знаешь, бабуля, зачем день и ночь? Я знаю. Солнца-то на всю землю не хватает, вот оно на той стороне посветит немного, а потом сюда придет...

Отблеск заката на крыле. Солнце плавится и оранжевыми потоками стекает за горизонт. И вот уже непривычно быстро, прямо в глазах, его сменяет луна, словно кто-то подкинул из-за другого края земли то же самое дневное светило, но выжатое, бескровное. Мы вступили в пределы ночи.

9 февраля

Когда землепроходцы торили дорогу на Северо-Восток, они шли, пересекая великие сибирские реки, как рубежи, одну за другой. Так же движемся сейчас и мы, только тратим на это не годы и десятилетия, а считанные часы.

«Самолет ведет летчик полярной авиации Иванов», — объявила стюардесса. Сколько их, Ивановых, известных и еще больше неизвестных, открывало и обживало Арктику — начать хотя бы с того Постника Иванова, который триста лет назад первым вышел на Индигирку.

Рейс затаенной, с посадками на всем побережье Ледовитого — так летит камень, пущенный по воде, отскакивая и снова взлетая: Амдерма — мыс Каменный — Диксон — Хатанга... А по сторонам, как и во времена землепроходцев, — однообразный, распахнутый пейзаж: справа — белая, безжизненная ширь тундры, слева — ледяная пустыня океана. Север приходит постепенно, словно втягивая в себя.

Первая ночевка на Лене, в Тикси, или Тикси, как здесь говорят. Разноцветная россыпь огней аэродрома. Пронизыва-

ющий до костей ветер, лютый мороз. Сугробы до самых крыш, наросты льда на окнах, густые выхлопы пара из дверей. Аэропорт забит пассажирами—скопились с нескольких рейсов. Измученный диспетчер поминает недобрым словом писателя, который в своей книге надстроил к здешней гостинице еще два этажа:

— Пусть он и расселяет!

Встречаю здесь однокашников по Арктическому училищу. Один—в грусти и в щетине: успел жениться и теперь покинул молодую жену на два года. Переживает—что-то будет? Другой умудрился просрочить паспорт и потерять деньги в Москве, ожидая рейса, жил неделю на вокзале, но не унывал. В этом маленьком, невзрачном на вид пареньке чувствуется какой-то внутренний заряд, способность все перенести с улыбочкой.

Для этих двоих испытания уже начались.

10 февраля

Чокурдах—Нижние Кресты—Апапельхино... Это уже Чукотка, дальний предел державы.

Старик чукча в белой кухлянке, малахае и торбасах никак не может устроиться в зале ожидания, ерзает на стуле, встает, кружит по комнате и наконец усаживается прямо на пол—так удобнее. Жарко: стаскивает шапку, обнажив коричневые морщины лба и угольно-черные пряди волос. К нему из другого угла робко приближается маленькая девочка, та самая, что спешит с бабушкой в Билибино,—смотрит в упор, изумленно, не мигая. Оба круглые, в мохнатых шубах, вровень от пола, они замирают друг против друга и вдруг вспыхивают улыбкой... Уже подружились!

Апапельхино—воздушные ворота Певека, здесь, в местном радиометцентре, мы, выпускники ЛАМУ, должны пройти стажировку, а потом разъехаться по зимовкам Восточной Арктики.

Добираюсь в Певек на попутном фургоне без окон и сидений, с рыбным запахом и клейкими стенками. Попутчик, заросший бородой до самых глаз, покосившись на мою, по здешним меркам, почти тропическую одежду, цедит сквозь зубы:

— Парень, ты из какой истории? Стиляги у нас не выживают...

Потом этот бородач—он оказался геологом—помог найти радиометцентр и в нем—общегитие. Я уже среди своих «лаушников», как нас называют, их глаза и руки кажутся особенно теплыми, потому что все мы первый раз на Чукотке, а за стеной—сорокаградусный мороз.

И тут узнаю новость—ошеломляющую, невыносимую: несколько месяцев назад погиб наш товарищ, геофизик Олег Романов.

16 февраля

Они висят на стене, у самого потолка,—потертые на сгибах боксерские перчатки Олега. А под ними, на маленьком шатком столике,—стаканы и тарелки со строганиной и хлебом. Певекский ветер-южак сотрясает стены и швыряет в окно горстки сухого снега.

— Вспомним Олега,—говорит кто-то из ребят.

Мы запомнили Олега Романова таким, каким знали еще в Ленинграде, смерть не изменила его для нас. Но она остановила его жизнь, как щелчок фотоаппарата,—раз и навсегда. Это и было самое страшное—остаться навсегда, как на фотографии: не шевельнуть бровью, не улыбнуться, не спросить, не ответить, быть равнодушным к миру—навсегда.

Равнодушного Олега мы не знали.

Жил он жадно, и, наверное, потому все ему удавалось: в науках был первым, на ринге неизменно побивал своих противников и ставил парус лучше всех, когда мы ходили на шлюпках. Друзья не завидовали ему—ведь то, что любишь, всегда принимаешь как свое.

Пасмурным августовским утром Олег сел в «Аннушку», полетел на разведку льдов в Чаунской губе. Возвращались в тумане. Вышли на сопку. Пилот взял высоту, но перед самым гребнем самолет попал в воздушную яму и, ударившись хвостом о камни, взорвался. И все.

Венок ребята делали сами, в первый раз пришлось—еле справились.

Завтра мы простимся, каждого ждет своя зимовка, своя судьба. Из рук в руки переходит гитара.

Опять метель во тьму умчалась, воя,
И на снегу не видно ни следа.
И вот почти над самой головой
Горит зеленая Полярная звезда...

25 февраля

Февраль на исходе, а я все еще не добрался до острова. Сижу на мысе Шмидта, жду погоды. Здесь так: очистилось небо над Шмидтом—пурга на Врангеле, утихло на Врангеле—задуло на Шмидте, наконец, открыты и тот и другой—нет самолетов, все в рейсах. А когда «борт» найдется да загрузится, погода уже опять испортилась.

Пока остров и материк играют друг с другом в прятки, я целые дни провожу в радиометцентре, совершенствуюсь в технике телеграфной работы на ключе (в шутку это называется «давить клопа»). Сижу в основном на связи с островом и уже заочно знаю о многом, что там происходит.

Остров вообще дает о себе знать заранее, он окружен некой дымкой всевозможных слухов, былей и небылиц.

Говорят, недавно один журналист, рвавшийся туда, из-за непогоды издержал на Шмидте весь срок командировки и тем не менее напечатал потом корреспонденцию с подробнейшим описанием островной жизни.

Холостяков в радиометцентре мыса Шмидта называют «чижиками». Живя среди них, я получаю первые навыки полярного быта, а заодно овладеваю местным жаргоном. Лукавые голоса предлагают разные средства борьбы с депрессией, якобы неизбежной на зимовке. Одно из них — «антигрустинчик» — это все напитки, содержащие хоть какой-нибудь процент алкоголя, другое — «тульда-мульда типа салазки» — вид молодецкой забавы, психологической разрядки или просто дурачество. Сегодня вечером «чижики» наказали своего собрата, возмнившего, что он «соловей»: сначала ему пришлось сдать норму ГТО по подтягиванию, потом его швыряли в воздух и заставляли при этом кричать «Есть хочу!» и в довершение всего обязали приготовить ужин — зажарить нельму и вскипятить чай. После часового поклонения литературным богам «чижики» дружно захрапели.

Здесь любят слово «оказия» — удобный случай, для меня сейчас в этом слове — всё. До цели — чуть больше сотни километров, но они-то и оказались самыми долгими.

Как я успел заметить, на Севере представления о времени и пространстве становятся весьма относительными. Гуляя в окрестностях поселка, натываюсь на камень с такой надписью: «Год прошел, как день. Саша... Что имел в виду этот Саша: год его был коротким, как день, или день — длинным, как год, — мне еще предстоит разгадать. Но неведомый Саша подсказал занятную мысль: год-то здесь и впрямь можно уподобить суткам: есть в нем полярная ночь и полярный день, а значит, полярное утро и вечер. Теперь и я буду отмерять свою жизнь в зависимости от всемогущего солнца.

Итак, доброе утро! Оно уже началось.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

8 марта

Сегодня, спустя ровно месяц после вылета из Москвы, я наконец добрался до острова.

Сделать это удалось только с третьей попытки, в первый раз летчики даже не успели разогреть моторы, как дали отбой по погоде, во второй раз пролетели десять минут и вернулись, по той же причине.

Но вот пролив Лонга позади.

Когда самолет поднялся в воздух и взял курс на север и Большая земля стала медленно удаляться и таять в дымке, я вдруг ясно понял, что этот пролив и жизнь мою делит отныне на две части: ту, что была и сейчас как-то сразу,

стремительно отодвинулась в прошлое, и ту, что ждет впереди, неведомую, совсем не похожую на прежнюю.

Скорость прижимает к жесткому холодному сиденью, ты глядишь вниз, в иллюминатор, и вдруг замечаешь, что в Арктике, которую воображал «белой», нет белого цвета — краски ее, чистые и нежные, все время меняются от освещения. По громадным заснеженным полям льда, исчерченным вдоль и поперек колючими швами торосов, плывут, чередуясь, голубые тени облаков и розовые пятна солнца, кое-где пробегают черные молнии трещин, открываются клубящиеся паром полыньи и разводья. Лед не мертв: стужа и снег скрепляют его, а море и ветер, наоборот, разрывают, тасуют и сталкивают, нагромождая и обрушивая целые горные хребты. Вечное движение, непрестанная борьба.

Остров проступает медленно, как на переводной картинке, сверкающими, чуть тронутыми закатом вершинами и постепенно яснее, растет, ширится, заполняя горизонт. Потом все расплзается перед глазами: ныряем в полосу облачности и садимся... прямо в пургу, пронизанную солнцем, плотную и жгучую, как пламя. Оказывается, пока мы летели, остров опять закрылся по погоде, но на сей раз летчики решили не возвращаться, приземлились на свой страх и риск.

Крохотный поселок в бухте Сомнительной, горстка заметенных, еле видных из-за сугробов домиков. До места назначения — бухты Роджерс, где расположена полярная станция — «полярка», как ее здесь называют, мне предстоит еще пятьдесят километров дороги уже по земле, на восток вдоль берега. К счастью, туда отправляется трактор, едва успеваю переодеться в меховую одежду, заботливо предложенную зимовщиками, — и снова в путь.

Шесть часов трактор пробивается сквозь пургу, волоча за собой сани с поставленной на них палаткой. Промороженный брезент ложится на плечи, сгибает шею, звенит и хлопает от ветра. Но под брезентом — весело: один из попутчиков совсем по-русски наяривает на гармошке, и с ней не так ощутимы летящий холод и ледяная каемка вокруг лица, забываешь об онемевших в унтах пальцах.

В поселке оказываемся уже к полуночи. Из-за пурги трудно что-нибудь разглядеть, снег завевает с сугробов, воронками втягивает в фонари. Во мраке вырастают две фигуры, это полярники встречают меня, подхватывают чмодан, ведут домой. Вваливаемся прямо в кают-компанию, где сейчас в сборе вся полярка и самый разгар веселья — 8 марта, Женский день!

Оглушен голосами и музыкой, ослеплен ярким светом, расстрелян взглядами. Усаживают за стол.

— Ешь, пей и удивляйся. Но от масс не отрывайся!

9 марта

Начальник станции Захар Минович Завальный выдает мне на складе «полярную экипировку»: шапку, куртку меховую, костюм ватный и хлопчатобумажный, валенки, кирзовые сапоги, свитер, перчатки, рукавицы, портянки—0,4 метра... Потом за номером двадцать шесть аккуратно заносит меня в контрольную книгу, в список зимовщиков.

— Ну что, душа,—говорит он,—день на устройство, а завтра—на работу.

Пурга утихла, можно осмотреться.

Полярка—с десяток домов и служебных построек—разместилась на низкой галечной косе внутри бухты Роджерс. С юга бухта отгорожена другой, внешней косой, за которой громоздятся торосы пролива Лонга. Если подняться на высокий коренной берег острова, соединенный с поляркой узкой полоской суши, попадешь на «факторию», в поселок оленеводов и охотников, к северу от него тянутся сплошной цепью пологие горы. Далеко на востоке горизонт оборван синеватым уступом мыса Гаваи, на западе, гораздо ближе,—черными обрывами мыса Пролетарский, там тонкой черточкой прорезает небо мачта с Государственным флагом. Вот и все видимое пространство, в котором предстоит жить.

Наша полярная станция—одна из самых дальних. Ковш Белой Медведицы висит здесь непривычно высоко. 140 километров от Чукотки, 500—от Аляски, 2 тысячи—от Северного полюса и 12 тысяч—от Москвы. Остров по форме напоминает эллипс, вытянутый в широтном направлении между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, и служит естественной границей между ними. Площадь его внушительна (максимальная длина 140, ширина 80 километров—размеры маленького европейского государства), он обозначен на всех картах мира, даже мелкомасштабных, а население—как в деревне моего детства. Запишу географические координаты: 71° северной широты и 180° западной долготы—и место действия обозначено.

Что касается времени действия, то... мы первыми на Земле, на десять часов раньше Москвы, встречаем день, ибо именно с нашего меридиана начинается он шествие по планете. Стало быть, когда в Москве ложатся спать, у нас уже в разгаре новое утро. К этому тоже надо привыкнуть.

Что же такое наша полярка? Это небольшая геофизическая обсерватория, круглосуточная служба Погоды и Природы. Цель ее работы—комплексное изучение гидрометеорологического режима острова и прилегающих к нему районов и оперативная работа: обеспечение сведениями о погоде и состоянии моря самолетов в небе Восточной Арктики и судов на трассе Северного морского пути.

За всем этим стоит сложный труд метеорологов, аэрологов, гидролога, чей девиз—«Пишем то, что наблюда-

ем, а чего не наблюдаем—не пишем», и других специалистов, без которых жизнь станции просто невозможна,—радистов, механиков, поваров... И хотя между разными службами существует негласное соперничество, и радисты, к примеру, пикируясь, называют метеорологов «ветродуями», а те их—«клоподавами», однако все понимают, что друг без друга им не обойтись. Когда же страсти чересчур накаляются, успокаивает всех начальник, получивший прозвище Душа (по его любимому выражению), большой мастер по части компромиссов. Он—самый старший и самый опытный зимовщик—«заболел» Арктикой еще во времена Челюскинской эпопеи и с тех пор не разлучается с высокими широтами.

Полярка—это как бы корабль в автономном плавании. Ни много ни мало—двадцать пять человек: мужчины и женщины, холостяки и семейные, пестрые судьбы, разные возрасты, несхожие характеры. Одна из примерно ста станций, разбросанных на территории от Баренцева до Чукотского моря, рядовая труженица Арктики. О такой редко пишут в газетах, говорят по радио.

Сроки метеонаблюдений—каждые три часа, в любую погоду. Профессиональные взгляды в небо и на горизонт (облачность, видимость, осадки, оптические и прочие явления природы), кривые на лентах самописцев, радиозонд, улетающий ввысь, гидрологические рейды, бесконечные ряды цифр, в которых зашифрована погода, писк морзянки в радиорубке, ровное таракхтение дизеля. Скрип шагов по снегу, лай собак, столбы дыма из труб. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня... Время от времени—авралы: расчистка территории от снега, заготовка воды и угля. Ну и неременная общественная нагрузка—мне, например, уже поручили стенную газету «Полярная звезда» и библиотеку.

Словом, ничего необыкновенного. Достославное прошлое только изредка вдруг напомнит о себе—надмогильным памятником с пожелтевшей фотографией человека в морской форме и надписью: «Доктору Вульфсону, погибшему за советские принципы освоения Севера», остатками разбившегося бог весть когда самолета в дальнем углу косы и деревянным винтом от него, прислоненным к стене «механки»...

Есть на острове еще одна служба, которая подчинена непосредственно «району»—Певекскому радиометцентру. Называется эта служба КС (контрольная станция), и функция у нее совершенно особая—контролировать радиозфир Восточной Арктики, от Крестов Колымских до бухты Провидения.

Маленький квадратный беленый домик с высоченной мачтой и окнами, глядящими на восход, стоит в километре от полярки, на самой окраине колхозного поселка. В войну здесь размещался радиомаяк, а теперь вот—КС...

Туда-то я и назначен распоряжением свыше. Сегодня в ночь выхожу на первую вахту.

УЧАСТКОВЫЙ ЭФИРА

25 марта

Включаю приемник, и комната наполняется голосами. Человечество поет, танцует, молится, доказывает свою правоту, изобличает себя во лжи, спешит сообщить новости, повторяет избитые истины, делает открытия, желает себе спокойной ночи и поздравляет с добрым утром. Разделенные на земле тысячами километров, часовыми поясами и государственными границами, языковыми барьерами, цветом кожи, убеждениями и национальными обычаями, люди встречаются в небе, и через чуткое «ухо» антенны их разногласица попадает в волшебный ящик на моем рабочем столе. Вслушиваясь в эфир, особенно остро чувствуешь, что люди все-таки одна семья, пусть не очень дружная и благополучная. И радисты, при всей скромности их профессии,— те, кто помогает семье быть единой.

Радио—это организация, руководство всеми работами в Арктике. Это безопасность авиapolетов и мореплавания. Это сбор научной информации. Да и просто личная жизнь каждого с тысячами проблем, неотделимая от жизни всего человечества. Кто-то сказал, что связь похожа на воздух: если она есть, ее не замечают, если нет—задыхаются.

Эфир никогда не спит. Невидимый провод—и на другом его конце невидимый собеседник. Кто он? Какие заботы одолевают его? Не случилась ли беда? Незримо и невесомо слово, но, переданное по радио, оно становится делом и способно двигать жизнь, дать знать, что делается на целой планете, помочь преодолеть одиночество, спасти когс-нибудь за тридевять земель. Маленькие походные рации, дальнобойные мощные приемопередатчики, солидные многоканальные центры—узлы связи. Волны средние, короткие. Телефон и телеграф...

В шорохи и потрескивания врываются частые ритмы морзянки—как дробь работаг дятлов, стремительный поток точек и тире: настал очередной срок сбора метеоинформации, самолет просит пеленг, передается штормовое предупреждение, кто-то долбит «частник»—частную корреспонденцию. В этих точках и тире может быть все, что угодно. Телеграммы деловые и личные, обычные и шифрованные, длинные «простыни» научных отчетов и короткие, но всем приятные «73»—добрые пожелания или тем паче «88»—поцелуй и любовь. Некоторые знаки даже можно петь, например, в цифре «2» (ти-ти-таа-таа-таа) любому радисту слышится: «Я на горку шла...», а в цифре «7» (таа-таа-ти-ти-ти)—«Дай, дай закурить...»

Радиоэфир—особый мир, и ориентироваться в нем не так-то просто. Поначалу я путался, не успевал за «скоростниками», быстро уставал: несколько часов работы, и в ушах—шум, будто жарят картошку. Постепенно стал привыкать... И скоро уже узнавал многих радистов по руке—ведь у каждого свой, индивидуальный телеграфный почерк и стиль. Настоящие асы не гонятся за скоростью передачи, не нервничают, а стараются учесть возможности коллеги, чтобы связь шла не столько быстро, сколько слаженно и четко, без сбоев и повторов.

Эфир—стихия радиста, и в нем я—участковый милиционер. Ведь в эфире тоже нужен порядок. Радиотехники-операторы—нас на КС трое, сменяя друг друга, круглосуточно дежуриим в эфире.

Один приемник у нас всегда настроен на волну шестьсот метров, предназначенную для аварийной связи. Дисциплина в эфире на этой волне особенно важна, сорок восемь раз в сутки на нее настраиваются все. Наступают три минуты молчания. Слушай: не прозвучит ли в эфире сигнал тревоги—ТТТ (три тире) или сигнал о помощи—SOS (три точки—три тире—три точки)? И если такой сигнал раздастся, реакция должна быть одна—помочь, таков закон, общий для всех на планете. Шестьсот метров—в основном волна тишины. Наш долг—наблюдать, чтобы никто не занимал ее обычной передачей и тем более болтовней. А если кто-нибудь попытается это сделать, короткая кодовая фраза QRT («прекратите работу») прервет нарушителя.

Другой приемник мы все время перенастраиваем, его «ухо» улавливает голоса отдельных станций и следит, не срывают ли радисты установленных сроков связи, не отклоняются ли от разрешенных частот и не залезают ли на чужие, не нарушают ли правила радиообмена и международного переговорного кода, понятного всем, не засоряют ли эфир пустым трепом, не грубят ли друг другу (и такое случается)—в эфире тоже есть своя этика.

Это все больше профилактика. Бывают и нарушения посерьезнее. Недавно, в непогоду, самолет ледовой разведки долго просил у одной береговой станции пеленг (самолеты снабжены радиокompасами, настроенными на частоту какой-нибудь наземной радиостанции, и пеленг помогает им определиться), но напрасно—радист станции не вышел на связь, в результате самолет пошел на вынужденную посадку и потерпел аварию...

Любое преступление предполагает наказание. Мелкие нарушители наказываются предупреждениями, а особо злостные, «трудновоспитуемые»,—строгачами и штрафами.

Каждая моя вахта—это путешествие в эфир. Включаю приемник—и «возношусь». Порой там толкотня, как в транспорте в часы пик, порой полоса сравнительного покоя.

Вот громко загудел и наш остров: «Я УОЩ, я УОЩ. Как слышишь, Большая земля? Прием...»

7 апреля

Три жилых дома полярной станции выстроились вдоль кромки моря — «Болгария», «Индия» и «Япония». Кто и когда дал им такие названия — неизвестно, но традиция соблюдается неукоснительно. Еще один дом — кают-компания, здесь кухня, столовая, библиотека, кинопроектор, старенькое расстроенное пианино и... «крематорий» — самое популярное место, тесный закуток, заставленный полками с книгами, где по вечерам, в клубах табачного дыма, стучат костяшками домино, раздаются взрывы смеха и можно услышать самые интересные истории и байки.

Я живу в «Болгарии», в одной комнате с инженером-гидрологом Казимиром Михневичем. Это добродушный скептик с румянцем и лысиной, дремучий холостяк. Первое, что вижу, проснувшись, — огромный плакат на противоположной стене с надписью: «В наш здоровый быт алкоголю путь закрыт!» и на его фоне — вздернутые к потолку ноги Казимира, стойка на голове — его боевое положение на звон будильника. Казимир и в самом деле равнодушен не только к алкоголю, но и к курению, домино, картам, охоте и к прочим пагубным и протистельным слабостям. Его всепоглощающая страсть — чтение. Бывает, в разгар зарядки вдруг не выдержит, потянется за книжкой — и все, уже не оторвешь. Утром надо спешить на завтрак в кают-компанию, Казимир наполовину одет, но вот опять в руках книга, буркнет: «Сейчас догоню!»... а вернешься — сидит в той же позе, в одном валенке, уткнувшись в страницу. С соседом мне явно повезло, он многознающ и деликатен, не любит никакой показухи и фальши — будет чему поучиться!

Правда, недавно Казимир, по его словам, опростоволохился. Прилетали кинооператоры, снимали сюжет об острове. Набрели и на гидролога у футштока, прицелились камерой. Я, говорит, не выдержал, обнажил голову перед кинематографом, больно уж шапчонка у меня неказистая. Но оператор потребовал надеть шапку — лысина для Арктики, оказывается, нетипична. «Кинозвезды из меня не получись», — заключил Казимир.

Отправляясь на вахту то в день, то в ночь, я каждый раз прохожу через весь поселок и вижу, как он бодрствует и спит, как пробуждается и уходит ко сну. Трасса испытанная — вдоль силового кабеля, протянутого от полярки до КС. Поселковые собаки уже привыкли ко мне, встречают и провожают, дети, как в деревне, дружно кричат «здрассте», и, если есть лишняя минутка, можно съехать с ними на фанерке по ледяной дорожке с обрыва.

Вот прошла на метеонаблюдения Лидия Ивановна Красина, женщина одинокая, строгая, с какой-то своей тайной, закутавшись от макушки до пят — значит, быть пурге, такое уж у нас испытанное поверье. Выпрягает собак эскимос Нанаун, вернулся с охоты. Перекинешься с ним словом, потрогаешь песцовые шкурки, то ли шутя, то ли всерьез Нанаун научит, когда лучше бить нерпу во льдах — в месяцы, в названиях которых есть буква «р»... Приглашает с собой на охоту, проверить. Обхватив руками палку, продетую под локтями за спиной, зашагал в тундру к своим олешкам пастух Тымклин. Пахнуло хлебным духом из пекарни — не заглянуть ли туда? — пекарь Граня Кизнерцева угостит свежеспеченной горбушкой — что может быть вкуснее!

Но вот я уже на месте, принял вахту. Вдруг слышу, кто-то топчется на крыше. Это не медведь, это Казимир — там, наверху, у него обзорная точка, пункт ледовых наблюдений, благо с крыши «казски» видно на двадцать километров окрест. Спустится выпить чаю, поаязит насчет «ледяного безмолвия». Что-нибудь вроде:

Бело-серый, серо-белый
и совсем простой на вид.
И кому какое дело,
как он в Арктике лежит?..

8 апреля

Я в курсе всех событий, происходящих в Арктике, и не из простого любопытства, а по долгу службы. Исследовательские работы здесь нарастают лавинообразно, причем происходит это по всем возможным путям проникновения в высокие широты.

Один путь — на льду. Почти все станции «Северный полюс» (СП) начинают дрейф к северу от нашего острова, так что он становится ближайшей к ним частью родной земли. Но дальше дороги расходятся: станция или уносится трансарктическим течением через Полярный бассейн к Гренландскому морю, или же гигантским водоворотом льдов и воды закручивается по часовой стрелке, по «сю сторону» от полюса (система антициклонального дрейфа).

Сейчас между островом и полюсом оказались сразу две станции — СП-8 и СП-9. «Восьмерка» ближе к нам, и о ней известно больше. Судьба у этой первой комсомольско-молодежной станции трудная: зимой — опасные подвижки льда, грохот торошения, летом — наводнения. Так случилось, что рядом оказалась американская дрейфующая станция «Альфа-2» («Чарли»). Однажды американский радист дал сигнал тревоги: «Льдина лопнула!» Вскоре прилетел самолет, исследователи «Альфы-2» спешно покинули лагерь. А СП-8 продолжает работать, хотя льдину под ней ломало уже около двадцати раз!

Другой путь исследований—воздушный, с посадкой самолетов на лед. И опробован он был тоже через остров Врангеля и возле него—на полюсе относительной недоступности—в 1941 году. Потом океанологическую съемку Арктического бассейна стала выполнять ежегодная Воздушная высокоширотная экспедиция «Север». Результат ее работы—открытие (одно из самых крупных в нашем веке) громадной горной системы на дне Ледовитого океана и опровержение существовавшего до того мнения, что этот океан—сплошная глубоководная впадина. Нынешней весной в небе Арктики—уже двенадцатая по счету экспедиция «Север». Интересно, что нового достанет она со дна океана?

Еще один путь проникновения в сердце Арктики—подледный. И он используется. Два года назад от Аляски до Гренландии, через Северный полюс, проплыла подо льдами американская подлодка «Наутилус».

И наконец, самый старый и испытанный путь—морской. В прошлом году мимо острова прошло на север гидрографическое судно «Ломоносов» и установило рекорд дальности плавания со стороны Чукотского моря, пробившись до широты 75°41'. А сейчас все ждут сенсации. Летом начнет действовать первый в мире атомный ледокол «Ленин», он наверняка резко удлинит навигацию.

ВРЕМЯ ПТИЧЬИХ ПЕРЕЛЕТОВ

12 апреля

Весна по обычным меркам—с марта по май—к острову совсем не подходит. В апреле—мороз до сорока градусов и ветры до сорока метров в секунду!

Весен здесь несколько: на небесах—весна света, она уже в полном разгаре; на земле—своя, весна снега,—она еще не началась, солнце хотя и светит, но не греет; на море—весна льда—до нее ох как далеко, раньше июля торосы не зашевелиятся. Лучше уж я буду придерживаться своего календаря—продолжается полярное утро...

На станции—переполох: дежурный наблюдатель увидел на метеоплощадке свежие следы медведя. И наконец, у старого склада наткнулись на самого зверя—лежит себе, поспывает. Здо-ро-венный! И не собирается уходить, сколько ни пугали ракетами. Сутки жили в терроре, запрашивали разрешение на отстрел, а когда получили, вызвались «храбрецы», палили сразу из нескольких карабинов. Мишка побежал по бухте, как-то удивленно оглядываясь на каждый выстрел, потом, взметнув снег, повалился...

А у меня никакого азарта, просто жаль зверюгу. Жалко-то жалко, а котлеты из медвежатины в кают-компании ел, и, признаться, вкусными показались!

2 мая

И у людей на острове тоже, оказывается, своя, особая весна. И начинается она сразу, вдруг, в одно прекрасное утро...

Выйдешь на крыльцо, а там прыгает как ни в чем не бывало кругленькая беленькая птичка с темной спинкой, деловито суетится, будто и не улетала никуда. Вот с появления этой птички—пуночки—и начинается настоящая весна в Арктике. Шутка ли, семь месяцев пернатых не видели и не слышали, а тут—такая милая, домашняя и чирикает, как воробей. И зимовала эта вестница весны где-то в середине Европы, может быть, у твоего родного дома. И замечает, что ветерок вроде уже не такой, как вчера, помягче, поласковей, и солнце в первый раз не только светит, но и греет, даже припекает чуть-чуть—словом, что-то решительно изменилось в жизни, веселей на душе, все смотрят именинниками.

Сначала пуночки появляются поодиночке, но с каждым днем их становится больше, и пока кругом нетронутый снег, они стайками выются вокруг домов, ищут, чем подкормиться и где погреться.

В конце апреля налетела еще одна, короткая, но жесткая пурга и принесла пуночкам беду: многих унесла в торосы и, наверно, немало побила там. Несколько мертвых птиц нашли мы и возле домов. Трудно быть первыми.

Эта пурга (хорошо бы последняя) совершенно преобразила поселок—раздела его донага, разнесла и развеяла все сугробы, которыми дома были закрыты до крыш, и теперь поселок стоит какой-то сырый, почерневший от проступившего шлака и копоты на почти обнаженной земле. Вот что такое врангелевский ветер.

В ночь на 1 мая мы с аэрологом Толей Печереем отправились на Гаваи за чистиками. Эти небольшие птицы начинают обживать прибрежные скалы одними из первых. Чистики—«свои», «северяне», они зимовали недалеко, у морских разводий, и теперь могут занять лучшие места на птичьих базарах.

И тут я убедился, что настоящего охотника из меня никогда не получится. Не в том дело, что мажу, тут и мазать-то нечего. После каждого выстрела стая снимается, делает круг и возвращается на прежнее место.

Беда в том, что мне их жалко. И ничего с этим не поделаешь. С таким слюнтяйством на охоте делать нечего.

Особенно мучительно добивать подранков. Не каждую ведь убьешь с первого раза, скатится чистик к твоим ногам, дергается, перебирает лапками, трепещет—нет уж, увольте! После второго подранка я почувствовал такое омерзение к себе, что свет стал не мил.

Вот Печерей—охотник, он к таким вещам относится спокойно, ему и винтовку в руки. Начал меня стыдить... Нет, не могу! Разве что голод заставит.

Ну, не охотник, невелика потеря, не всем же ими быть. Решил для себя—не буду стрелять, и сразу легче стало. И тут только увидел, какая красивая это птица—чистик. Совершенно черная, с блестящим отливом, только на крыльях—белые «зеркальца» и лапки ярко-красные, за что и прозвали ее «краснолапкой». На каменных выступах чистики выстраиваются столбиками, как пингвины, но чаще прячутся в щелях между камнями и выпархивают неожиданно, с пронзительным свистом, иногда перед самым носом.

С Печереем подружились, разное отношение к охоте нам не мешает. Его «коньки»: научная фантастика и гитара, причем он не только играет и поет, но и сам немного сочиняет. Лирика в себе старается подавить внешней жесткостью, джекклондоновщиной.

12 мая

В тундре еще бело, лишь кое-где появились проталины, но птиц заметно прибавилось, тут и кулики, и чайки, и поморники. Остров на глазах оживает. На морском льду там и сям, как веснушки, высыпали нерпы. А вчера в кают-компании жужжала муха—целое событие! Решено муху не трогать, все-таки еще одна душа.

И у людей оживление. Снаряжаем на мыс Блоссом выносную станцию—двух наших полярников, им предстоит прожить в безлюдном месте до самой осени—снабжать суда и самолеты во время навигации сведениями о погоде и пеленгами. Вернулись с охотничьих участков эскимосы—давно закончен промысел песка, сдана пушнина, и теперь, до вскрытия моря, они промышляют во льдах лахтака и нерпу.

Сегодня солнце не зашло за горизонт—начался полярный день.

2—7 июня

В двадцатых числах мая на остров потянулись вереницы гусей, они проплывали низко над землей с востока на запад, вдоль гор, и ничего не боялись. Огибая поселок, белоснежные птицы с черными кончиками крыльев пронеслись прямо над крышей «казски», и гортанный их крик, врываясь в открытую форточку, по временам заглушал морзьянку. Всеми овладела охотничья лихорадка, в тундре то и дело хлопали выстрелы. Тут не столько забава и повод размяться, сколько прямая польза: на станции давно нет свежего мяса, а тушенка, которую мы именуем «рябчиками», так осточертела, что кое-кто просит повариху Антонину Ивановну не класть консервы в тарелку и довольствуется одним гарниром. Дичь, конечно, праздник для желудка.

По традиции, принятой на острове с момента его заселения, было решено снарядить отряд на гусяное гнездовье для сбора яиц. Выбрали троих—механика Ильича, Печерея и меня.

Трактор тащил по грязному, осевшему снегу сани, а мы с Анатолием, раздевшись по пояс, вбирали в себя солнце и слушали крики перелетных стай. Вдоль берега транссирующими очередями пронеслись утки—верткие, длиннохвостые морянки и массивные гаги. Особенно красивы «гагуны»—в пестром, многоцветном наряде. Кое-где в тундре уже зеленеет трава, раскочивались первые цветы—незабудки, маки, лютики.

— Эй вы, горе-полярнички!—насмешливо кричал из кабины Ильич.—Вы что, в Сочах, что ли? Померзнете, как цыплята!

К концу дня холод и в самом деле взял свое, возвратилась зима, пришлось натягивать полушубки.

Против бухты Сомнительной трактор резко свернул вправо и, перебравшись по Вьючному перевалу через южную горную грядку, втянулся в центральную часть острова. Несколько часов спустя мы подъехали к гнездовью в долине реки Тундровой.

Печерей забыл взять с собой темные очки, и у него начали побаливать глаза, но мы не придали этому значения. Разбили палатку прямо на санях, подкрепились все той же тушенкой и чаем с галетами и отправились к гусям.

Вся долина была усеяна, как хлопьями ваты, белыми пятнами—гусиными парами. При нашем приближении они неохотно оставляли гнезда с кучками больших белых яиц. Собирая их, мы строго следовали инструкции: обязательно оставлять в гнезде хотя бы одно яйцо, тогда гусыня добавит к нему еще и урона птицам не будет, и ни в коем случае не разрушать самого гнезда.

На другой день, когда мы уже загрузили яйцами несколько ящиков, погода испортилась: тучи опустились на вершины сопок, потемнело, ветер понес снег; земля, казалось, уходила из-под ног, мы очутились в потоке несущегося снега, как на дне реки. Ильич заторопил с отъездом. Ждали Печерея, куда-то он запропал.

К ночи разыгралась пурга. Стреляли из ракетницы, потом Ильич завел трактор, включил фары и поворачивал машину во все стороны, а я уходил в пургу, стараясь не упустить из поля зрения луч света, пока он не превращался в зыбкое, мерцающее пятно. Лицо, обгоревшее на солнце, насеченное снегом, распухло и саднило.

С Печереем мы чуть не столкнулись—он беспомощно горбился на ветру, прикрыв руками глаза. В палатке уложили его в кукуль и приложили к глазам чайные примочки.

— Я так и знал!—ворчал Ильич.—Снежная слепота.

Классический случай!

Еще сутки трактор пробивался к станции, и все это время пурга то стихала, то начинала дуть с прежней силой, а Печерей ворочался в мешке и постанывал от боли.

Итогом поездки была существенная добавка на камбуз. И урок на будущее—что значит забыть хотя бы одну единственную, необходимую в тундре вещь.

СЛЕДЫ

Июль

Главное событие месяца—десятидневный поход по острову.

Началось все неожиданно. К нам прилетели работники одной из сибирских зообаз, чтобы определить промысловые ресурсы острова и организовать отлов животных для зоопарков. Они попросили полярников выделить им в помощь человека для обследования восточного побережья. Выбор начальства почему-то пал на меня—уговаривать не пришлось, мне самому хотелось узнать остров получше.

Возглавил группу охотовед Кошкарев—немолодой уже, молчаливый человек, хорошо знающий тундру и всякое зверье в ней. С ним был смуглый, скуластый парень, заводной и азартный, звали его Игорем, но на острове сразу переименовали в Студента, потому что он считал своим неперменным долгом сообщать всем, что он «будущий ученый».

Дело мы худо-бедно делали: вели подсчет птиц и нерп, тщательно отмечали звериные следы, обсуждали, какое животное где и как лучше отлавливать. В походе вести записи было некогда. Восстановлю по памяти день за днем.

10 июля

Итак, мы не спеша шагали по сырому мшистому берегу на восток. Бездонно и тихо голубело небо с серебристыми перьями облаков; солнце в эту пору совсем не покидает его, только на минутку ныряет за гребни Центральных гор, словно для переодевания, и тут же выкатывается обратно. Жаль, мы слишком редко смотрим на небо, а ведь по живописности ничто не сравнимо с ним. Недаром такой знаток природы, как Паустовский, говорил, что из всех наук метеорология ближе всего к поэзии.

Слева, словно ископаемые животные, горбились черные и рыжие сопки, над ними взлетали снежные пики дальних вершин: там, в мрачных ущельях, таяли неистощимые снежники, грохотали реки, рождались ветры. А на юге небо смыкалось с кривой линией торосов, лед еще не взломало, не отнесло от берега, и только в устьях рек зеленели полыньи. Иногда что-то ухало, лопалось, оседало в море,

этот звук на мгновение перекрывал щебет птиц и клекотание ручьев.

Переправа через самую большую реку восточного побережья—Клер—доставила нам много хлопот, в поисках брода пришлось идти вверх по течению далеко от устья, а значит, и от основного маршрута. И все же вода залила бахилы, мы вымокли по пояс. Поэтому первое, что пришлось сделать, когда перед нами снова оказалось море,—развести костер и высушить обувь. Собрать плавник труда не составило, скоро на высоком берегу затрещало, забило пламя.

Разворачивая карту острова, каждый раз удивляешься обилию на ней красочных названий и диковинных имен. Чтобы пересечь остров с севера на юг от бухты Песцовой, нужно миновать Тундру Академии, пройти долиной между горами Гробница и Кит в верховья Неизвестной и оттуда держать курс прямо на пик Берри. С другой стороны его берет начало река Хищников—она-то и выведет опять к морю. А если потом пересядешь на катер и пустишься в плавание с запада на восток, от мыса Блоссом до мыса Уэринг, то будь начеку: тебя ждут встречи с лагунами Бурунной и Предательской, рекой Мамонтовой, бухтой Сомнительной, ты и тут увидишь реку Хищников и после краткого отдыха в гостеприимной гавани Роджерс отправишься дальше. Миновав мутные устья рек Наша и Клер, обогнешь один за другим черные мысы—Гавай, Корвин и Пиллар и за утесами Большевик и Юлия встретишься с долгожданным Уэрингом. Если, конечно, по дороге ничего не случится...

Уже за полночь, когда тундра примолкла в чутком сне, мы заночевали у небольшого ручья, благо заметили здесь старую палатку, оставленную какой-то экспедицией. Брезент в нескольких местах был изодран, все вокруг разворочено.

— Умка. И следы свежие,—определил Кошкарев. И зарядил ружье жаканом—вдруг медведь поблизости и придет знакомиться.

Перед самым утром Кошкарев растолкал нас:

— Хотите посмотреть мишку?..

Зверь, не торопясь, не обращая на нас никакого внимания, спускался с берега на лед. Скоро он совсем скрылся среди торосов.

11 июля

Дальше мы двигались по припаю, изрезанному трещинами и промоинами, но вполне проходимо. Впереди маячил мыс Уэринг—восточная оконечность острова. Порывы ветра доносили оттуда странный, пульсирующий шум, когда же Уэринг вырос перед нами, закрыв полнеба, шум этот стал оглушительным, так что нам, чтобы услышать друг друга, приходилось кричать. Здесь разместился крупнейший на

острове птичий базар, голоса тысяч птиц, умноженные эхом, хлопанье и свист крыльев смешались в дикую какофонию.

Вдруг Игорь выстрелил, и небо сразу почернело от птиц. В воздухе они иногда натывались друг на друга, падали вниз, затевали драки. Кошкарев погрозил Игорю кулаком, но тот проорал мне на ухо:

— Брось в воздух камень—не промахнешься!..

Наказанием за дурацкую выходку Игоря был дождь помета, посыпавшийся сверху.

Не скоро угомонился базар. Больше всего здесь было кайр—массивных, с виду неповоротливых птиц в белых манишках и черных фрачках. Примостившись на узких выступах скал, они насиживали яйца без всякого гнезда, подсовывая под них лапки и укрывая перьями. Кайра подпускала к себе очень близко, и, только когда рука почти касалась ее, отодвигалась и щелкала толстым клювом.

— Вот эти, черные, со змеиными шеями—беринговы бакланы, а те, бело-серые, которые дерутся,—чайки-моевки,—хрипел Кошкарев, одновременно что-то записывая.

С чистиками я уже был знаком. На самом верху, на гребнях скал, поводили головами крупные хищные чайки—бургомистры, они словно наблюдали за порядком в этом горластом, тревожном царстве.

Уэринг отвесно падает в море, отделяясь от него лишь узким галечным приплеском, который сейчас был завален надвинувшимися льдинами и смерзшимся снегом. По скалам позванивают струйки воды, иногда с глухим вздохом пролетит ком снега, грохоча, прокатится камень. Природа разместила здесь свою скульптурную мастерскую, в которой каждый может найти для себя все, что подскажет ему фантазия; в причудливых каменных складках проступают фигуры различных животных и даже профили знакомых тебе людей.

Вторую ночь мы провели в заброшенной избушке неподалеку от мыса Литке. Сначала пришлось долго очищать ее от снега и льда. После трудного перехода глаза слипались, руки и ноги не слушались, но зато, когда мы устроились и затопили печку, труды наши были вознаграждены. Забравшись в спальник, Игорь сообщил, что уже пишет книгу о Севере и поэтому хочет познать его как следует, во всем, «до конца»...

Едва мерцало окошко, смотревшее в океан, порой доносились какие-то слабые звуки. Но может быть, это уже был шорох снов?

12 июля

От мыса Литке берег постепенно понижается и переходит в тундру с вязкими болотцами и оврагами. Пришлось снова спуститься на припай. Вскоре мы вышли на узкую косу Бруч;

такие косы длинными, изогнутыми саблями тянутся вдоль всего северо-восточного побережья.

Вокруг, словно соревнуясь, бегают кулики, перелетают утки, из воды то и дело выскакивают, как блестящие поплавки, нерпы.

Это место отмечено для меня видением розовой чайки. Была ли она в самом деле или мне только почудилось? Может, это солнце на мгновение окрасило перья обыкновенной чайки? Нет, я и сейчас, закрыв глаза, вижу, как она перелетела от одного облака к другому и даже выронила перо, которое тут же растаяло.

Люблю бродить по линии прибоя и разглядывать все, что выносит на берег море. Это занятие может сравниться разве что с чтением книг. Поднимаю и рассматриваю блестящие желтые ленты морской капусты, кружевные водоросли, всевозможных моллюсков, звезды и раковины, камешки всех цветов, отполированные водой деревяшки самых причудливых форм.

На косе Бруч мы набрали на нечто такое, что при всем желании с собой не захватишь,—на полуразвалившийся, заваленный с боков галькой скелет кита, и долго разглядывали гигантский череп левиафана, шпангоуты ребер и позвонки, из которых вполне мог бы получиться мебельный гарнитур для какой-нибудь хижины.

Рассказывают, что в тридцатые годы на острове нашли целого мамонта, его вот так же занесло песком и щебнем, но все-таки можно было различить очертания исполина, проступали куски бурой шкуры. Тотчас отстучали телеграмму. На остров явилась представительная комиссия, она внимательно осмотрела мамонта и признала его... китом. С тех пор история, как на острове Врангеля нашли мамонта, стала классическим примером арктической «кляквы».

В том месте, где коса Бруч граничит с косой Андрианова, нас ждала еще одна находка: из гальки наклонно торчал массивный обломок борта какого-то судна, выцветший, выбеленный водой, ветром и стужей, уцелела даже позеленевшая медная доска с еле заметными буквами. Сколько мы ни терли ее песком, сколько ни изошрялись в догадках, прочитать надпись не смогли. На минуту мы как бы сделались свидетелями одной из давних драм полярного моря.

С косы Андрианова уже виднелся светлый кубик охотничьего домика и рядом с ним—белый конус палатки. Это был конечный пункт нашего похода. Здесь, далеко от людей, жил охотник Эплерекай.

Первыми встретили нас собаки. Потом из дома вышел сам хозяин, могучий, широкоскулый чукча, а вслед за ним выскочила и жена его Маша, по прозвищу Рукавичка, доходявшая мужу до подмышки.

Скоро в доме грянул пир. Маша, смешливая и быстрая,

потчевала гостей нерпичьей печенкой и жареной уткой, которая буквально слетела к нам на стол: перед самым ужинем жена что-то быстро сказала Эплерекаю, тот вышел и почти сразу мы услышали выстрел — хозяин вернулся с уткой в руках.

— Не скучаете здесь?—спросил я его.

Эплерекаю удивленно на меня посмотрел.

— Зачем скучать? Видишь, какая охота. В поселке нет охоты, там скучно...

Он хитро улыбнулся, от чего лицо его стало еще шире, и достал запечатанную бутылку темно-зеленого стекла, красивой, необычной формы.

— Вот, нашел на берегу. Возьми.

Внутри оказалось письмо на трех языках — русском, английском и японском. Океанографический институт в Калифорнии просил того, кто найдет бутылку, сообщить, где это произошло, и отослать ответ по почте. За это даже полагалось вознаграждение — один доллар. Бутылку я сохранил. А вот от доллара решил отказаться. Напишу им: «Бросьте в море на этот доллар еще одну бутылку, и пусть тот, кто найдет ее, получит такое же удовольствие, как и я».

13 июля

Этот день был целиком посвящен отдыху. Несколько часов я просидел на бревне у дома Эплерекаю. Чистые и спокойные краски, сливаясь с птичьими голосами, рождали образ привольной жизни наедине с природой. Несмотря на всю нашу цивилизованность, даже у коренного горожанина, годами затерянного и затертого в лабиринте улиц, остается в душе слабая струна, связующая его с первородным, стихийным началом земли. И нет-нет да и дрогнет она, напомнит о том, что мы потеряли, отгородясь от дикой природы. Особенно сильно осознаешь это в таких вот местах, когда, кажется, можно сесть на краешек земли и свесить ноги за горизонт...

Но вдруг ты машинально смотришь на часы и ловишь себя на том, что думаешь об обратном пути. И снова начинаешь укладывать рюкзак, оставляя про запас хрупкую надежду когда-нибудь прийти сюда снова, и уже надолго.

14 июля

Возвращаться мы решили не по берегу, а через тундру и горы.

— Напрямую здесь километров семьдесят, не больше, — рассуждал Кошкарев. — Послезавтра будем дома.

Похолодало. С моря на остров наплывали серые клочья тумана. Мы быстро двигались по небольшой лагуне к берегу, шагах в пятнадцати друг от друга. Туман скрадывал расстояние, нарушал пропорции, он то растворял фигуры моих

спутников, то приближал почти вплотную; происходила как-то игра света, вокруг был полумрак, а глаза слепило. Идущий я почувствовал, что лед под ногами начал оседать, и в следующее мгновение... поплыл.

Пробую вскарабкаться на лед, он не держит, обламывается. Спутников не видно. Что делать? Кричать «караул», «спасите»? Как-то неловко...

— Эй! — позвал я. — Эй! Стойте!

Тут лед под руками стал тверже. Кое-как я все же выполз на него и побежал. Скоро впереди вырос Кошкарев.

— А что это с тобой? — искренне удивился он.

На берегу мы с трудом разожгли костер, но отсыревший плавник только дымил, а огонь был таким жалким, что согреться возле него не смог бы даже котенок. Выжимая одежду, я проклинал себя за неосторожность: только вышел и уже мокрый до нитки. Кошкарев выручил: достал из рюкзака запасные сухие носки и белье. Мы двинулись дальше.

Временами солнце разгоняло туман, тогда впереди открывалась бурая полоса Тундры Академии, а за ней гряда гор, протянувшихся с востока на запад. Идти здесь было куда труднее, чем по льду: щебень кончился, под ногами в мягких впадинах хлопала вода, на глинистых «медальонах» подошвы и без того тяжелых, отсыревших бахил обрастали неподъемными комьями грязи.

Птиц и тут было немало: над головой заливались лапландские подорожники, пролетали, словно подброшенные чьей-то рукой, камнешарки, почти из-под ног, заставляя вздрагивать, выскакивал тулес. Однажды кто-то жутко захохотал, так что мы невольно остановились и переглянулись.

— Вот нечистая сила! — сплонул Кошкарев. — Сколько раз слышу и не могу привыкнуть.

Зловещий этот крик принадлежал поморнику — большой хищной птице с длинным бантом хвоста.

Тундра Академии казалась бесконечной, горы словно отодвигались от нас. Почва насквозь пропиталась влагой, когти посверкивали озера разной формы и величины, будто кто-то однажды разбил здесь огромное зеркало.

Вдруг я застыл от неожиданности: одно из этих озер сдвинулось и медленно поплыло в сторону. «Озеро» и в самом деле оказалось живым — оно состояло из десятков белых гусей: в это время они линяют и не могут летать, собираются в стаи и при малейшей опасности начинают перемещаться по тундре.

Добравшись до отрогов гор, мы сделали привал на берегу Насхока, прозрачной и быстрой горной реки. Далеко позади, за притихшей к ночи тундрой, слабо отсвечивало море. Доели продукты, оставив на всякий случай только плитку шоколада, и немного поспали, убаюканные мерным рокотом

воды. Ночевку решили не делать—чувствовали себя почти дома.

15 июля

Чем дальше мы забирались в горы, тем становилось сумрачнее и холоднее. В ущельях и на перевалах еще лежал глубокий снег, под ним пробивали себе путь стремительные водные потоки. Идти становилось все труднее, приходилось часто останавливаться и сверять дорогу по компасу. Скоро тучи сползли с вершин, втянулись в долины, все пространство между горами заполнил мелкий морозящий дождь,—мы оказались на дне глубокого водяного мешка. При такой видимости ориентироваться по местности невозможно, вдобавок что-то случилось с компасом, он будто взбесился—стрелка беспорядочно прыгала из стороны в сторону. Чтобы определиться, забрались на одну из ближних сопкок. Здесь совсем не было растительности, только черные острые камни, чуть подкрашенные накипными лишайниками. Со всех сторон стояла непроницаемая стена дождя.

Заспорили, в каком направлении двигаться.

— Нужно идти так, чтобы пересекать реки под прямым углом,—говорил Игорь.—Судя по карте, они текут с запада на восток, а поселок на юге. Это кратчайший путь!

— Рассуждаешь, как ребенок,—возразил Кошкарев.— Ты, может, думаешь, что и меридианы протянуты по земле? Карта и местность—вещи разные, на карте все обобщено и выровнено, а на самом деле петляет и вьется. Да и как ты определишь—река перед тобой или приток? Так идти—все равно что стоять на месте. Нет, надо двигаться вдоль течения, по руслу. Если это приток, он приведет к реке, река—к морю, а по берегу до станции мы всегда доберемся...

— Ну, давайте разделимся,—завелся Игорь,—я пойду своим путем, а вы...

Тут Кошкарев взорвался:

— Ты не один! Изволь подчиняться! Мы в одной связке.

Игорь обиделся. Теперь он держался от нас в стороне, на изрядном расстоянии, впрочем, так, чтобы быть в пределах видимости. И все же спустя какое-то время потерялся, растворился в дожде. Кошкарев занервничал, начал палить из ружья—никакого ответа. Потом нам удалось отыскать следы Игоря, пошли по ним, кричали, звали, уперлись в широкий ручей. На другой стороне тянулась полоса щебня, там след не проступал. Еще, наверно, с час кружили мы на этом месте, искали Игоря—у него была малокалиберная винтовка, мог бы ответить—ни звука...

Что было делать?

Пошли дальше, как предлагал Кошкарев,—по течению первого большого потока.

Вода то выходила на поверхность, то пряталась в толще снега. В одном месте снег показался нам твердым, решили перебраться на другой берег. Здесь случилась новая беда: наст вдруг разошелся под ногами, и мы очутились в снежнице-трясине, пропитанной водой. На берег выбрались совершенно мокрые. О костре нечего было и думать, спасти от холода могло только движение.

Порой казалось, что мы уже где-то близко от поселка, стоит вот только обогнуть одну-две сопки, и покажутся крыши, но за этими горами вставали другие, за теми—еще, и так без конца. Трудно уже было представить себе, что каких-нибудь два дня назад мы гостили у Эплерекая, что светило солнце и одежда была сухой, не бил озноб, ноги не были стерты до крови.

Уходили последние силы, а останавливаться было нельзя, сырость проникала во все клетки тела, хотелось закрыть глаза—и будь что будет! Шоколад мы давно съели, мутило от голода.

Наконец, обогнув очередную сопку, остановились. Идти дальше было бессмысленно. Река круто петляла в распадках, далеко уходя то в одну, то в другую сторону, добраться к морю, следуя всем ее изгибам, у нас все равно не хватило бы сил.

Часы показывали шесть утра. Мы и не заметили, как наступил новый день.

16 июля

Если мы вовремя не придем, искать нас будут не здесь, а на побережье, по которому мы должны вернуться. А пока сюда доберутся! Я на минуту представил, как мы лежим здесь без сил, без памяти, а сверху кружит вертолет—ну и картинка!

Мы двигались как сомнамбулы, рывками, то и дело опускаясь на мокрые камни и забываясь в какой-то полуяви.

Гурий увидел случайно. Он был сложен на вершине сопки, в стороне от нашего пути, и мы не сразу решились свернуть к нему. «Глупо! Глупо!»—стучало в голове, когда мы лезли по склону.—«Что нам в этой каменной пирамидке?»—И все же упорно карабкались вверх метр за метром. Теперь понимаю, что нас толкало,—гурий был рукотворен, он был единственным признаком человеческого присутствия в этой пустыне.

Стащив с гурия верхние камни, мы увидели железную коробку, а в ней—консервы, галеты и завернутые в промасленную бумагу шайбочки сухого спирта. Поверх всего этого лежала истрепанная, выдавшая виды книжка. Обложку перебогала размашистая надпись карандашом: «Путнику!» Это был томик Есенина, стихи лежали рядом с консервами как предмет первой необходимости.

А около гурья проступал на земле след вездехода. Мы с Кошкаревым еще долго брели по нему, уже зная, что теперь все будет в порядке. Потом горы распахнулись, и показалось море — здесь, как в сказке, ярко светило солнце, было сухо и тепло.

Запылал костер. Мы наелись и завалились спать.

17 июля

Сколько спали, не знаю, проснулись: все так же сияет солнце, журчит вода, заливаются пичуги. Еще через несколько часов пути мы увидели дома...

Игоря в поселке не было.

Дома Казимир стащил с меня бахилы. Ноги, синие, распухшие, бесформенные, к ступням нельзя прикоснуться — сплошная рана.

Вечером я все же приковылял в кают-компанию. Там стояла гнетущая тишина, от нас с Кошкаревым отводили взгляды, все наши объяснения, как случилось, что Игорь потерялся, повисали в воздухе и никого не убеждали.

Наконец кто-то вынес приговор:

— Вы бросили человека в тундре!

Стало совершенно ясно, что хотя мы и ни в чем не виноваты, но, случись с Игорем что-нибудь, никакого оправдания нам не будет.

Нужно было начинать поиски. Организовали две партии: первая, на тракторе, вместе с Кошкаревым выезжает напрямую в район, где потерялся Игорь, — к среднему течению реки Клер, вторая — старший гидрометеоролог Чернов и я — идет пешком по берегу до устья реки на тот случай, если Игорю удалось выбраться к морю...

18—20 июля

Повторение пройденного — тридцать пять километров туда и столько же обратно — описывать не буду, я плохо это помню, действовал автоматически, переставлял ноги, зная, что другого выхода нет.

Вернулись мы ни с чем и узнали: Игорь в поселке...

Добрый Казимир растирал ноги водкой, давал пить какую-то подкрепляющую смесь и рассказал подробности.

Игорь появился с другой стороны поселка, почерневший, осунувшийся, и первое время даже не мог разговаривать. Оказалось, следуя «своим путем», он долго плутал в горах и в конце концов выбрался на побережье далеко к западу от полярной станции, но, к счастью, это сообразил и повернул в поселок.

Встречаться с ним больше не хотелось. Знаю только, что по приказу Кошкарева он улетает с острова первым самолетом. Так кончилась его полярная Одиссея.

3 сентября

Ночь. В сумеречном свете по бухте скользят белые, как призраки, льдины, на горизонте — тьма. И вдруг в этом мраке проступает круглое зернышко света. Оно начинает разрастаться, дробится на горсть огней, красных, оранжевых, белых, огни выстраиваются в четкий треугольник — парход!

Его ждали давно, тысячу раз спрашивали: когда, какой, мысленно сопровождали в далеком пути. На берегу собрались люди, передают друг другу бинокль, переговариваются шепотом; тут же бегают, виляя хвостом, собаки. Взлетает ракета — шутка ли, первое судно года! Их будет немного: грузовое, угольщик да еще, может, исследователь заглянет. И снова на целый год опустеет море...

Остров постоянно окружен плотным кольцом паковых льдов. Со стороны Восточно-Сибирского моря дорогу к нему преграждает так называемый Врангелевский ледяной массив, пролив Лонга не уступает по ледовитости проливу Вилькицкого, и Чукотское море известно как одно из самых тяжелых: торосы в нем доходят до размеров айсбергов, в центре образуются мощные круговороты, сложные взаимодействия течений и ветров. Только с юго-востока пробиваются сюда рассеянные струи теплого течения из Берингова пролива. С этой стороны обычно и подходят к острову парходы.

Вплоть до последнего времени Чукотское море считалось у мореходов ловушкой, «ледяным погребом»: стоило им зайти по открытой воде чуть дальше на север, как льды за ними смыкались и корабль обрекался на дрейф, а нередко и на гибель. Так было с «Жаннеттой» капитана Де-Лонга, с «Карлуком» капитана Бартлетта, так случилось уже и в советское время: в 1931 году здесь затонула, раздавленная льдами, шхуна «Чукотка», в 1934-м — знаменитый «Челюскин». Оба этих судна должны были подойти к острову Врангеля. А сколько здесь погибло мелких китобойцев и зверобойных шхун, ходивших под разными флагами! За это остров даже называли когда-то островом Погибших Кораблей...

Теперь, конечно, не то: ледоколы, современные навигационные приборы, ледовая разведка, метео- и радиообслуживание, научные прогнозы свели риск до минимума. И все же даже сейчас нелегко пробить ледовый барьер. Срок навигации короток: в начале сентября море у берегов острова очищается ото льда, а в середине этого месяца уже начинает нарастать свежий лед — в воде появляются сначала иглы, потом сало, шуга, снежура, волна становится пологой и ленивой, пока и вовсе не успокаивается под ледяной коркой.

Естественно, капитаны спешат разгрузиться. Начинается страда. Кроме вахты—сплошные авралы, прием грузов. Целый Эльбрус угля, бочек, ящиков и мешков. Пароход стоит в море неподалеку от входа в бухту, от него к берегу беспрестанно снуют самоходки, шустрые «Северянки». Успешь разве что раз-другой заскочить к морякам на борт, купишь в буфете что-нибудь «экзотическое» вроде патиссонов или сигарет «Дукат»...

В эфире, как и на море, и в небе, в это время—напряженка. Для четкого взаимодействия ледоколов, флота, авиации и полярных станций важно, чтобы радио работало, как часы, оперативно, без сбоев. Метеоинформация, сведения о льдах, радиопеленги—без этого немислима безопасность кораблевождения. И здесь, на самом дальнем рубеже арктической трассы, на его восточном плече, проводятся тяжелейшие морские операции, навигация бывает порой драматичной.

Особенно волнующие минуты наступают, когда вдруг прорезается голос на аварийной волне, вроде такого: «Всем судам акватории... Обнаружена плавающая мина. Координаты... Предположительный дрейф... Скорость...»

Недавно был принят сигнал SOS от парохода «Ламут», который тонул во время шторма в Олюторском заливе. Судам, находившимся в этом районе, было предложено немедленно следовать к месту аварии. «Ламут» спасти не удалось, но обошлось без человеческих жертв—все моряки были подобраны.

Истек полярный день, солнце, ныряя за горизонт, с каждым разом теперь не появляется все дольше. Полярный вечер. Часто падает снег и уже не стаивает, как прежде, небо по ночам становится черным, все отчетливее проступают звезды. Покидают остров птицы, грустное это зрелище—поднебесные пунктиры и крики гусиных стай, зовущих за собой в южную сторону.

1 октября

Весен на острове много, а вот осени нет вообще, зима наступает сразу вслед за летом, без подготовки, ветренная, штормовая...

Навигация закончилась быстро, но зимовщикам еще долго нести судовую вахту, снабжать караваны в проливе Лонга и авиацию метеоданными и пеленгами. Постепенно навигация будет смещаться все южнее, радиоголоса моряков станут тише, пока не покинет Арктику и не скроется за Беринговым проливом последний пароход.

Закончив разборку грузов, мы начали готовиться к полярной ночи: ремонтируем и утепляем дома, чистим дымоходы, наполняем до отказа угольные ямы в тамбурах.

Отправились на вездеходе в западный угол острова, на мыс Блоссом, снимать с выносной станции наших «летовщиков»—Петра Клейменова и Анатолия Новикова, больше четырех месяцев работавших каждый за двоих по совмещенной специальности—гидрометеоролога и радиста. Как они там?..

Мыс Блоссом—важный географический пункт, он вытянут стрелой к материку в самой узкой части пролива Лонга и разделяет два моря—Восточно-Сибирское и Чукотское. Начиная с сорок первого сюда каждое лето «забрасывали» на собаках, тракторе или вездеходе двух-трех человек.

Блоссомцы увидели нас издалека и приветствовали ракетой. Обветрились, загорели и страшно нам рады, чувствуется, что соскучились по людям.

Итог их работы: четкое обслуживание судов и самолетов на прилегающем участке Северного морского пути. Что за этим стоит? Наблюдения—синоптические, гидрологические и ледовые—восемь раз в сутки, метеоинформация и радиопеленги в любой час по запросам летчиков и моряков.

На пустынном берегу всего три постройки: балок на полозьях, сараюшка и гальюн, но каждое сооружение образует отдельную «улицу» и имеет свое название. Балок—это «Умка-стрит», Медвежий проспект, сарай—Моржовая улица, а гальюн—Гагачья...

Клейменов—человек сдержанный, Новиков более словоохотлив. Молодой парень, выпускник Арктического училища, он только начинает свою полярную «карьеру», и, надо сказать, получается это у него довольно лихо. Рассказывал он примерно так:

— А что, жили и горя не знали. Бывало, и надоест, кажется, все о нас забыли—а куда денешься? Как-то самолет сбросил почту... в море. Несколько дней ходили злые—вот она, романтика! Слушали передачу о доблестных зимовщиках Тикси. Между прочим, у них температура летом до плюс двадцати пяти, а у нас выше трех ни разу не поднималась...

Ну, охота, это да! Питались мы лучше вас, это точно. В основном дичью. Гуси, утки, нерпа, птичьи яйца. Начали толстеть, пришлось есть поменьше.

Еще у нас был самый северный в мире зоопарк. Медведи, те постоянно паслись. Разные птички. У меня на примете был «гагун» с восьмицветной головой, красавец! Жили два маленьких песчонка, одного мы отпустили, а другой все не уходил, сидел в ящике, ножка болела. Назвали его Меченый.

В конце августа гусь шел. Кто не видел, как идет гусь, много потерял! Зрелище это сильное: вся тундра белая, крик и гам страшный. В небе идут правильным углом, лишь молодняк иногда строй нарушает, но старшие быстро наводят порядок. Гуси улетели, началось нашествие сов. Однаж-

ды я надумал посчитать и в радиусе нескольких километров от станции заметил семьдесят три совы. Моржи на лежбище полезли. Сначала понемногу, потом больше и больше, а всего их было здесь около десятка тысяч... Петро не даст соврать,—Новиков кивнул на Клейменова, который улыбался, но с одобрением слушал.

— Так вот и жили. На следующий год опять собираюсь... если Петро возьмет,—заклучил Новиков свой монолог.

В балке я наткнулся на кипу старых бумаг и долго рылся в них. Здесь были копии отчетов за разные годы, истертые инструкции, зачитанные книжки без начала и конца, груда телеграмм, даже страничка «самодельной» сказки, которую, наверно, какой-то полярник сочинял для своих детей на материке. Начиналась она так: «Зима сменялась летом, лето зимой, и столько прошло лет и зим, что забыли люди начало этой истории...»

Вся жизнь выносной, в ее буднях и происшествиях, проходила перед глазами. Отчеты сухи, регистрируют результаты, а не то, какой ценой они добыты. Короткая запись: «Погиб, выйдя в море на байдаре, старший метеоролог В. Афонин...»

Жили «летовщики» в маленьком балке на полозьях, спали на тесных нарах, работали за одним столом, тут же и ели, сами пекли хлеб, импровизировали баню, отапливали жилье железной печкой—от нее бросало то в жар, то в холод. Бессонные ночи на краю света, отрыв от близких, болезни, от которых надо было лечиться самим, испытание на совместимость, постоянные нашествия медведей («6 октября мимо нас прошло восемь медведей. Свалили будку, разбили приборы»)...

Одно короткое слово— «выносная». А что за ним стоит!

ДЕНЬ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ

10 ноября

Горизонт пуст, море сковано льдом, тундра—в снегу. Пронеслась горячка с забоем оленей, и теперь в поселке тихо—охотники разъехались на упряжках по своим избушкам на промысел псаца.

А у полярников самое большое событие теперь—самолет, раз в месяц он будет доставлять нам почту. Писем станет приходить все меньше и меньше: у старых друзей—новые друзья, новые увлечения, зато газеты и журналы будут прибывать сразу центнерами, читай—не хочу...

Нынче мне не спать, нынче я банщик. Друзья сочувственно жмут руку, повар подсовывает лучший кусок.

Баня в Ледовитом океане—как ее описать?

В пятницу все свободные от вахты пилят и носят к бане белые и твердые, как рафинад, кубы снега. Мне предстоит

превратить их в воду, не очень нарушая при этом великий закон сохранения материи. Последний раз баню топил Казимир. Забежали к нему, заглянули в бочку над огнем—ни снега, ни воды. А сам Казимир сидит с неразлучной книгой и совершенно спокоен: все сделано как надо. Забыл только кран у бочки закрыть...

Затапливаешь в ночь на субботу. Баня промерзла насквозь, и стены, и пол, и потолок—в ледяной броне. И так, в бочку—снег, в печку—дрова, перелить готовую воду в порожнюю бочку, наколоть дров. Снаружи—мороз, метель, ночь, а ты черный от сажи и мокрый от пота. И снова: в бочку—снег, в печку—дрова... Потрескивают, отогреваются стены, баня заполняется густой смесью пара и дыма. В бочку—снег, в печку—дрова...

Полночь. Тут ты замечаешь, что вода в дальней бочке подернулась ледком. Стоп! Это самый решительный момент. Или ты одолеешь баню, или она ломает тебя. Присядь, отдышись, пусть вся жизнь за считанные минуты пробежит перед глазами. Всплакни про себя, но недолго. Сейчас дикая ярость должна охватить тебя. Не пугайся! Именно это тебе и нужно. Капают минуты, шипит огонь... И ты, схватив топор, бросаешься на чурбан, как на лютого врага. И опять: в бочку—снег, в печку—дрова...

С неотвратимостью Страшного Суда грядет утро. Кто-то проходит мимо бани и что-то тебе кричит. Не слушай! Все, что происходит в мире, тебя не касается. Дым, пар, языки пламени... Полдень. Лед, огонь, топор, тряпка, веник, кипяток...

Банщик моется первым—принимает угар на себя. Таков закон. И ты, наполовину растаявший, как снег, и наполовину сгоревший, как дрова, окатываешься ушатом горячей и ушатом холодной воды, не чувствуя разницы между ними. Потом находишь постель и падаешь замертво.

Суббота—праздник, день обновленного тела, день чистого белья, день традиционных сдобных булочек в каюткомпании... Люди, зимуйте на полярных станциях, и вы узнаете цену самого простого и насущного!

Тепло, например. Мы часто спорим, как сберечь его. Механик Валя Липочкин предложил самый надежный способ. Кровать привязывается к двум блокам. В течение ночи, когда холод будит вас, вы через один блок подтягиваетесь к потолку, а через другой—к печке. Гениально и просто. Прививает любовь к технике и развивает мускулатуру.

Чистая постель. И тут поможет Липочкин.

— Сбегайте на факторию,—скажет он,—купите рулон полотна, положите в головах и очень медленно перекачивайте к ногам. Через год рулон переверните и снова катите—в обратную сторону. «Гигиенично» и экономит мыло. Хватает как раз на два года зимовки.

Он великий изобретатель, Валя Липочкин. Его бы послать обживать Луну.

25 ноября

Началась полярная ночь, два месяца теперь мы будем жить без солнца. Уходит оно не сразу, не вдруг: в полдень небосвод еще полыхает отблесками невидимого светила, вспыхивают, как пламя в печи, золотятся и багровеют облака, но все бледнее свет неба, пока не потускнеет совсем, не выцветет, не превратится в короткие серые сумерки.

Призрачный ледяной сон окутывает море и землю. Все вокруг мертво. Жизнь прячется в четырех стенах, съеживается на нескольких квадратных метрах жилья у света ламп и печного тепла.

Когда на небе нет луны и туч, в моем большом окне полыхают полярные сияния—музыка света.

В такие ночи в эфире тоже начинаются фокусы и чудеса: не слышно ближнего, зато вдруг совсем рядом ясно и четко прорежется дальний. В диапазоне коротких волн—глухо, непрохождение, какие-то загадочные шорохи и потрескивания—будто все радисты бросили работу. А причина всего этого—вот она, буйствует на небе. Не верится, что полярные сияния—просто результат столкновения электронов с атомами и молекулами воздуха на высоте ста или тысячи километров. Кажется, что какой-то художник исполинской, космической силы делает на небесном холсте свои мгновенные фосфоресцирующие наброски, но, вечно неудовлетворенный, одним махом стирает их и наносит вновь и вновь. И ощущение музыки—еще мгновенье, и ты ее услышишь! Наши предки-поморы называли полярные сияния спóлохами или сполóхами и даже одушевляли, глядя на небесные огни, говорили: «Глянь, сполóхи дышат, сполóхи играют...»

Это самое прекрасное, что можно увидеть в Арктике. И стоит ехать на край света, чтобы посмотреть, как «цветет небо». То это блуждающие пятна, похожие на Млечный Путь или перистые облака, освещенные луной, то бледная вуаль, наброшенная на Вселенную, то отдельные голубые лучи, веера, пучки, снопы лучей, световые столбы и арки (говорят, они образуются вдоль силовых линий магнитного поля Земли), зеленатые извивающиеся ленты, дуги, змеи, воронки... И все это переливается, мерцает, лучится, исчезает в одном месте и возникает в другом, смятенно бросается вниз, к земле, и снова пламенными волнами торжественно вздымается ввысь, освещая землю, как полная луна. Иногда световые лучи образуют даже отдельные знаки, например, вчера на небе четко проступила спираль в виде буквы S. Я пробовал на отдельном листке сравнивать, на что похожи сияния, и бросил это занятие—слишком бедна фантазия, нужен другой язык.

6 декабря

Пурга... Сiju без света и связи—ветром оборвало телефонный провод—и не могу выйти за порог.

Началось все при чистом небе с обычной поэмки, когда снег вдруг ожил, с тихим шепотом потек куда-то на запад, низко над землей, и «казска» стронулась с места и двинулась в противоположную сторону по снежным волнам, поскрипывая мачтой антенны, оставляя за собой шлейф серебристой пыли. Через некоторое время ветер начал боситься, обрушил на дом резкие порывы и вихри, будто желая сокрушить его одним ударом. А уж потом, после короткой передышки, стал постепенно набирать силу, муть, плотнеть, закрыл и небо, и солнце на нем, и поселок. Стало ясно, что это пурга, и всерьез.

К ночи дом напоминал не спокойно плывущий корабль, а сорванное с якорей, влекомое куда-то ураганом утлое суденышко. Гудит и раскачивается мачта, хлопают и звенят антенные растяжки и провода, содрогаются стены, звякают стекла, сквозняк гуляет по комнате, и, что уж совсем непонятно, пол ходит ходуном, словно кто-то снизу яростно колотит по нему.

Кончилась моя вахта, но никто не сменил, ясно почему—сейчас лучше из дома не высовываться. Остаюсь на второй срок. Надо все время кочегарить печку, иначе дом мгновенно выстуживается. Когда кончился заготовленный в тамбуре уголь, пришлось выбраться на улицу.

Там—воюющее, стремительно несущееся пространство, ветер сбивает с ног, тащит, залепляет снегом лицо, пресекает дыхание, набивается во все щелки в одежде. Видимость—на расстоянии протянутой руки. Поначалу даже весело покувыркаться, побороться с ветром. Но потом!.. Добрался до угольной кучи, благо она под боком, пробовал стучать ломиком—что за работа!—отколешь кусочек, и его гит же отнесит ветром. За час еле-еле надолбил полбадейки и вернулся в дом совершенно мокрый и обессиленный.

Сколько еще продлится этот содом?

Поспал часа два. Просыпаюсь от холода. Темно, погас свет, не слышно морзянки—теперь где-то нарушена и силовая линия. Хотел было сделать еще одну вылазку за углем—не тут-то было: дверь занесло. Буду экономить топливо.

Смешная беспомощность—«замурован», сиди и жди, когда откопают...

ЖЕЛЕЗНАЯ ЕЛКА

1 января

Новый год на зимовке удался на славу. Был и свой фейерверк—полярное сияние, и своя елка. Правда, роди-

лась она не в лесу, а тут же, в кают-компании,—мы делали ее несколько вечеров подряд из проволоки и пеньки, покрасили зеленкой и побрызгали хвойным экстрактом. И игрушки мастерили сами—кто во что горазд. В это время над нами пролетел самолет, вез елку на СП, к «дрейфунам» (так мы их по-приятельски называем), но мы не завидуем, их елка—обыкновенная, как тысячи других, а наша—единственная на белом свете, другой такой нет!

В остальном все, как везде—Дед-Мороз, подарки, угощение, танцы, бессонная ночь...

Потом молодежь собралась отдельным кружком у нас, в «Болгарии». Перепели все известные песни и арии—от «Позабыт, позаброшен» до «Смейся, паяц!», пересказали все анекдоты, поднимали зубами гирю, чтобы выяснить, не ослабел ли кто за полярную ночь и не заболел ли цингой, реабилитировали Сальери, выбрали в мисс Ледовитый Океан нашу повариху.

Зашел спор: зачем люди едут на Север?

— За длинным рублем,—хохотнул кто-то по привычке.

— Между прочим, это самый глупый способ зарабатывать деньги—зимовать в Арктике,—сказал другой.—Есть только один, еще более глупый способ—зимовать в Антарктиде!

— А со мной вот что случилось,—начал один из нашей компании.—Я тогда зимовал на острове Визе. Приснился мне адрес, только адрес, больше ничего, большими буквами: СЕВЕРНАЯ, 17... Очнувшись, я тут же его записал. Ну и запало в голову, что адрес этот для меня роковой. С тех пор, в какой город ни приеду, ищу Северную, 17. Искал в Москве, в Котласе, в Сочи... И все-таки нашел—в Магадане. Приоделся, почистился, побрился, даже цветы раздобыл. А дом этот на самых задворках, на берегу бухты, из трубы дымок идет. Долго не решался постучать. И вот скрипнула дверь... и вышла ко мне старуха со злоющей собакой. Сперва собака, потом старуха. Еле ноги унес...

— Мы разошлись во времени, как солнце и луна,—опять захохотал кто-то...

— Именно так я и подумал,—невозмутимо продолжал рассказчик.—Жаль, искать уже было нечего... А через несколько лет открывали мы новую станцию, взял я доску, написал «Северная, 17» и приколотил к дому. Вот и вся история.

10 января

В нашей комнате поселилось беспокойное существо—белая сова Сонька. Почему-то она не улетела на юг, осталась зимовать на острове, а потом случайно попала в капкан, повредила крыло, вот и отдали ее нам—авось придет в себя, оклемается.

У Соньки—фабричные глаза: не мигает, не отводит,

только иногда на них, словно лед,—мутная пленка. Кричит она дурным голосом, будит по нескольку раз за ночь даже соседей. Умеет еще пищать, шипеть, оглушительно щелкать клювом и глотать по сто граммов мяса сразу.

Сонька для меня—все подсознательное, что есть в полярной жизни, что когда-то называли «полярным психозом»... Выйдешь в ясную ночь на лед бухты. Мираж. Торосы придвинулись вплотную к домам и словно висят в воздухе, похожие на гигантские сверкающие бритвы, среди них блуждают какие-то зеленые и синие огоньки, издали доносится гул, напоминающий орудийную канонаду—там, в море, идет торшение, вокруг острова громоздятся, сминая друг друга, ледяные валы. Пространство затягивает, сладко шагать по пустыне в мерцании звезд и льда и знать, что дорога эта никогда не кончится, порой даже нужно усилие, чтобы остановиться и повернуть к жилью. И странное сожаление, словно от невозможности приобщиться к чему-то тайному и вечному.

Замкнутый круг общения, возможность взглянуть на суету жизни со стороны склоняют полярника к самоанализу, самоутверждению, к мыслям на вечные темы. «Мудрость приходит в одиночестве и в преодолении препятствий»,—говорят эскимосы. Но вот что интересно—на зимовках люди страдают не столько от одиночества, сколько, наоборот, от невозможности побыть одному, от чрезмерного и не всегда приятного общения. В самом деле, в Арктике живут такие же люди, что и всюду, но в обычных, «материковских» условиях они иногда, как резиновые шары, сталкиваются и тут же разлетаются без всякого следа. Не угодно тебе чье-то общество—ищи другое. На зимовке выбора в друзьях почти нет. За одну полярную ночь ты можешь узнать о человеке больше, чем за целую жизнь в нормальной обстановке.

В экстремальных условиях характер проявляется резче, определеннее, человек либо закрепляет свои лучшие качества, либо ломается и деградирует. Долгое отсутствие солнца, изматывающие пурги, запирающие тебя в четырех стенах, оторванность от близких—и, случается, человек незаметно слабеет. Начинается с пустяков: перестает бриться, следить за одеждой, взрывается по пустякам, замыкается в своей обиде. И случись в такой момент подлинное, большое несчастье, не всякий выдержит.

Робинзон Крузо тоже вел дневник. Он делил его на две части, над одной писал: «Добро», над другой—«Зло». Жизнь нашего острова тоже можно разделить на две такие части, и обе окажутся заполненными.

...Сова Сонька умерла, как определил доктор, от расстройства нервной системы. Трудно ей было с нами, нам—с ней. Ее крылья висят теперь на стене как символ несовместимости.

22 января

Мы ждали появления солнца. Даже поспорили, кто увидит его первый. Несколько дней перед этим небо закрывали облака, но накануне прояснило, и южный горизонт окрасился дымчато-розовым заревом. На следующий день по небу растеклась целая гамма ослепительных, лаковых красок — от золотой снизу, через багровую, алую, оранжевую до лимонной на самом верху.

И вот сегодня брызнули на землю первые лучи. С крыши «каэски» было хорошо видно, как из-за торосов, пробив льды пролива Лонга, всплыл край огромного красного холодного диска. И небо как-то сразу очистилось, посветлело, расправилось, по земле пробежали резкие светотени, отблески лучей заиграли, запрыгали на снегу, проникли в окна домов, легли на половицы и стены. И пока огненное колесо катилось по горизонту, из домов то и дело выходили люди, замирали и долго смотрели на вернувшееся светило.

Замкнулся еще один годовой круг. Началось новое полярное утро.

Когда-то, давным-давно, рассказывает легенда, в Арктике не было зимы. И птицы не улетали на юг, здесь им хватало и тепла, и корма. Но однажды черные тени закрыли солнце, по земле побежали студёные вихри. Даже небо замерзло. Испугались птицы и стая за стаей начали покидать этот край. Все улетели. Только несколько храбрых чаек поднялись высоко в небо, чтобы пробить его и освободить солнце. Долго долбили они ледяной купол. Наконец, последними усилиями окровавленных клювов они пробили небо, потоки солнца хлынули навстречу, и чайки стали розовыми от света и крови.

Теперь, когда на Север опять возвращается зима, когда все птицы покидают его, только розовые чайки остаются во льдах: если они улетят, кто тогда вернет на землю солнце?

На этом кончается первая тетрадка моих дневников. В ней — только одна зимовка на острове Врангеля, одни полярные сутки — утро, день, вечер, ночь.

С тех пор моя жизнь связана с Севером, который стал и темой будущей литературной работы. Экспедиции по изучению природы высоких широт, организация заповедников в Арктике, специальные командировки от журнала «Вокруг света»...

Были и другие зимовки. Но первая запомнилась лучше всего.

ПЕРВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ



**ОСКОЛОК
ДРЕВНЕЙ БЕРИНГИИ**

Бивень валялся за складом полярной станции — огромный, буроватый, выгнутый дугой, растрескавшийся, поросший инеем, — и никого не интересовал. Для личной коллекции он был слишком велик, и хотя чья-то рука пыталась было его пилить, но, застряв на полпути, бросила.

— Чего-чего, а мамонтизма у нас хватает, — сказал мне не без ехидства Казимир Михневич.

Пожив на острове, я сам в этом убедился: бивни, зубы и прочие кости мамонтов действительно встречались здесь часто, эти знаки ледниковой эпохи как-то естественно вписывались в общую картину острова — в его пустынные, подернутые сизой мглой тундры, мрачные черные ущелья с пятнами снежников, нагромождения торосов, осадивших берега со всех сторон. И я, пожалуй, не очень удивился, если бы однажды в долине какой-нибудь реки вдруг вышел мне навстречу настоящий живой мастодонт.

Но фантазии фантазиями, а то, что на острове когда-то жили мамонты, — факт неоспоримый. И именно тот бивень, неведь сколько провалявшийся за ненадобностью на станции, пробудил во мне интерес к доисторическому прошлому.

Тогда же, в первую свою зимовку, я перерыл библиотеку поларки, пытаюсь найти что-нибудь об истории острова. Каким был остров до того, как его открыли? Как выглядел? Жили ли тогда на нем люди?

История нашей планеты велика и труднообозрима, чем дальше заглядываешь в глубь веков, тем меньше ясных и достоверных знаний, тем больше гипотез и загадок, пока и вовсе не потеряешься в том, что можно назвать фантастикой прошлого. Оно и немудрено—нашей Земле около пяти миллиардов лет, а Хомо сапиенсу, человеку разумному, каких-нибудь сорок тысяч лет, может, чуть больше. Младенческий возраст!

Но пытливый ум, подобно лучу света, проникает все дальше в тайны былого, человек может представить, какие события происходили до его появления, как менялась жизнь и сама Земля. И если уж так трудно восстановить историю планеты, то, может быть, проследить родословную ее маленького кусочка, того, что называется островом Врангеля,— легче? Что, если попытаться реконструировать историю острова на протяжении всего его существования? И тогда первый вопрос: когда и как возник остров?

В то время он был для меня неразрешимой головоломкой.

Помог случай. Я был командирован на несколько дней в Анадырь—столицу Чукотки. И встретил там человека, которому суждено было приоткрыть мне глаза на предысторию острова.

Произошло это... в бане. Как было не забраться в парную после врангелевских выюг и морозов! Худой чернобородый гражданин, кряхтя и вскрикивая, азартно хлестал себя веником. Познакомились.

— Диков Николай Николаевич,—представился он.

Мой новый знакомый оказался археологом. На ловца и зверь бежит, подумал я и обрушил на него все свои вопросы. Диков сразу включился в тему, он был в доисторическом прошлом, как говорит, свой человек и рассказывал о нем так запросто и увлеченно, будто там побывал. Сама обстановка—клубы пара, пышущая жаром каменка и мы оба в чем мать родила,—казалось, приближала нас к времени Адама...

Диков поведал мне о древней земле Берингии, соединявшей когда-то Чукотку и Аляску, о великих ледниках, о длинноболодых гигантах той эпохи—мамонтах... Остатком Берингии, по его мнению, и был остров Врангеля.

— А люди жили в Берингии?—спросил я.

— Не только жили, но как раз с ее территории заселили Америку. Что же касается именно острова, то не могу утверждать, он для нас, археологов, «белое пятно». Доберемся мы до вас, обязательно доберемся. Еще увидимся!—пообещал он на прощание.

Так я впервые услышал о Берингии.

В те годы гипотеза о гигантской суше, соединявшей Старый и Новый Свет, еще не нашла широкого признания. Берингиология была в пеленках. Как особое научное направление она сформировалась значительно позже, в семидесятые годы. За это время мой анадырский знакомый, начинающий археолог, стал доктором наук, ученым с мировым именем, труды его составили целый этап в археологии Северо-Востока. До острова он тоже добрался. Но разговор об этом впереди.

А пока повернем рычаг в машине времени. Только в свете новых научных открытий мы можем с достаточной ясностью представить себе, как выглядел Крайний Северо-Восток нашей страны в последний ледниковый период.

Перед нами—совершенно незнакомая картина.

Два материка—Азия и Америка—слиты воедино, обширная суша покрывает Чукотское и северную часть Берингова моря. Не существует, разумеется, ни Берингова пролива, ни пролива Лонга, а остров Врангеля представляет собой как бы одну из вершинных частей этой суши, уходящей от него далеко на север, на восток (соединяясь там с хребтом Брукса на Аляске), на юг и на запад (сливаясь с Чукоткой и бассейном реки Колымы). Это и есть древняя Берингия, мамонтовый материк.

Ледники надвинулись с гор в долины, но они занимают сравнительно небольшие участки, основная же часть территории свободна от оков льда и отнюдь не мертва: здесь растут обильные травы, бродят мамонты, овцебыки, шерстистые носороги, бизоны, дикие лошади, северные олени, сайгаки, горят костры первобытных охотников, уже давно, несколько тысяч лет назад, заселивших эти края. В погоне за добычей неведомые племена проходят Берингию из конца в конец, обживая все новые места. Они не так уж беззащитны перед силами природы: вооружены копьями с каменными наконечниками, костяными гарпунами, луком и стрелами, им верно служит собака, а женщины украшают себя бусами и подвесками, которыми не погнушалась бы и современная модница.

Но ничто под солнцем не вечно. Могучие геологические катаклизмы меняют лик Земли, климат становится теплее, ледники тают, воды океана наступают на сушу (это называется трансгрессией)—и мамонтовый материк начинает погружаться в воду. Процесс этот тянется тысячелетиями, он абсолютно незаметен в течение жизни одного поколения. Люди успевают приспособиться к новой географии и климату, а вот дикие звери—не все...

Впечатляющую картину исчезновения Берингии рисует

магаданский мерзлотовед С. В. Томирдиаро: «Невиданная катастрофа обрушилась на сухолюбивых животных ледникового времени в Восточной Сибири. В результате очередного прорыва в Арктику теплой атлантической воды вскрылся ранее сплошной панцирь Северного Ледовитого океана. Воздух над ним насытился водяным паром. Дожди и сырые туманы обрушились на побережье. Размокшая и раскисшая земля стала тонуть под копытами сайгаков и лошадей. Зимы потеплели, но страшные снегопады заваливали ранее легко доступные пастбища. Это погубило овцебыков и шерстистых носорогов. Наконец, сами степи быстро исчезали под натиском мхов и прочей болотной растительности. Это лишило пищи мамонтов и бизонов. Неудивительно, что все они вымерли почти в одно и то же время. Общая ландшафтная катастрофа погубила их».

Интересно, что в мифах эскимосов Азии, Америки и Гренландии часто повторяется мотив великого потопа, причём это событие рисуется необыкновенно ярко и подробно. Вот как изображают его гренландские эскимосы.

Давно, очень давно великий океан вдруг начал раздуваться и обрушился на сушу. Все было обьято страхом. Волны набросились на берег, как на врага, с такой силой, что над землей летели раковины, будто пущенные из пращи. Казалось, ещё немного и мир погибнет...

У канадских эскимосов есть свой миф о потопе. Во время необычайно холодной зимы люди и звери, жившие в полном мире и согласии, украл у медведя, повелителя неба, мешок, в нем хранилось тепло. По дороге мышка, у которой порвались мокасины, вырезала из мешка маленький кусочек кожи. Эта мелочь привела к вселенскому бедствию: тепло вырвалось наружу, растопило снега, и вскоре вода залила землю. Только вершины гор остались незатопленными...

Примерно десять тысяч лет назад возникает узкая полоса моря на месте пролива Лонга и отсекает от Берингии северную ее часть. Волны захлестывают все новые участки суши, сопки и речные долины становятся морским дном.словно гигантская спина кита, погружается в воду отколовшаяся от Берингии земля, становясь все меньше и меньше, превращаясь в одинокий остров среди океана...

Наконец, около пяти тысяч лет назад Чукотка, а вместе с ней и отделившийся от нее остров Врангеля обретают очертания, близкие к современным. Остров родился!

Казалось бы, на этом можно поставить точку: картина ясна, любопытство удовлетворено...

Да, если не задаться вопросом: а что было до Берингии? Она, как утверждают палеогеографы, тоже существовала не со дня сотворения мира. И тут, оказывается, надо все начинать сначала.

Снова включаем машину времени. Протрем иллюминаторы. И откроем бортовой журнал.

Тридцать—сорок тысяч лет назад... Мы миновали последнюю ледниковую эпоху (Сартанскую) и вступили в предшествующее ей потепление—в так называемое Каргинское межледниковье. Уровень моря на Северо-Востоке, по данным геологов, значительно поднялся. Берингия «похудела», а остров?.. Острова нет, хотя его отделение от материка наметилось. Климат помягчал, льды вокруг поубавились, в тундростепи появились отдельные оазисы тундры. Именно тогда, по свидетельству археологов, и пришли на Чукотку первые люди.

По мере движения вспять времени грядет новое мощное похолодание, ледники растут, а море отступает. Берингия вновь приобретает грандиозные масштабы суперконтинента.

Сто двадцать тысяч лет назад—эпоха Казанцевского, самого теплого межледниковья. Уровень Мирового океана близок к современному. Берингия исчезла, а остров существует. По свидетельству палеозоологов, на нем пасутся допотопные звери—слон трогатерий, мамонт раннего типа.

Все дальше забираемся мы в глубь времен, а цикл географической метаморфозы повторяется: похолодание сменяется потеплением, ледниковый период—межледниковьем, регрессия—трансгрессией. И остров в зависимости от этого то исчезает, становясь частью величайшего континента, то откалывается от него, превращаясь в одинокий клочок земли среди ветреных просторов океана.

Остров существовал и двести тысяч лет назад, и триста, и даже еще раньше—более одного миллиона лет назад!

По счетчику времени между тем мы в своих поисках праострова уже миновали четвертичный период и вступили в пределы третичного. И исчисляем теперь свой путь не тысячами, а миллионами лет. Сколько же еще продлится это поистине космическое путешествие?

Согласно последним, наиболее достоверным научным данным, Старый и Новый Свет были впервые разделены проливом около трех миллионов лет назад. Стало быть, в это же время появился и «самый первый вариант» острова Врангеля. В ту эпоху растительный и животный мир Земли становится близким к современному, а человекообразные существа разделяются на две ветви: одна окажется тупиковой, другая же приведет к человеку разумному.

Еще раньше остров входил в пределы древнейшей Берингии, существовавшей многие миллионы лет в третичном периоде, а быть может, как полагают некоторые исследователи, даже и в мезозое, в сказочную эру ящеров. Но нам вроде бы нет нужды забираться так далеко, ведь наша цепь достигнута—возраст острова определен. И равен он не пяти тысячам лет, как казалось поначалу, а трем миллионам!

Поставив здесь восклицательный знак, я задумался. А что, собственно, считать возрастом острова? Если иметь в виду его географическую форму — участок суши, окруженный водой, — да, действительно мы его родословную проследили. Но то, из чего состоит «костяк» острова, такие его природные компоненты, как горные породы, рельеф, например, сформировалось значительно раньше. Ясно, что остров был «испечен» задолго до того, как «оторвался» от материка, — в тот момент он уже существовал почти в готовом виде...

Остров Врангеля — самый высокий в Советской Арктике — страна гор. Когда же образовались эти горы? И когда возникли горные породы, их составляющие?

Мой восклицательный знак согнулся и снова превратился в вопросительный.

Нет, еще нельзя выключать машину времени и ставить точку в путевом журнале. Картина рождения острова не дорисована. Наша доисторическая хроника будет неполной без геологической летописи.

Что ж, продолжим путь! Пересечем границу последней эры геологического летосчисления, которая именуется кайнозойем, «новой жизнью», и углубимся в процессы мезозоя, «средней жизни». Именно тогда, сто — сто пятьдесят миллионов лет назад, в похожую на страшный сон эпоху, когда землю заселяли динозавры, ихтиозавры, птеродактили и прочие гигантские чудовища и монстры, происходило формирование гор на Северо-Востоке нашей страны.

В то время Северо-Восток находился в зоне геосинклиналей — подвижных участков земной коры, поднятие которой сопровождалось смятием в складки горных пород и горообразованием. А этому предшествовал еще более ранний период развития геосинклинали, когда только возникали те породы, из которых складывались горы. Найденные на острове Врангеля образцы окаменевшей фауны показали, что это происходило в начале мезозоя и даже в предшествующую ему эру — палеозое («древней жизни»), то есть двести — пятьсот миллионов лет назад.

На той стадии развития (она характеризуется опусканием земной коры) геосинклиналь — обширный морской бассейн, на дне которого накапливаются толщи осадков. Со временем они уплотняются, превращаясь в горные породы, при этом из недр Земли вырывается магма — расплавленные вещества и газы. Одна из самых больших вершин острова Врангеля — пик Берри — как раз образовалась в результате прорыва изверженных пород. Под воздействием сильного давления и высоких температур породы испытывают физические и химические превращения; это уже почти Солярис, тот первичный котел, в котором выплавлялась плотная оболочка острова — камень, который и сейчас мы можем подержать в руках. И

если мы вооружены научными знаниями, то в нем, как в магическом кристалле, можем увидеть все прошлое.

Была ли в палеозое жизнь на Земле? Наука доказала: была, и бурная. Рождались, расцветали и исчезали одни виды растений и животных, уступая место другим...

Лишь теперь, когда мы проследили на широком фоне земной эволюции не только историю появления острова как географического образования, но и процесс рождения его гор и горных пород, мы можем, пожалуй, и остановиться. Дальше, как говорится, ехать некуда.

Возвращаясь из нашего затянувшегося вояжа, отметим в обратном порядке основные вехи пройденного пути.

Итак, в палеозое и мезозое происходило формирование земной коры на Северо-Востоке Азии. Здесь возникла горная область, в пределы которой входит и территория острова Врангеля, тогда еще составлявшего единое целое с материком. Только около трех миллионов лет назад, в третичный период, воды Мирового океана затопили древнейшую Берингию и отделили от нее часть суши, совпадающую по местоположению с островом Врангеля.

С тех пор географическая обстановка целиком зависела от импульсивного чередования периодов похолоданий и потеплений, вследствие этого возникал и исчезал Берингийский мост, соединявший Азию и Америку и разделявший Тихий и Северный Ледовитый океаны. История Берингии — центральный момент в палеогеографии острова Врангеля, в зависимости от ее судьбы и он то появлялся, то исчезал, меняя размеры и форму. Природа как бы лепила его, сначала медленно, а потом все быстрее, создавая и вновь уничтожая, как черновик, пока наконец не сотворила тот вариант, который и дошел до наших дней. И он, надо думать, не окончательный...

Каким он был, новорожденный остров? Ученые сходятся во мнении, что оледенение если и коснулось его, то незначительно, основная часть территории была свободна ото льдов. Типичный участок Берингии, он, будучи изолирован от материка ледовитым морем, в гораздо большей степени сохранил свой древний вид.

Ледники пощадил флору острова, она дошла до нас с тех времен, когда Азия и Америка были единым целым, почти все виды животных, обитающих здесь, — современники мамонтов...

И человек, так резко и властно изменивший облик планеты, открыл этот труднодоступный уголок несравненно позднее, чем все другие, а уж обживать его начал совсем недавно. Люди просто не успели существенно нарушить первозданную природу острова, он остался единственным в

своем роде заповедником Берингии, во многом сохранившим ее реликтовые черты.

В наши дни значение таких уникальных мест неопределимо. Остров отдан в полное распоряжение ученых. Летом, в полевой сезон, здесь можно встретить представителей самых разнообразных наук, в том числе и берингиологов. И редкая экспедиция возвращается на Большую землю без открытий.

Как совершаются открытия?

В августе 1975 года магаданские археологи производили первую разведку острова Врангеля. Обследуя южное побережье, ученые пересекли глубокий овраг, по дну которого бежал студеной прозрачный ручей, и здесь, на скалистом мысу, круто обрывающемся в море, сделали привал. Слегка перекусили, потом начали работу.

Час за часом археологи перебирали камни, устилавшие поверхность мыса,—ничего интересного, обычная щебенка... И вдруг руководитель отряда Диков позвал всех к себе. В руке у него лежал кусок черного сланца—но не простой камень, а изделие—наконечник гарпуна с ретушированными рабочими лезвиями...

Так была обнаружена древняя стоянка человека на острове.

Место это мы все хорошо знали и раньше, овраг окрестили Чертовым: из-за нагромождения острых камней нарты и вездеход частенько застревали и ломались—как тут не чертыхнуться! И вот теперь, по иронии судьбы, эти чертыхания вошли в науку, дав название древней стоянке.

Сколько раз проходили и проезжали здесь люди—и ничего не замечали. Даже если бы кто-то из нас поднял что-нибудь подобное тому, что нашел Диков, то не обратил бы никакого внимания—камень как камень. Открытие буквально валялось под ногами, но, чтобы оно стало открытием, нужен был просвещенный взгляд специалиста, нужны были знания, опыт, ну и, может быть, еще чуточку удачи...

За первой находкой последовали другие, археологи собрали на мысу целую коллекцию орудий труда и охоты из кремния и кремнистого сланца: ножи, скребки, наконечники стрел, проколки, резчики, отщепы. А когда заложили разведывательные шурфы, то в культурном слое, среди костей морского зверя и птиц, отыскался самый интересный и важный предмет—поворотный наконечник гарпуна из морского моржового клыка весьма архаичной, своеобразной формы. Он уже позволял определить примерный возраст стоянки.

Оказалось, археологи не только получили доказательство заселения острова Врангеля в далеком прошлом, но и обнаружили самую древнюю палеоэскимосскую культуру в

Азии—она была датирована вторым тысячелетием до нашей эры!

Продолжать раскопки на стоянке древних островитян—предков эскимосов—Диков поручил своему ученику, эскимосу Тасяну Теину. Тот взялся за дело с азартом и размахом, ведь ему как-никак предстояло приоткрыть здесь новую, неизвестную доселе страницу истории своего народа.

Раскопив место стоянки на квадраты, вооружившись ножами, кисточками, полевыми дневниками и мешочками для находок, участники экспедиции вгрызались в землю и извлекали на свет все новые каменные орудия: заостренные наконечники копий и пик, которыми аборигены острова кололи моржей и тюленей, тесла для обработки дерева, молотки, ледовые пешни. Среди множества костей животных вострелись когти и зубы белого медведя—значит, били охотники и умку. Была обнаружена хозяйственная яма, где когда-то впрок запасали мясо, найдены три кострища с четырехугольной каменной обкладкой, прикрытые сверху плоскими плитами. Куски угля бережно собрали в банки—для радиоуглеродного анализа.

Судя по всему, хозяева стоянки у Чертова оврага были многочисленны и использовали ее не постоянно, а лишь летом, во время охоты. У эскимосов каждый род имел свою байдари и свой отдельный костер (огонь считался священным, оберегался от чужаков). Стало быть, и навещали стоянку два-три рода, не больше. Покидая ее, люди предусмотрительно накрывали кострище.

Товарищи Теина не удержались, попробовали древние орудия в деле: пытались резать ими черенок лопаты и даже кирзовые сапоги... и пришли к выводу, что они, увы, не смогли бы состязаться в силе и умении с предками. Бригадир оленеводов Василий Рольтыргин, рослый, крепкий парень, потрогал наконечник копья, признался: «Я бы не заколол таким оружием моржа. Наверно, древние охотники были силачами...»

За три полевых сезона археологи вскрыли на стоянке двести семьдесят квадратных метров культурного слоя. Мозоли и пот щедро окупались—Чертов овраг с готовностью раскрывал свои тайны. Помощниками людей неожиданно стали... лемминги, шустрые зверьки сплошь изрыли щебнистую почву своими норками, разрыхлив, вспахав ее, что значительно облегчило раскопки. Весной талые воды через эти норки выносили на поверхность архаичные изделия.

Однажды с Теином произошел забавный эпизод. В знак благодарности к леммингам он поймал одного зверька, обвинил его гирляндой полярных маков и снял на пленку. Потом задремал на солнышке. И увидел необыкновенно яркий, цветной сон. Его окружают хозяева стоянки—древние жители острова, они говорят на каком-то непонятном языке, а

внешне очень похожи на теперешних эскимосов. Два старика приглашают к себе в гости. Теин входит за ними в землянку... и просыпается от прикосновения. Дрожащий лемминг жметса к нему, а над самой головой пикирует поморник. Ударяя от пернатого разбойника, маленький зверек выбрал в защитники человека. На этом все и кончилось: поморник убрался восвояси, на поиски новой жертвы, лемминг юркнул в нору, а человек продолжил работу.

Я тоже побывал у Чертова оврага, посидел на вершине мыса, где горели когда-то костры древних охотников. Море в этом месте вплотную подходит к горам, образуя плавную излучину, заканчивающуюся с двух сторон длинными косами. Погожий денек, какие редко выдаются летом на острове, море искрится и сверкает под солнцем. Прямо перед глазами покачивается льдина, усеянная спящими моржами. Умели же наши предки выбирать себе место для жизни! На взгорке сухо, обзор великолепный, под боком — чистая вода, и зверя тут раньше было, конечно, куда больше, чем теперь, — вокруг немало старых, заброшенных моржовых лежбищ. Дрожат и трепещут на ветру нежные лепестки полярных маков. Далеко разносится тоскующий голос тулеса, почти все время в поле зрения белым столбиком — сова. Те же цветы росли здесь, и те же птицы летали три с половиной тысячи лет назад. И будто слышится чье-то слабое бормотание или шепот... Это волна шуршит на приплеске, и о чем-то торопливо лепечет ручей в овраге. Журчал он и тогда. И возможно, кто-нибудь из первооткрывателей острова так же был заморожен сбивчивой, почти живой речью ручья...

А в то же время где-то за тридевять земель кипела жизнь. На берегах Тигра и Евфрата процветали цивилизации шумеров и вавилонян, а у Нила — египетское царство, греки осаждали Трою, арийские племена вторглись в Индию. Бурно развивалась письменность, наука, искусство. Уже были построены пирамиды, изваяны сфинксы и божественная головка Нефертити...

Здесь, на острове, удаленном от всего света, был свой, совсем иной мир, другое историческое время, здесь царил каменный век.

Легко представить себе, как в конце лета, когда море очищалось ото льда, словно стая больших птиц, из-за горизонта показывались и приставали к берегу черные, остроносые байдары. Смуглые, обветренные люди в кожаных и меховых одеждах, переговариваясь и разминавая затекшие от долгого сидения ноги, разгружают и вытаскивают на песок лодки. Встали на мысу шалаши из шкур, откинута крышка с кострищ — стоянка ожила!

После обязательного ритуала, по команде старейшины рода начинается охотничья страда: зверобой колют пиками

спящих на лежбище моржей, выслеживают во льдах нерпу, сбивают из лука птиц, нападают с копьями на белого медведя. Охота — основное содержание и главное условие их жизни.

Неустанным трудом заполнено время обитателей стоянки: полярное лето коротко, за считанные дни надо обеспечить себя пищей на целый год. Все длиннее и холоднее становятся ночи, горные вершины уже укрылись под шапками снега, близится зима. И вот однажды разбираются шалаши, гасится огонь. Байдары спущены на воду и вслед за перелетными птицами опять исчезают за горизонтом.

Куда же они плывут? Где зимуют эти отважные люди? Где их дом? Где их родное племя?

Вопросы эти пока остаются без ответа.

Маловероятно, что древние охотники приплывали на остров с далекого материка, чтобы только поохотиться. Правда, никаких других стоянок и могильников того времени на самом острове археологи пока не обнаружили, но ведь обследование только началось. Теин предполагает, что морские зверобой заселили остров еще в глубокой древности, а соплеменники с материка навещали их. Но однажды какая-то страшная болезнь или другая трагедия постигла обитателей острова. И возможно, гости с Большой земли, не застав здесь никого в живых, испугались и ушли. Остров был надолго забыт.

Что ж, одна из возможных догадок, пока, увы, никак не доказанная. Интересно, что думает обо всем этом первооткрыватель стоянки?

Спустя месяц в камералке археологов Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института в Магадане Диков демонстрировал нам коллекцию своих находок — подъемный инвентарь, как он выражался. Ученая бородака его со времени нашего знакомства изрядно поседела, но внешней солидности Николай Николаевич не приобрел: все так же худ и подвижен и увлечен по-прежнему.

Я напомнил Николаю Николаевичу о давней встрече в анадырской бане.

— В парилке? — засмеялся он. — Раз такая точность, значит, было. На Чукотке все возможно. Так говорите, я обещал тогда добраться до острова? Вот видите — сдержал слово. И надеюсь еще побывать. Археологическое исследование острова только началось, он еще может преподнести нам такие сюрпризы, которые перевернут все наши представления о его первом заселении. В науке ведь так: каждое открытие влечет за собой новую тайну...

Предположим, как считает Диков, обитатели Чертова оврага были выходцами не с азиатского берега... И все же сомнительно, чтобы древние охотники на своих байдарках и

каких решались преодолевать огромные морские пространства, плавучие льды. Не помогала ли им тогда сама... география?

В последние десятилетия утвердила себя и приобрела много сторонников гипотеза о существовании в Северном Ледовитом океане в сравнительно недавнем прошлом Арктиды—древней земли, пересекавшей Полярный бассейн от берегов Азии до Гренландии, через полюс. Исследователи относят существование Арктиды к различным периодам—от ста тысяч до двух с половиной тысяч лет назад. Не единодушны они и в том, что собой представляла эта земля—горные хребты, ныне погруженные в воду, или острова, состоящие из ископаемого льда, впоследствии размытые.

Можно предположить, что между островом и зарубежной Арктикой долго и даже после исчезновения Берингии существовал другой мост—Арктида,—существовал и использовался во времена обитания людей на стоянке у Чертова оврага. Части Арктиды, таинственные, исчезнувшие земли Арктики, окружали остров с разных сторон: с запада—Земля Андреева и Земля Санникова, остров Полярников и размытые уже совсем недавно, на памяти людей, которые успели их обследовать, острова Васильевский и Семеновский; с востока—остров Крестьянка в Чукотском море и Земля Так-Пука в море Бофорта и даже с севера—Земли Бредли и Крокера, у побережья Канадской Арктики. Советскими полярниками был открыт на дне океана гигантский хребет, получивший название хребет Менделеева, начинаясь к северу от острова Врангеля, он протянулся до Канадского Арктического архипелага. Анализ подводного рельефа и горных пород свидетельствует о том, что хребет Менделеева весь или отдельные его части поднимались над уровнем моря.

Вспомнишь тут Ломоносова: «По большей части недосыгаемое мерою дно морское за поверхность земли по справедливости почесть можно!»

Гипотеза об Арктиде, впервые высказанная советским ученым Яковом Гаккелем и казавшаяся поначалу совершенно фантастической, со временем нашла множество подтверждений—в геологии, ботанике, зоологии. Чем, например, объяснить, что некоторые врангелевские растения не встречаются ни на Чукотке, ни на Аляске, а только в Канадской Арктике и Гренландии? А издавна замеченные многими исследователями и местными жителями трансарктические перелеты некоторых птиц (черных казарок, например), будто бы не желающих забывать старинные пути своих кочевий?

И вот теперь свое слово сказали археологи. Не является ли оно еще одним косвенным подтверждением того, что Арктида—не миф? Вовсе не исключено, что несколько

тысяч лет назад остров Врангеля был звеном в «цепочке жизни» между Азией, Америкой и Гренландией, по которой шло заселение территорий и культурный обмен у аборигенов Севера. Так современные научные открытия дают возможность добавить еще один штрих к историческому «портрету» острова Врангеля: он оказывается не только на стыке двух полушарий, двух материков и двух океанов, но и на стыке двух исчезнувших территорий—Берингии и Арктиды.

Науке известно, что в эпоху, близкую ко времени существования стоянки у Чертова оврага, в зоне Берингова пролива распространилась культура морских зверобоев—предков эскимосов. Это были истинные дети Севера, гиперборейцы! Как писал Диков, «в то время, когда еще не было ни Рима, ни Афин, здесь, на Чукотке, шло освоение суровой окраины света. Даже на далеком острове Врангеля обитали уже искусные морские охотники, причем жили они не в изоляции, а поддерживали культурные связи с отдаленными землями, вплоть до Гренландии».

Все-таки какой загадочный это народ—эскимосы! Недаром полярный исследователь Кнуд Расмуссен восклицал: «Эскимосы не походят ни на один народ в мире!»

А тот мамонтовый бивень, который когда-то валялся за ненадобностью на полярке, в конце концов исчез. Может быть, его подхватила какая-нибудь экспедиция или кто-то из зимовщиков, набравшись терпения, распилил и пустил на сувениры—не важно... «На острове мамонтизма хватает». А раз так, значит, есть почва для дальнейших размышлений о судьбах мамонтова материка—Берингии и ее осколка—острова Врангеля.

Возможно, в будущем древняя история острова представит в ином свете. Ведь наука не стоит на месте. Путешествие в прошлое продолжается.



**ПО СЛЕДАМ
ОНКИАОНОВ**

С середины апреля на остров летят первые птицы. Еще тверд наст под ногами, море крепко сковано торосистым льдом, и нет-нет да и насочит пурга, занесет уже откопанные окна. Словом, земля и море еще зимние, но тьма на небе сменяется светом, солнце почти не заходит за горизонт, близок полярный день!

Тогда, в свободные дни, я натягивал торбаса и уходил на мыс Гавай. На всякий случай брал ружье, больше для вида, чтобы у начальника нашего не было сомнений насчет безопасности сотрудников. Отправлялся рано утром, а к концу следующего дня, вдоволь набродившись и наглядевшись на птиц, возвращался домой.

Примерно на середине пути, у речки с домашним названием Наша, жил мой давний знакомый, охотник Айнафак. Он был уже на пенсии, но продолжал ловить песцов — теперь больше для своего удовольствия. У Айнафака я устраивал привал, заваривал крепкий чай, а если хозяин был дома, мы чаевничали вместе и заводили беседу. Чаще всего я расспрашивал старика о прошлом, и он охотно рассказывал, ему нравилось, что кому-то это интересно.

— Как думаешь, — спросил я его однажды, — в давние времена, еще до прихода русских на Чукотку, кто-нибудь жил на острове?

— Так давно? — прищурился он. — Не знаю. Я не такой старый.

— Кто же первый поселился здесь? — пытал я его. — Вот в книгах пишут, что остров раньше был необитаем.

Айнафак засмеялся:

— Ы-ы... Кто пишет книги, тот так и думает.

Потом помолчал немного и сказал:

— Когда я был молодой, как ты, я охотился на мысе Блоссом. Знаешь, на западной стороне? Объяехал капканы, возвращаюсь по берегу домой. С моря сильно дуло, и собачки все сворачивали в тундру. Вынесли на бесснежное место, встали. Смотрю — яма и деревяшки из земли торчат, вроде как стенка от подземной избушки, только очень старая, сгнила вся. В таких избушках в прежнее время наши люди жили. Что скажешь?..

На другой день разговор продолжился:

— А что, то место, где ты нашел старое жилье, — спросил я, — был ли там кто-нибудь еще?

— Громов был, геолог. Он в то лето здесь экспедицию проводил. Я ему сказал.

— Ну и что?

— Копался. Много всего нашел. Говорит: «научное открытие»... Не знаю, теперь живой Громов или нет. Жизнь прошла...

— Да-да, и бусинка... голубого цвета. Она меня больше всего поразила. Ну, да погодите, расскажу по порядку...

Разговор происходит в Москве, в Доме полярника, на квартире Леонида Васильевича Громова. Мой собеседник, известный геолог, ветеран войны, с удовольствием вспоминает свою юность, остров Врангеля.

— В тридцать седьмом году, — рассказывает он, — добрался я до мыса Блоссом. Там в это время охотился Айнафак. Он вдруг говорит: «Лёна, — так они меня звали, — я землянку нашел». — «Какую землянку?» — «Старую, — говорит, — наверно, эскимосскую». Чудит, думаю, человек, ну какая старая землянка на Врангеле? Здесь и люди-то поселились лет десять с небольшим.

Утром повез он меня на мыс Фомы. Там свернули в тундру и действительно наткнулись на остатки какого-то полуподземного жилья. Ровная площадка, из мха куски бревен торчат, подгнившие, трухлявые. Копнули мы их, вещи стали попадаться: наконечник копья из моржового клыка, лопатка весла, кости животных, костяной гарпун. Одним словом, правду Айнафак сказал: землянка древняя, по типу эскимосских нынлю. И еще одна загадка. Нашел я там

бусинку. Голубую... А ведь бусы—привозной для Чукотки предмет, туда бусы попали только с приходом русских. Так кто же обитал в этой землянке? Может быть... легендарные онкилоны?..

— А где теперь ваши находки?—спросил я.

— Не знаю, тогда же сдал их на полярную станцию. Вскоре я уехал в Москву и по свежим следам напечатал статью об этом в журнале «Проблемы Арктики». Потом война, после войны—новые дела. Я часто вспоминал о голубой бусинке, да руки все не доходили. Не знаю, куда она теперь закатилась...

Онкилоны, герои знакомой с детства научно-фантастической книги Владимира Афанасьевича Обручева. Онкилоны, которых давно уже нет, и неизвестно, куда они делись... Мало кто знает, что это древнее северное племя—не плод фантазии автора, оно существовало на самом деле. Что же о нем известно?

Лейтенант Фердинанд Врангель, путешествуя в первой четверти прошлого века в поисках острова, записал со слов чукчей такое предание:

«Народ онкилон двести лет тому занимал весь азиатский берег от Шелагского мыса до Берингова пролива. Предание подтверждается тем, что на всем протяжении здесь видны следы хижин, совершенно отличных от тех, в каких обитают горные чукчи. Судя по остаткам, хижины сии были несколько углублены в землю и покрывались китовыми ребрами и землей. Сильная вражда между онкилонским старшиной Крехаем и главой оленных чукчей Ерримом превратилась в междоусобие... Жители деревни Ир-Кайпии, где, по преданию, Крехай скрывался, рассказывали мне о нем следующее: он убил чукотского старшину Еррима и был преследуем сыном его, долгое время скитался и наконец скрылся на мысе Ир-Кайпии, где доселе видна природная стена, за которой он поселился. Но молодой чукча Еррим, жаждая мщения за смерть отца своего, нашел средство ворваться туда и умертвить сына Крехая. Хотя по понятиям здешних жителей кровавая месть была тем удовлетворена, но, вероятно, Крехай все еще имел причину страшиться преследования своего непримиримого врага. Потому ночью спустился он по ремню со скалы в приготовленную для побега лодку и, думая обмануть своих неприятелей, поплыл сперва на восток, но потом повернул на запад и достиг Шалаурова острова, где укрепился в землянке, развалины которой мы видели. Туда собрались мало-помалу все его родные и вскоре на пятнадцати байдарках убежали в незнакомую землю, в ясные, солнечные дни видимую с мыса Якана. На следующую зиму скрылся еще один чукча, родня Крехая, со своими домочадцами и оленями; подозревают, что и он также удалился в ту заморскую землю».

Так гласят легенды. А что говорят ученые? У них нет единого мнения на этот счет. Однако они в основном сходятся на том, что онкилоны—древнеэскимосское племя, исчезнувшее до середины XVII века, и что само название «онкилоны» происходит от чукотского «анкальыт», что значит «береговой житель».

На мысе Ир-Кайпии (сейчас—Рыркайпий, в переводе с чукотского—«моржовый затор») в разное время вели раскопки шведский исследователь Норденшельд, зоолог из Петербурга Нордквист и наш знакомый, магаданский археолог Диков. Были найдены остатки поселения и множество вещей, принадлежащих онкилонам. Но куда отправились те самые пятнадцать байдар и что с ними стало? С мыса Якан «в ясные, солнечные дни» видна только одна земля—остров Врангеля. Стало быть, следы онкилонов надо искать там?

В 1977 году в ожидании рейса на остров пришлось довольно долго просидеть в аэропорту Мыс Шмидта. Я решил отправиться на Рыркайпий, благо это совсем рядом, километрах в шести.

С вершины Рыркайпия передо мной далеко на север распахнулось море, пронизанное мерцающими солнечными искрами. Я действительно очутился в природной крепости. С правой стороны среди хаоса скальных обломков выделялась площадка, ровно выложенная плоскими камнями,—место жертвоприношений, о котором писал Норденшельд, хотя трех концентрических кругов из медвежьих черепов, что он видел, здесь уже не было. Слева горбились невысокие холмики с провалами, из которых торчали китовые кости и остатки деревянных столбов. В ямах валялось много костей животных, в одной я подобрал каменный наконечник стрелы.

Отсюда отправилось племя Крехая на неведомую землю в надежде найти там спасение. Теперь надо было искать его следы на самом острове.

Погожий августовский день. Лавируя между льдинами и ледяными полями, медленно движется наш вельбот—моторная шлюпка. Цель этого маршрута—осмотреть лежбище моржей на мысе Блоссом. На вторые сутки плавания вдоль южного берега острова без всяких происшествий мы добрались до мыса и заночевали там в пустующем домике выносной станции. Станция уже несколько лет как прекратила свое существование, из-за усовершенствования службы погоды, средств связи и навигации стала ненужной. И теперь в доме находят убежище только полевики вроде нас, да еще медведи иногда озоруют, выбивают окна...

К северу маячил на горизонте, плавился в закатном огне мыс Фомы. Там, возле мыса, сорок лет назад Громов раскопал загадочную землянку. Онкилоны выплыли из легенды и поселились рядом. Могли ли мы не навестить их?

На следующий день, обойдя Блоссом, вельбот по широкой полосе чистой воды добрался до мыса Фомы. Птичий базар здесь уже распался, одни только беринговы бакланы, поводя хохлатыми головами на длинных шеях, встретили нас.

Густой туман прикрывал скалы. Мы высадились на галечнике и, рассыпавшись по склону горы Томас, отправились на поиски. Найти что-либо в таком тумане было мудрено. И все же на бугре, метрах в пятистах от берега, мы наткнулись на площадку, опоясанную сгнившими бревнами. Такие же куски дерева выглядывали из-под дерна и в центре прямоугольника, возможно, это были остатки рухнувшей крыши землянки. Из вещей мы нашли на поверхности только кусок старого расколотого моржового клыка со следами обработки—край кости был явно срезан. Вокруг попадались выбеленные временем черепа моржей, китовые ребра и позвонки, нерпичьи кости.

Но почему землянка в таком удалении от берега? Может, с той поры, когда здесь жил человек, море отступило? Значит, это было давно, несколько столетий назад. Голубая бусинка скорее всего попала на Чукотку не раньше XVII века. А онкилоны, по легенде, оставили материк в первой половине XVII века, выходит, могли быть и они.

Раскапывать землянку мы не стали—это дело специалистов. Заехав в Магадан на обратном пути с острова, я рассказал археологам о нашем плаванье. Теперь слово за ними. Уже в Москве, когда мы с Громовым сравнили наши наблюдения, оказалось, что следы землянок найдены в разных местах, хоть и неподалеку друг от друга. Значит, сделали мы вывод, у мыса Фомы находилось не одно, а несколько жилищ, а быть может, и целое поселение.

Увлеченные поисками, мы не сразу заметили, что ветер переменился, и льды начали медленно дрейфовать, отрезая нам обратный путь.

Видно, потревожили мы дух старого Крехая, и Ворон, покровитель его племени, поднялся и полетел впереди вельбота. Лед все теснее прижимало к берегу, приходилось все время лавировать. Важно было обойти Блоссом—около него уже образовался затор. Еще издали мы увидели странную картину: возле берега льдины неслись в сторону, обратную общему движению льда, как если бы кто-то под водой с силой толкал их.

Это был так называемый сулой, упомянутый еще Дежневым,—стремительное водоворотное течение у мысов. По Далю, сулой—поморское слово (он же сувой, вир, вырь, водоворот, заверть), означающее спорное, встречное, заворотное течение, толчею, всплески на таком месте... Утром мы его не заметили. Может, потому, что был отлив?

Блоссом надо обойти, но забираться далеко от берега опасно, и наш капитан смело двинул суденышко в промежу-

ток между двумя несущимися льдинами. Казалось, мы уже проскочили, но тут вельбот вдруг приостановился, зацепившись винтом за подводную часть льдины. Этого и ждал Ворон. Льдины сошлись, раздалось злое «кrrрак!»—в вельбот хлынула вода, и он пошел левым бортом под лед. Мы высочили на налезавшую льдину, успев захватить только весло, багор и рюкзак с продовольствием. Вельбот почти до краев наполнился водой.

Берег недалеко, метрах в двухстах, но до него—живое крошево льда. Кто-то крикнул: «Держимся вместе!» Возникла та нервная цепочка, которая связывает людей в минуту опасности, по которой передает сигналы последний трезвеший расчет...

Странное дело, мы оказались в центре огромной стаи куликов-плавунчиков, они окружали нас со всех сторон и пищали, ныряли, прыгали, кивали головками, ничего не боясь, будто нас здесь и нет, будто мы какие-то неземные души... Должно быть, течение вынесло со дна каких-нибудь рачков.

Через несколько минут вправо, ближе к берегу, оказалась льдина, подобная нашей, и между ними третья, поменьше. Образовался мостик. Не сговариваясь, мы начали прыгать по нему один за другим. Последний прыгнул, когда льдины уже расходились, мы приняли его на руки. А к той льдине, на которой мы очутились,—тоже случайность!—причалила еще одна, ноздреватая, полузатопленная, с виду ненадежная. И до берега от нее—полоса чистой воды.

— Прыгай! Догребем!

— Не прыгай! Развалится!

Шагнул один. Держит. Второй, третий—все! Начали судорожно грести веслом, багром. И догребли. А на берегу обнялись.

И заулыбались:

— Теперь мы крестники, сегодня у нас у всех день рождения!

Все дальше в море уплывал рюкзак с провиантом—мы забыли его на льдине, которая раздавила вельбот. Саму же шлюпку—а в ней фотоаппараты, бинокли и прочие вещи—неожиданно развернуло и потащило вдоль берега, совсем близко. Схватить бы, но песок круто уходит в глубину и рядом кружится лед. Топтались, примеривались... Решился капитан—бросился по пояс в воду и багром зацепил веревку, свисавшую с носа вельбота.

Через час оконечность мыса выглядела так. У берега, привязанный к большой стамухе, сидящей на песке, покачивался вельбот с широкой пробоиной в правом борту и лопнувшим днищем. Невдалеке, накрытое парусом, лежало кучей содержимое вельбота: мотор, весла, мачта, якорь, рабочий инструмент, канистры с бензином. Мы в это время

уже сидели в домике «выносной» и отмечали наш «день рождения» — там, слава богу, был запас продуктов.

Последний вечер на Блоссоме. Медленно оплывает свечка, ветер доносит с моря ворчанье моржей, из спальников слышится мерное посапывание. Выхожу на крыльцо, в полусвет наступающей ночи. Хмурое небо тяжело навалилось на горизонт. Вдоль берега гонит лед. И там, среди белесого крошева, вдруг мелькает какое-то темное пятно — то ли стадо моржей, густо облепивших льдину, то ли стая птиц, то ли ряд человеческих голов, выступающих над бортом кожаной байдары... Онкилоны, племя, обреченное на скитания.

Память о той бессонной ночи — несколько исписанных листов бумаги. Начало сказки об онкилонах...

Крехай вел байдары в открытое море. Его племя покидало землю предков. Глубоко дышала Седна — морская владычица, вскормившая грудью этих смуглых прочных людей, научившая их ремеслу звериного боя и бросившая — как все матери рано или поздно оставляют детей — самим отстаивать право на жизнь.

Крехай сидел в передней байдаре — маленький, сплетенный из жил старик. Хмурые гребцы дружно налегали на весла, толкая тяжело нагруженную лодку вперед. На носу байдары спала на шкурах девочка, дочь Крехая — Яри, она улыбалась во сне: полные губы приоткрылись, голова доверчиво запрокинулась. На шее ее грелась голубая нитка бус.

Иногда Крехай забывался, словно проваливался, убавляя волн и равномерными толчками весел. Укрепленная на его шапке воронья голова сползала на глаза, и, казалось, сам Ворон — отец и покровитель племени — заступал место человека...

Он вел пятнадцать байдар — полсотни мужчин, горстка мальчиков и одна девочка — все, кто уцелел в последнем бою с кочевниками. Вел на неведомую землю, которую видел только раз в жизни.

Впервые Крехай услышал про нее от своего дяди — шамана Ытеина. Когда Крехай был еще маленьким, отца его унесло на льдине, дядя взял мальчика к себе в дом и воспитал как сына.

Однажды ясным летним утром Ытеин приказал своему воспитаннику собраться в дорогу. Через два дня пути они пересекли долину небольшой речки и взобрались на высокую каменистую площадку над морем. Здесь заночевали. Перед утром шаман бил в бубен и пел. Потом разбудил Крехая:

— Смотри!

Солнце обрушило на море снап раскаленных стрел, и, пронзенное этими стрелами до самых глубин, оно лежало ровное и успокоенное. А далеко-далеко за морем, повитые

дымчатыми прядями, висели голубые, убеленные снегом вершины.

— Видишь, это земля, — сказал Ытеин. — Никто не был там, но она есть. Предки называли ее Землей-Облаком. Весной птицы летят туда, а осенью возвращаются обратно. Значит, там можно жить. Нельзя покидать своей земли, покинувший свою землю никогда не вернется обратно. Запомни это, сынок. Но если случится беда и сам отец племени оставит наши дома — да не достигнет нас такая участь! — если это случится, то кто-то должен увидеть его полет, чтобы направить путь племени. Вот для чего учил я тебя смотреть дальше, чем другие, учил терпеливо и, думаю, не напрасно. Этот мир только один из многих, в который мы перешли и из которого уйдем. Кто-то должен знать пути перехода...

— А как называется место, где мы стоим? — спросил Крехай.

— Это место называется Крыло...

Шло время. Пока шаман старился и дряхлел, воспитанник его превращался в сильного, отважного мужчину. И когда Ытеин решил уйти из этой жизни к «верхним людям», по его последней воле Крехай сам затянул ремень на шее старика. Но перед тем тот снял со своей шапки черную голову ворона и прикрепил ее к шапке Крехая.

Говорят, раньше онкилонов было больше, чем звезд в небе, чем птиц на береговых скалах, чем тюленей в море. Их костры горели по всему берегу от мыса Ерри с запада до мыса Пеек на востоке и даже дальше, за проливом, в лесистой стране алгонкинов. Море давало онкилонам все, что нужно для жизни. Но самым желанным гостем был кит. Выходили к нему все мужчины селения, а женщины и детвора собирались на берегу свежеевать добычу. И самым большим праздником был Праздник Кита, одно животное, добытое осенью, кормило селение всю зиму. Люди никогда не убивали зверя, они только брали для еды его тело, а душу, как живую птицу, выпускали на волю: «Спасибо тебе! Иди! Не сердись! Приходи опять!» Так и случалось: душа обростала новой плотью, и зверь возвращался к человеку.

Большая охота продолжалась до осенней стужи, когда ветер пригонял к берегу лед и горы одевались снегом. На зиму онкилоны переселялись под землю, в избушки, сделанные из китовых костей и плавника, и там спасались от злого дыхания большой полярной ночи. Собирались вокруг жирников, чинили оружие и снасти, шили одежду, рассказывали друг другу разные истории, пели песни. На небе полыхало сияние — это души умерших детей играли в мяч, человек, покидая этот мир, переселялся на небо и там опять находил своих родичей и друзей.

Духи управляли землей, они были всюду, помогая или

толкая в бездну, могли даже войти внутрь человека, чтобы вдохнуть в него силу жизни или отнять ее. Но и от самого человека зависело многое. Он должен был уметь жить, уметь в союзе с добром побеждать зло. «Не умеющий жить» — это было самым тяжким оскорблением у онкилонов.

С юга, из страны гор и тундр, выходили на морской берег многочисленные кочевники — оленеводы. Когда-то онкилоны и кочевники мирно делили между собой море и тундру. Но этого доброго времени Крехай уже не застал. Былого равноправия не осталось и в помине. Кочевники не упускали случая показать свою силу и превосходство над «птичьим племенем», как они называли онкилонов. Вспыхивали ссоры, и часто после сражения кочевники уводили с собой женщин и детей онкилонов, лишая их будущего. И вот на всем берегу осталось только одно племя. Но и оно однажды лишилось вождя — во внезапной схватке, разгоревшейся во время торга. И тогда онкилоны признали своим предводителем Крехайа...

Племя жило на высоких скалах маленького полуострова, который назывался Моржовый Затор. С трех сторон он отвесно падал в море, а с одной — отгороженный защитным каменным валом — соединялся с берегом узкой песчаной косой. На вершине полуострова обитал сам Ворон. Он был намного старше всех людей в селении и так привык к ним, что без опаски бродил по площади Жертвоприношений и между жилищами. Люди кормили его тем, что ели сами, заботясь, чтобы он не рассердился и не покинул их. На площади Жертвоприношений устраивались общие моления, в центре ее был выложен Священный Круг из медвежьих черепов, положенных клыками внутрь.

Много лет Крехай почти не вспоминал о Земле-Облаке. Он женился на самой красивой девушке племени, и она родила ему детей — сына и дочь. Размеренная самой природой на времена года, текла жизнь...

И вдруг все перевернулось. Собрав великое множество воинов, вождь кочевников внезапно напал на онкилонов. И Ворон — их хранитель, — испугавшись, покинул селение, улетел на север.

Единственным спасением для племени стала Земля-Облако, которую показал когда-то старый шаман...

Вскоре после нашего путешествия по следам онкилонов я рассказал о нем на страницах журнала «Вокруг света». И получил любопытное письмо от читателя журнала, старого полярника Лазарева. Он писал:

«В 1953—1955 годах я проработал две навигации на выносной станции мыса Блоссом, заменив там старшего гидрометеоролога, который погиб в том самом злосчастном

сулое, в который попали и вы. Об этом течении можно многое рассказать. Бывало так, что при тихой погоде и ясном небе на Блоссоме вдруг начиналось «столпотворение» в буквальном смысле этого слова, стоял грохот, напоминающий орудийную канонаду, и через час-два у оконечности мыса возникали гигантские, высотой с трех-четырёхэтажный дом стены битого пакового льда. Проходило несколько дней, и море все уносило, мыс опять был чист и гладок. Так повторялось неоднократно.

Мы тогда работали круглосуточно, отдыхали урывками между сроками наблюдений и радиосводками, к тому же станция служила «приводом» для самолетов, идущих на СП, в район полюса относительной недоступности. Установить специальные наблюдения за течением не было никакой возможности, хотя оно того, несомненно, заслуживало.

Что же касается онкилонов и бусинки, у меня там тоже была чрезвычайно интересная находка. На косе севернее Блоссомы, недалеко от охотничьей избушки Ульвелькота — он промышлял тогда рядом с нами, — я нашел медный колокольчик, на котором старинной славянской вязью было написано: «Отлит 1765 год в Новгороде мастером...» (дальше стояла фамилия, которой сейчас не помню)...

Вместе с письмом Лазарев прислал несколько фотографий. Одна из них, изображавшая убитого медведя, была снабжена такой надписью: «Не огорчайтесь, мишки постоянно осаждали и грабили нас (даже на метеоплощадку нельзя было выходить без пистолета), а на станции и так было трудно с продуктами и топливом. Приходилось иногда „принимать меры“...»

Больше всего в этом письме заинтриговал, конечно, колокольчик. Лазарев — москвич, разыскать его не составило большого труда, но при встрече он, увы, мало что смог добавить к написанному. Да, действительно, подобрал на песчаном берегу небольшой колокольчик темно-коричневого цвета с прозеленью. Еще ушко было повреждено. Когда оттер, проступила круговая надпись по нижнему краю, выше располагались еще два ряда то ли надписей, то ли узора — нельзя было различить... Вернувшись в бухту Роджерса, Лазарев передал свою находку начальнику полярной станции Морозу и больше о ее судьбе ничего не знает. Ведь когда было!

Пробовал я разыскать и Мороза, узнал, что он уже несколько лет как умер, а родственники живут то ли в Ростове, то ли в Киеве, точного адреса нет. След затерялся...

И все же интересно, как мог колокольчик, отлитый в 1765 году в Новгороде, попасть на остров Врангеля? Занести его сюда, да еще в такой отдаленный уголок, как мыс Блоссом, мог только какой-то чрезвычайный случай. В быту

эскимосов и чукчей этот предмет совсем не нужен, русские первопоселенцы острова—Ушаков, Минеев, насколько известно, тоже подобных вещей с собой не завозили. Правда, как раз недалеко от Блоссомма в 1911 году высаживались на острове моряки ледокольного судна «Вайгач», может, у них на борту случайно оказался этот старинный колокольчик, и они, захватив его на берег, оставили или потеряли здесь? И это маловероятно...

Остается последняя версия, и на ней стоит остановиться подробнее.

Безымянные кресты и могилы, следы кораблекрушений, зимовья русских мореходов встречаются на многих островах Ледовитого океана, по всему Северному морскому пути. Легенды о «Земле бородатых», о «бородатых людях», приходивших на материк со стороны моря и якобы живущих там, постоянны у северных народов. Все это свидетельствует о присутствии в тех местах русских людей еще задолго до предпринятых туда путешествий, о которых известно из сохранившихся рукописных отчетов и памятков.

На острове Фаддея, близ побережья Таймыра, осенью 1940 года гидрографической экспедицией было найдено множество старинных вещей: медные котлы, русские натальные кресты, перстни с изображением сказочных птиц, нож с именной надписью славянской вязью, монеты... Познакомившись с подробным отчетом об этом открытии, я натолкнулся на такие любопытные подробности. Гидрографы сообщали: «Среди находок обнаружены... колокольчик медный, бусинки голубые разной величины...»

В следующем году в том же районе, в заливе Симса, исследователи нашли остатки избушки, остов лодки, скелеты трех человек—двух мужчин и женщины—и целый склад различных вещей, среди них были те же предметы—бусы светло-голубые и колокольчики. Ученые относят события, случившиеся здесь, к XVII веку. Тайна до сих пор полностью не раскрыта, никаких письменных свидетельств нет.

Могила неизвестных русских мореходов, зимовье и остатки корабля обнаружены и на острове Котельный.

Наконец, уже ближние подступы к острову Врангеля, северное побережье Чукотки... Лето 1764 года. Отважный мореход и предприимчивый купец Никита Шалауров на своем корабле «Вера, Надежда, Любовь» отправляется на поиски новых земель. За Шелагским мысом судно затерто льдом и прибито к берегу. По примеру прошлых своих зимовок Шалауров строит хижину, однако она становится для путешественников последним убежищем—все они погибают один за другим от голода и болезней. Впоследствии чукчи находили здесь немало разных вещей, в том числе и из меди...

И в дальнейшем русские люди не раз пытались пройти вдоль побережья Чукотки. Осваивалась Северная Америка.

Случалось, корабли попадали в ледовый плен или угоняло в бурю. И вполне вероятно, что какой-нибудь из них был унесен к острову Врангеля.

Мыс Блоссом далеко выступает в море, эта ближайшая к материку точка—приметный и очень важный в навигационном отношении пункт. Не след ли посещения острова русскими мореходами—медный колокольчик, найденный на мысу Лазаревым? И нет ли какой-то связи между этой находкой и заброшенными жилищами на мысе Фомы? Может быть, остатки древних жилищ, найденные Айнафаком и нами, принадлежали вовсе не онкилонам, а потерпевшим бедствие русским путешественникам? Или здесь побывали и те и другие? И такое возможно. Косвенные подтверждения этому есть.

На русских картах XVIII века, составленных по итогам путешествий казаков, показана к северу от Чукотки Земля Тикеген (или Китеген), на которой «живут люди храхай», то есть люди рода Крехая. По рассказам чукчей, у них много меди для выделывания стрел, ножей, котлов и прочих предметов.

Русский полярный путешественник Матвей Геденштром доносил осенью 1808 года: «К северу от Колымы обитает особенный народ, который по сие время остается неописанным». На земле, расположенной к северу от Шелагского мыса, живут люди, которые «сходствуют с русскими» и «сверх того бородаты». В 1823 году в журнале «Сибирский вестник» появилось еще одно загадочное сообщение: «Сия земля имеет жителей, которые называют ее Тикеген, а сами известны под именем хрехаев и состоят из двух племен. Некоторые из них бородатые и похожи на россиян, другие же чукотской породы...»

Итак, наша версия не столь уж беспочвенна. Если бы удалось ее подтвердить, то мы установили бы факт открытия и посещения острова русскими мореходами задолго до того, как он был точно нанесен на карту. Находка колокольчика позволяет сделать такое предположение. Может быть, со временем удастся обнаружить и другие следы пребывания человека на острове и раскрыть в конце концов, кто жил в избушках на мысе Фомы, кого украшала голубая бусинка и кому или по ком звонил медный колокольчик.

В память о них—безвестных первооткрывателях—стоят обетные кресты вроде найденного на Чукотке с надписью: «О плавающих путниках, едущих странствовать пленниках, о спасении их душ Господу помолимся...»

По следам русских землепроходцев мы отправимся в следующее путешествие во времени.



ЗА КРАЙ ОЙКУМЕНЫ

— Земля! Земля!—закричал с марса дозорный.

Капитан поднял к глазам бинокль и увидел на горизонте темное, похожее на тучу пятно. Вглядевшись пристальнее, он различил в нем очертания неведомой, не обозначенной на карте суши...

Так, по приключенческим романам, открываются острова.

В жизни все происходит гораздо сложнее. Открытие новой земли обычно не однократный акт, а процесс многоступенчатый и длительный. В самом деле, кого считать первооткрывателем острова—того, кто первый его увидел, или того, кто первым высадился на нем? Кто первым нанес его на карту или поднял на нем флаг своей страны? Или, быть может, того, кто первый его исследовал и заселил? Или предсказал его открытие?

Кто же открыл остров Врангеля? Ответ, кажется, прост: открой... энциклопедию и прочитай. Но не будем облегчать себе задачу. Попробуем проследить с самого начала, как шаг за шагом шли люди к открытию острова, как искали, находили, теряли и снова искали его, каких трудов это

стоило, пока он стал наконец доподлинно известен и попал в энциклопедию. Тем более что и энциклопедия—не истина в последней инстанции. Новые идеи в исторической географии, находки археологов на острове и историков в архивах, весь постоянно меняющийся круг исторических и географических представлений позволяют увидеть сегодня историю острова Врангеля в новом свете, внести в нее существенные поправки.

Прежде всего необходимо уяснить вот что: открытие острова человеком и открытие его человечеством—вещи разные.

Медленно, шаг за шагом, проникали люди на Север. Охотники на мамонтов. Древние племена и народы... Именно они—первожители острова, древние эскимосы—и были первыми его открывателями. Это было открытие острова человеком, но не человечеством, оно оставалось неизвестным другим народам.

«Какое значение имеет подвиг, если он не запечатлен словом!»—воскликнул Стефан Цвейг. Думается, что имеет, и не меньшее, чем тот, который сразу становится известным всем. Такой подвиг тоже не проходит бесследно, он записывается на других скрижалях, как говорили древние—«на досках судьбы», то есть в самой живой истории, в памяти поколений, и рано или поздно обретает известность.

А запечатленный словом подвиг совершили наши предки—русские землепроходцы и путешественники, благодаря им произошло открытие острова человечеством. Заслуги этих отважных людей до сих пор еще не оценены по достоинству. А между тем простые казаки и промышленники в своих путешествиях, не уступающих по значению плаваниям Колумба и Магеллана, обнаружили целые народы, присоединив их судьбы к общей судьбе цивилизации, выведя их на современную историческую орбиту.

Что знало человечество о Северо-Восточной Азии до прихода туда русских землепроходцев? По существу ничего. Этот период можно назвать периодом «воображаемой географии»: верхняя часть карты мира, Гиперборея, заполнялась многочисленными «терра инкогнита» и «терра фантазия». Берега принимали любые очертания. Заблуждения и ошибки соседствовали с сознательными мистификациями: мир часто изображался не таким, какой он был на самом деле, а каким его хотели видеть. Географическая «правда» пробивала себе путь медленно и с трудом.

И только к концу XVI века, в связи с массовым движением русских людей на Северо-Восток, мифические земли начали уступать место реально существующим. За невероятно короткий срок—какие-нибудь шестьдесят лет—«коломбы российские» продвинули край обитаемой земли—Ойкумены—на гигантское расстояние—от Урала до Аляски.

Мир узнал о существовании огромной, неведомой дотоле части планеты.

«КАМЕНЬ В МОРИ ПОЯС»

Север — исконная, неотъемлемая часть нашего национального сознания. Здесь мы давние жители и мореплаватели. Ученые находят все новые следы древней русской культуры на необозримых заснеженных просторах. Остатки острогов и монастырей. Былины, записанные на Индигирке и Колыме, хороводные песни на Анадыре... Облик землепроходца запечатлелся даже на иконах. Святой Прокопий Устюжский всю жизнь провел в скитаниях по дальним странам: вот он пробирается в глухих лесах, вот стоит на скале, окруженный бушующим океаном. И наконец — «Блаженный Прокопий приехал кораблем, обремененный многим богатством». Может быть, нашим землепроходцам при взгляде на эти иконы мерещилась их будущая судьба? Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Михайло Стадухин, Владимир Атласов, Василий Шилов отправились отсюда, из Великого Устюга, «встречь солнца», на поиски своего счастья.

Даже в наши дни поражают масштабы Севера, каким же он виделся казакам-землепроходцам, которые двигались по нему на маленьких деревянных суденышках, на лошадях, оленях, собаках и просто пешком? Надо быть под стать душой и характером этим просторам, чтобы одолеть их.

«Делали кочи добрые, и лес в них был добрый, и ушивали, и конопатили, и смолили, и во всем делали дельно, чтоб те кочи к морскому ходу были надежны». Уходили в незнаемое, прощались надолго, назад не вернулся почти никто. О посмертной славе не думали, эта слава спустя многие годы сама нашла их.

1645 год. Якутск. Сюда прибыл с ясаком основатель Нижнеколымского острога, служилый Михайло Стадухин. При «распросе» он сообщил начальству важную новость: его колымская «жонка» Калиба сказывала ему об острове против устьев Яны, Индигирки и Колымы, что «гораздо тот остров в виду» и что чукчи зимой переезжают туда на оленях в один день. То же подтверждали и промышленные люди. Стадухин считал, что в Студеном море есть «матерая земля» — «Камень в Мори пояса», на которой «и горы снежные, и пади, и ручьи знатны все...».

Так родилась гипотеза о большой земле, лежащей к северу от Сибири и Чукотки. С тех пор она прочно завладела воображением мореходов. Искать ее пытался и сам Стадухин, и Дежнев, и начальник Нижнеколымского острога Иван Ребров; в отписках упоминается, что составляли они и чертежи, которые, к сожалению, не сохранились. Впереди первооткрывателей как бы все время катится клубок сказаний и небылиц, превращая «нечто среди льдов» в землю

обетованную. Догадки и слухи, миражи и противоречивые рассказы многоязычных местных жителей — юкагиров, чукчей, эскимосов — сливаются воедино. Горы в океане кажутся исплинскими в сравнении с низменным берегом материка и представляются сказочной страной, где можно найти и «мягкую рухлядь» (меха), и «заморскую кость» (бивни мамонтов), и «рыбий зуб» (моржовые клыки).

Желание принести пользу Отечеству, отличиться на государственной службе, а заодно и разбогатеть, да и просто природное любопытство толкают людей вперед — кто первый достигнет, кому больше всех повезет? Эти герои и не помышляли о своем героизме. Малочисленными отрядами, зачастую без самых необходимых средств, на свой страх и риск прорывались они в неведомое, открывая и нанося на чертежи все новые острова в Студеном море, с запада на восток — Новосибирские, Медвежьи... Шагнуть дальше мешает «Камень вокруг всея земли», который трудно обойти, потому что в пути «льды великие притискивают и растирают». И те места есть край и конец Сибирской земли. От реки Колымы до того Камня, который «прошел стеною», «бегают парусами на кочах одним летом; а как льды не пропустят, года по два, по три и больше», потому что «по морю ходят льды великие, и, как ветер бывает, льды краями зашатаются, и пустится по морю шум и вал, что никоими мерами не возможно друг от друга голоса слышать».

Эстафета поисков перешла в XVIII век. К тому времени русскими уже были открыты и нанесены на карты и Чукотка, и Камчатка. Что же касается «матерой земли» в Студеном море, ее протяженность и очертания оставались сомнительными. Она привлекала внимание ученых, моряков, промышленников, государственных деятелей на протяжении всего столетия, оставаясь последним белым пятном на территории России, географической тайной века.

Петр Первый сам занимался этой проблемой. Царь-мореплаватель заглядывал далеко: он не раз говорил о намерении составить точную карту России и освоить путь из Белого моря в Тихий океан. Несомненно, ему была известна замечательная «Чертежная книга Сибири» на двадцати трех листах, составленная около 1700 года тобольским ученым Семеном Ремезовым.

На одном из своих чертежей Ремезов изобразил в «Море Акияне» к востоку от Шелагского мыса пять безымянных островов — это можно считать первой картографической версией земли, расположенной в районе нынешнего острова Врангеля. Возникла она, разумеется, не случайно и была отражением взглядов мореходов, посещавших эти места, и коренных жителей Чукотки, которые знали о существовании земли к северу от их берегов еще до прихода русских. Версия Ремезова переживет своего создателя, в дальнейшем

острова у Шелагского мыса будут возникать на картах не раз, меняясь в количестве и размерах, то исчезая вовсе, то появляясь вновь.

Острова-невидимки приближали проблему «матерой земли» к разрешению, но еще оставалось неясным, что же все-таки там дальше, во льдах, за Шелагским?

«ОСТРОВ, НА НЕМ ЖИВУТ ЧУКЧИ»

Последний мало исследованный отрезок Северного морского пути не давал покоя царю. В своих грамотах сибирскому губернатору и якутскому воеводе Петр наметил широкую программу походов и плаваний, поручив это казачьему гарнизону Якутска. Грандиозность задачи, к сожалению, не соответствовала тем возможностям, которыми располагали тогда сибирские власти, исполнение петровских указов растянулось на многие годы. Но царь не хотел ждать, торопил! И в Якутске начали действовать.

В 1710 году здесь происходили важные события. 20 февраля стольник и воевода Дорофей Траурнихт и подьячий Иван Татаринов собрали в приказной палате бывалых казаков и учинили им подробный допрос о «новых землях».

Казак Михайло Наседкин показал, что он усмотрел землю в море между Колымой и Индигиркой, о коей кочевщик Данило Монастырский сказывал ему, что простирается она в одну сторону до Камчатки, а в другую — до устья Лены. Подобные же сведения дали Никифор Мальгин, Яков Пермяков и другие казаки.

Вскоре сибирский губернатор, князь Василий Иванович Гагарин, шлет приказ якутскому воеводе: «Которые острова в море значат против Ковымского устья и против Камчатской земли, и те острова проведывать с великим прилежным радением, какие на тех островах живут люди, и под чьим владением, и сколь те острова велики, и много ль морем от материка разстояния; а что учинено будет, о том к великому государю в Москве велено с нарочными посылщици писать. И сказывать великого государя указ. которые прикащики и служилые люди о тех островах прямую ведомость учинят, и те великого государя милостью будут пожалованы».

В Якутске всполошились: сам государь требует незамедлительных действий и уж он баснями сыт не будет! Необходимо срочно и решительно действовать: снарядить морские и пешие отряды и, главное, составить толковый чертеж. Кому можно поручить такое задание?

Выбор пал на устьянского прикащика, якутского дворянина Ивана Львова. Должно быть, этот человек выделялся сметливостью и познаниями, раз именно ему поручили государственной важности дело, да и имел уже в прошлом немалые заслуги, заработал чин сына боярского. Наказная

память, данная ему, стоит того, чтобы привести ее полностью,—этот документ хорошо показывает, как искали неведомые земли в те времена.

«Лета 1710, августа в 20 день, по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича... память Устьянского зимовья прикащику сын боярскому Ивану Львову.

...И тебе Ивану из Устьянского устья остров, который значится в море, на чем мочно проведывать накрепко, какие люди на том острове, и какой веры, и под чьим владением, или собою живут, и какой на том острове зверь и иное какое богатство у них есть; и по прямому свидетельству, буде возможно, какими судами самому с служилыми людьми и с иноземцы съездить и сметить, сколь далече тот остров, и взять о том прямую достоверную ведомость и о том всем учинить чертеж и в том великому государю показать верную и усердную свою службу, как обещался ему великому государю служить при своем в Якуцком отпуске, перед святым Христовым евангелием, за то можешь получить от Господа Бога мздовоздаяние, а от великого государя по своей верной услуге многую пред своею братьею милость. А будет кто из служилых людей службу свою явит и тем служилым по его великого государя указу, переменены будут в дворянские чины и учинена будет денежная и товарная многая милость и жалованье. А будет ты со служилыми людьми против вышеописанного великого государя указу, за своими прихотми, или для какой своей безделной корысти, не исправишь, и тебе и служилым людям учинено будет жестокое наказание и пожитки ваши все взяты будут на великого государя бесповоротно. И тое прямую ведомость и чертеж, за своею и служилых людей руками, и иноземцев за их знаменами, привезть в Якуцкой в 710 году».

Получив столь грозное указание, чуть ли не от самого царя, Иван Львов взялся за дело. В следующем году мы находим его в Анадырском остроге, где он с усердием занимается расспросами казаков и промышленников и составляет свою ожидаемую в столице карту. Особенно ценные сведения сообщил ему служилый Петр Попов, только что вернувшийся из многотрудного, опасного похода к мысу Дежнева: «Против того Анадырского Носу с обеих сторон — с Ковымского моря и с Анадырского есть де значитца остров... и называют они Чюкчи тот остров Болшею Землею...»

Так мысль о земле, опоясывающей всю Чукотку, нашла подтверждение и у анадырских служилых.

Из документов нам известно, что «якутский дворянин» был приказчиком в Анадырском остроге до 1714 года. Там он закончил свою карту и отправил ее начальству в Якутск.

При чтении легенды этой карты становится ясным, что Львов отнесся к рассказам казаков вдумчиво и критически —

он дал на карте свое представление о Северо-Восточной Азии, весьма правдивое и новаторское для того времени.

«Землицу Большую» Львов обозначил на месте Америки, к востоку от «Ковымского моря» показал уходящий за пределы карты «Шалацкий Нос», а за ним в «Море Акияне» изобразил большой остров с надписью: «Остров, на нем живут чукчи». Этот остров, обозначенный Львовым на основе опроса служилых и рассказов местных жителей, представляется собой вторую, наиболее верную версию земли к северу от Чукотки—нынешнего острова Врангеля. Что же касается надписи, тут тоже нет ничего удивительного: чукчи и эскимосы знали о существовании острова издавна и считали его населенным, их предания наверняка были известны русским.

Тем временем в Якутске тоже не сидели сложа руки. В 1712 году сразу два отряда направились на север: один от устья Яны, другой—от Колымы. Им предписывалось обозреть море летом или зимой и не возвращаться, пока не решат вопроса об островах или «матерой земле».

Судьба первого отряда сложилась трагически: выехав на нартах из Устьянска, казаки достигли Новосибирских островов, но на обратном пути вожак их Меркурий Вагин и еще несколько человек были убиты при загадочных обстоятельствах. Второй отряд, возглавляемый Василием Стадухиным, тоже постигла неудача,—шитик, на котором отправились казаки, с великим трудом пробился до окруженного непроходимыми льдами Шелагского мыса, откуда его жестокой бурей отнесло назад, причем люди едва спаслись. Недаром Шелагский мыс назывался тогда «Необходимый Нос»—многие годы он был прочным заслоном на пути к восточному краю Сибири.

Спустя два года штурм Студеного моря возобновился: отряды Алексея Маркова и Григория Кузакова искали жилые острова «за переливами». И снова без всякого успеха! Марков даже не смог добраться до Новой Сибири, а Кузакова льды заставили пересечь с корабля на собак. Сама жизнь показала, что посылка горстки людей без надежных средств и снаряжения—малопригодный способ для открытия новых земель на пространстве в тысячи километров, хотя и таким путем удавалось добыть кое-какие сведения. С тех пор на шесть лет походы и плавания в ту сторону были отложены.

А что же наш «якутский дворянин»? Отправив свою карту в Якутск, Иван Львов сам направился в противоположную сторону—к Камчатке, в Олюторский острог, где испытал немало бедствий. В декабре 1714 года он сообщал оттуда о нападении немирных местных жителей...

Затем след Львова теряется до 1726 года и обнаруживается в Якутске, где он готовит карты для первой экспедиции

Беринга. Спустя десять лет он встречается там же с академиком Миллером, о встрече с Львовым пишет и сибирский губернатор Федор Соимонов. По-видимому, все эти годы самоучка-географ неутомимо трудился, ибо передал своим собеседникам новые карты.

Больше мы ничего не знаем о Львове. Его судьба похожа на судьбы многих деятелей той эпохи: сослужив Отечеству свою многотрудную и опасную службу, они незаметно ушли в небытие.

Карте же Львова суждено было стать знаменитой.

Преодолев громадное расстояние через всю страну по цепочке: Анадырский острог — Якутск — Иркутск — Петербург, произведение Львова попало в руки царю. И Петр нашел карту столь замечательной, что распорядился ее широко обнародовать. Она была переслана в Нюрнберг и в 1725 году напечатана там в атласе Гомана. Гомановский вариант не был, однако, точной копией львовского: воспроизводя в основном карту «якутского дворянина», немецкий издатель добавил к ней и некоторые черты ее прототипа из чертежной книги Ремезова. Таким образом, он объединил версии Ремезова и Львова, показав и острова против Шелагского мыса, и отдельно стоящий большой остров, на котором «живут чукчи».

По мнению современных ученых, карта Львова стала одной из важнейших русских карт XVIII века. Она оказала прямое влияние на отечественные и зарубежные издания и нашла отражение в ряде карт сибирских служилых людей и промышленников. Особенно ценным было то, что она давала наиболее верное в то время представление о Чукотском полуострове и Америке. На некоторых картах территории Аляски даже называли «Землей якутского дворянина».

Больше того, по свидетельству географов, карта Львова оказала сильное влияние на Петра при принятии им важного государственного решения—посылке большой экспедиции для определения восточных границ Российской империи—экспедиции во главе с Витусом Берингом.

Удивительные истории случаются порой в картографии! Карта Львова, отразившись на многих других картах, словно бы растворилась в них, а сама... исчезла. Последним, кто видел рукописный оригинал ее, был неутомимый собиратель материалов о Сибири академик Миллер, получивший ее от самого Львова в Якутске. С тех пор карту никто не держал в руках, о ней могли судить лишь по описанию.

И вот сравнительно недавно, в конце сороковых годов нашего века, карта «якутского дворянина» нашлась! Ее обнаружил в фондах Центрального государственного архива древних актов историк Алексей Владимирович Ефимов и тотчас опубликовал. Это второе рождение карты стало настоящей сенсацией в научных кругах, оно вызвало горячую

полемику и заставило более высоко оценить вклад первых русских картографов, и в частности Львова, в исследование Северной Азии. Мы можем теперь воочию убедиться, что именно Иван Львов первым указал к северу от Чукотки остров, близкий по расположению к острову Врангеля, и случилось это более двухсот пятидесяти лет назад.

Профессору Ефимову вообще везло в открытиях: наряду с картой Львова он обнаружил еще один чертеж 1718 года, составленный начальником Большого Камчатского наряда полковником Ельчиным. Эта карта тоже побывала в руках царя Петра, она подтверждает версию Львова: на ней можно видеть Чукотский полуостров, омываемый морем, и севернее — большой безымянный остров. До сих пор исследователи, писавшие об острове Врангеля, ничего не говорили о карте Ельчина, между тем она в общих чертах подтверждает версию Львова.

Казалось бы, загадка «матерой земли» в Ледовитом океане была разрешена окончательно и бесповоротно. Однако открытие Львова опередило взгляды современников. С ним случилось то же, что и с открытием Берингова пролива Семеном Дежневым, — через некоторое время о нем забыли. И остров, обозначенный Львовым, как и сама его карта, на последующих изображениях картографов все уменьшался и уменьшался в размерах, пока вовсе не исчез. Постепенно львовскую версию вытеснила новая: у Шелагского мыса возник Копаяев остров, а севернее его снова наплыл на Чукотку неограниченный материк — пресловутая «матерая земля». Заблуждения на время взяли верх.

КОПАЕВ ОСТРОВ

В результате петровских преобразований Россия стала мировой державой с флотом на пяти морях. В этих условиях особенно нетерпимым казалось незнание границ только что провозглашенной Российской империи.

Петр ждал новых открытий и требовал ясности. И якутский воевода, собравшись с силами, начал новый натиск на Студеное море.

В 1720 году колымский промышленник Иван Вилегин, отправившись на собаках во льды, нашел землю, «токмо не мог знать — остров ли или матерая земля». Нам-то известно, что он побывал на одном из Медвежьих островов, самому же Вилегину казалось, что «протянулась земля оная мимо реки Индигирки, Яны и Колымы до жилищ шелагов, которые суть род чукчей». Об этом будто бы сказывал ему шелагский мужик Копай.

Вскоре упорный промышленник пустился дальше на восток, побывал у Копая, и тот подтвердил, что в море, к северу от его жилья, есть какая-то земля. По мнению Вилегина,

добраться туда водой со стороны Колымы нельзя из-за «множества льда, но против жилищ шелагов, море бывает чище, и потому должно искать земли в сей стороне».

В те же годы боярский сын Федот Амосов взялся ее покорить. Он проделал путь Вилегина в обратном порядке: сначала сходил морем к Копая, но из-за множества льдов не только не мог продолжать путь, но и с трудом возвратился, затем через год — к Медвежьим островам и ничего нового к рассказам своего предшественника не добавил. Разве что указал точное место нахождения стойбища Копая — двести верст к востоку от устья Колымы.

Что же имел в виду Копай, когда говорил о таинственной земле против Шелагского мыса? Наверняка ему, как и другим аборигенам Севера, было известно, что с мыса Якан видна иногда какая-то неведомая земля. Догадки его подтверждали и птицы, которые весной улетали с материка куда-то на север, а осенью возвращались. Или Копай намеренно вводил в заблуждение русских гостей? Так или иначе он снова возродил легенду о «матерой земле».

Перенесемся теперь от «шелагского князя» к русскому царю, на берега Невы, в Северную Пальмиру.

Мысль о северо-восточных землях не оставляла Петра до самой смерти. В январе 1725 года, за три недели до кончины, он собственноручно пишет наказ только что созданной по его замыслу Большой Камчатской экспедиции. Вручив его генерал-адмиралу Апраксину, царь сказал:

— Худое здоровье заставило меня сидеть дома. Я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, — о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию... Ограждая Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусство и науки. Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать берега американские? О том написал инструкцию, распоряжение же сего поручаю, Федор Матвеевич, за болезнью моею, твоему попечению, дабы по сим пунктам исполнено было...

Эту инструкцию Беринг получил уже после смерти Петра и в тот же день выехал из Петербурга.

Примерно тогда же в столицу явился казацкий голова из Якутска Афанасий Шестаков, человек весьма энергичный, но учением не слишком умудренный, и представил свои карты Северо-Восточной Сибири. На них против устья Колымы и Шелагского мыса значится в море остров, который «населен шелагами, подвластными князю именем Копай», а еще дальше к северу — берег, уходящий за кромку карты, будто бы открытый в 1723 году «шелагским князем». Как мы видим, сведения Шестакова довольно смутны и в достоверности значительно уступают карте Львова.

В Петербурге Шестаков, однако, сумел внушить к себе доверие, выехал он оттуда «главным командиром Северо-Восточного края». Ему было поручено начальство над целой экспедицией, параллельной экспедиции Беринга, «для отыскания новых земель и островов». Но Шестакову недолго суждено было жить: вскоре он был убит в стычке с коряками у реки Пенжины.

Снова и снова убеждаемся мы, какой ценой добывали наши предки географические знания, от подлинности которых зависело все благополучие, а порой и сама жизнь составителей карт и тех, кто им верил.

С тех пор интерес к этим берегам надолго упал, основной путь, по которому шло освоение края, переместился на юг — в сторону Охотска и Камчатки. До начала шестидесятих годов к известиям о земле в Чукотском море не было добавлено ничего существенно нового. Все три версии — Ремезова, Львова и Шестакова — соседствовали на картах, повторяясь в разных вариантах.

А на «Генеральной карте Российской империи» в Атласе Академии наук 1745 года в море против Чукотки вообще не показано никакой земли. Вместо нее карту украшают рисунки, надо признаться, очень красивые: тут и плывущие в байдаре туземцы, и трехмачтовый корабль под парусами, и громадные торосы, и киты.

ТИКЕГЕН — КИТЕГЕН — КИГИКЕН

В 1763 году Михаил Васильевич Ломоносов трудился над рукописью в алом сафьяновом переплете, на первой странице которой было начертано: «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Путь на восток через льды прокладывался неутомимыми трудами народа, писал он и пророчески заключал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном».

К книге Ломоносов приложил свою циркулярную карту, на которой в противоположность многим западноевропейским картографам, изображавшим на картах Северо-Полярный континент, показывал открытый океан в районе Северного полюса. Он, безусловно, изучил все, что было известно в то время о Чукотке, и поддержал версию Львова как самую правдоподобную: показал в Ледовитом море на 180° западной долготы большой остров, дав ему имя «Сомнительный». Этот меридиан, как известно, проходит как раз посередине острова Врангеля.

Занятия Ломоносова географическими проблемами совпали с новой волной путешествий и открытий в Восточной Сибири. Как писал впоследствии Фердинанд Врангель, «за-

труднения и опасности, в сих путешествиях испытанные и не вознагражденные желанными успехами, после бездействия, казалось, усугубили дух предприимчивости». Начало этому положил другой продолжатель дел Петра — Федор Иванович Соимонов, бывший тогда сибирским губернатором. Соимонов, как и Ломоносов, отличался государственным умом и широким размахом деятельности, он вел переписку со своим великим современником и считал себя его единомышленником.

В тот год, когда Ломоносов закончил свой труд о Севере России, сибирский губернатор поручил начальнику Анадырского острога Плениснеру заняться разведкой «обширных земель» к северу от Чукотки. Лучшего человека для этого дела трудно было и сыскать: Плениснер обладал большим опытом и знаниями, участвовал в экспедиции Беринга, к тому же был наделен способностями к живописи и составлению карт.

Он немедленно принялся за дело: сам спустился вниз по реке Анадырь, собирая сведения у чукчей, и одновременно отправил к берегам Студеного моря доверенных людей — геодезии сержанта Степана Андреева и чукчу — казака Николая Дауркина. В результате их походов появилась целая серия карт, на которых земля к северу от Чукотки приняла новый облик. Возникла четвертая версия.

Пройдем сначала по следам сержанта Андреева, который дважды — в 1763 и 1764 годах — пускался на собаках во льды. В первый раз он и его спутники добрались до Медвежьих островов, с горы смотрели во все стороны и заметили, что «в восточной стороне, едва чуть видеть, синь синеет, или назвать какая чернь...». Во второй раз Андреев двинулся в этом направлении и на шестые сутки увидел «остров весьма не мал». «Гор и стоячего лесу на нем не видно, низменной, одним концом на восток, а другим — на запад, а в длину так, например, быть может, верст семьдесят». Путники направились в «западное изголовье острова», но, «не доезжая того верст за двадцать, наехали на свежие следы превосходного числа на оленях и на санях неизвестных народов и, будучи малолюдны, возвратились в Колыму».

До сих пор исследователи спорят, существовала ли она на самом деле, Земля Андреева, или была только плодом фантазии геодезии сержанта. Большинство ученых относятся к этому открытию с явным скептицизмом или даже вовсе игнорируют его, некоторые допускают, что Земля Андреева из числа тех таинственных островов Арктики, которые состояли из ископаемого льда и исчезли будучи размыты морем. Возможно, земля эта была просто миражем, таким обыкновенным в высоких широтах и сбившим с толку не одного полярного путешественника. Не исключено и то, что

Андреев увидел приподнятый рефракцией западный берег острова Врангеля... Это явление тоже обычное в Арктике. Усмотрел же Геденштром в 1811 году остров Столбовой с устья Яны, то есть с расстояния 260 верст! Да и Фердинанд Петрович Врангель в один из весенних ясных дней видел горы на острове Новая Сибирь, находясь в устье Индигирки, на расстоянии 312 верст!

Через пять лет открытие Андреева проверяла специальная секретная экспедиция геодезистов Леонтьева, Лысова и Пушкарева. Направившись к северо-востоку от Медвежьих островов, они надеялись добраться до «большой Американской земли», но, углубившись на 170 верст во льды, ничего не нашли. С тех пор свидетельства сержанта Андреева приняли вид басни, открытие его было «закрыто», его даже отнесли к разряду «вредных», помешавших дальнейшим экспедициям, что отсрочило действительное открытие острова Врангеля.

Думается, что это несправедливо. Андреев не может нести ответственность за действия последователей и потомков, а может отвечать только за собственные поступки, в которых, даже если и заблуждался, был честен. Что-то он видел во льдах и это увиденное счел за большой остров или новый материк. Подозревать его в злом умысле или недобросовестности мы не имеем права. Пора бы уже восстановить его доброе имя.

По возвращении Андреева из похода Плениснер составил карту, на которую нанес очертания вновь открытой земли, обозначив ее не только «величайшей», но и населенной. По собранным сведениям, там есть люди, называющие эту землю Тикеген, а самих себя—хрочаи...

Вот уж такие известия можно было принять за сущий вымысел, если бы их неожиданно не поддержал посланный на другую сторону Чукотки второй разведчик неведомых земель, Николай Дауркин.

Дауркин—фигура чрезвычайно любопытная. Чукча по происхождению, он еще мальчиком был взят в плен казаками, крещен и вырос среди них. Природная одаренность сочеталась в нем с неудержимой тягой к знаниям. Превратности судьбы занесли юношу в большие города—Якутск и Тобольск, где он быстро научился говорить по-русски, легко овладел грамотой. Дауркина заметил сибирский губернатор Соймонов и решил использовать для налаживания добрососедских отношений с чукчами—освободил от холопства и отправил служить в Анадырский острог.

Итак, обследуя побережье Чукотки, Дауркин всюду собирал сведения о «матерой земле». Вернувшись после двух лет скитаний в острог, ученый-чукча составил карту, которую Плениснер приобщил к своему отчету, представленному в Академию наук и Екатерине II. На ней к востоку от Колымы,

против реки Чаун, то есть примерно на месте Копаева острова, находится остров Нымным, а севернее его—громадный материк, соединенный с Америкой,—земля Тикеген. Надписи в этом месте гласят: «Живут олленные люди хрочаи» и еще—«Оленей переход через Нымным в чукотскую землицу». Вместе с картой Дауркин представил и подробный отчет, в котором трудно отделить правдивые сведения от легенд. О земле Тикеген Дауркин сообщил, что она при сильных ветрах перемещается на версту дальше в море, при тихой же погоде возвращается обратно. «Есть же особая земля, на коей живут весь женский пол, а плод имеют от морской волны и рождаются все девки...»

Появившись впервые из-под пера Плениснера и Дауркина, земля Тикеген долго не исчезала с карт. Через некоторое время неугомонный Плениснер представил в Академию наук еще одну карту Дауркина, на которой названия Тикеген почему-то переделано в Китеген. Существовала еще одна рукописная карта (о ней упоминает известный историк академик Берг), на ней к северу от Чукотки начиналась «Землица Кигикен, обитаемая народами, называемыми хрхачи».

И Тикеген, и Китеген, и Кигикен—это, разумеется, все та же «матерая земля»...

Откуда же взялись на картах и что означают эти странные названия?

С «Нымнымом» все более или менее ясно, это чукотское слово переводится как «селение», «поселок». Остров Нымным—просто «населенное место». Название неизвестного народа—«хрочаи» («хрочаи», «хрхачи») —логично считать производным от имени вождя онкилонов Крехая, который в давние времена бежал от преследований на землю, видную с мыса Якан, то есть на нынешний остров Врангеля. Остальные слова до сих пор не расшифрованы.

Можно предложить такое объяснение.

В чукотском языке есть слово китигын, одно из значений которого—«холодный ветер». Самый холодный ветер на побережье Чукотки—северяк, дующий со стороны Ледовитого океана. Возможно, под словом Китигын чукчи имели в виду край, откуда дует холодный северный ветер. Для русского уха слово приняло форму Китиген или Тикеген, Кигикен.

Спустя четверть века мы опять встречаем Николая Дауркина—постаревший, но неутомимый путешественник среди участников известной экспедиции Биллингса—Сарычева (1785—1794). И по-прежнему горячо настаивает на существовании земли Китеген, опоясывающей с моря Чукотский полуостров. Его горячо поддерживает другой участник экспедиции—сотник Иван Кобелев, в Петербурге издана его карта, где обозначена эта грандиозная земля. Анонимный

комментатор карты, впрочем, предупреждает: «Издавая карту сию... не утверждаем мы, чтобы она во всем была верна и истинна... Невероятно кажется, чтобы земля, за Америку почитаемая, протянулась на запад даже до реки Ковыма». Комментатор прав, теперь мы знаем: в сообщениях Кобелева и Дауркина причудливо смешались сведения об Аляске и об острове Ивана Львова—будущем острове Врангеля.

Суда экспедиции «Паллас» и «Ясашна», выйдя из устья Колымы на восток, были скоро остановлены льдами. Но Сарычев успел сделать очень важные наблюдения: «Противные ветры продержали нас тут четверо суток. Между тем лед несло беспрестанно к востоку в таком же количестве, как и прежде... Это дает повод заключить, что сие море не из обширных, что к северу должно быть не в дальнем расстоянии матерой земле, и поэтому здесь не исполняется общий закон природы, коему подвержены все большие моря...»

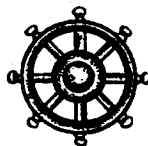
Эта упорная версия переключалась даже в XIX век! Остров-скиталец, остров-хамелеон будто играет в прятки с людьми.

Весной 1810 года на пяти нартах отправилась на поиски еще одна экспедиция—Матвея Геденштрома. «Видели мы стадо гусей, летевших на северо-северо-запад, и белого филина,—записал путешественник.—На севере поднимались облака. Глубина морская, измеряемая мною в щелях, постепенно уменьшалась. Все сие доказывало близость земли. Но скоро нашли мы непреодолимые препятствия к продолжению пути нашего».

Геденштрому пришлось отступить. На карте, составленной по результатам экспедиции, все еще значатся и «Тикиген», и «храхаи»... Это географическое заблуждение, отнявшее столько сил и жизней,—одно из самых устойчивых в истории!

Но уже учится в Морском корпусе и штудировать старинные карты человек, которому суждено вскоре окончательно развеять его и сделать новый бросок в исследовании Северо-Востока—самой отдаленной и неприступной части России.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕНЬ

1977 год был необычным для Восточной Арктики. Зима, такая суровая, какой не помнят даже старожилы, с резким минусовым спадом, частыми пургами и повышенной ледовитостью морей. Дружная, слишком «горячая» весна, когда намного больше, чем всегда, льдов вынесло через Берингов пролив в просторы Тихого океана, а вместе с ними далеко на юг попали и белые медведи, добравшись аж до Камчатки. Потом эти звери возвращались в родные места по суше и, забредая в поселки, учиняли там немалый переполох. Ну а лето—его даже трудно назвать арктическим: работавшие на острове Врангеля зоологи купались, загорали и ведрами собирали грибы. Осень же, перейдя рубеж зимы, отхватила у нее добрый месяц.

Мы прилетели на остров в августе: Станислав Беликов, зоолог, и я—исполнявший обязанности экспедиционного рабочего. Наша экспедиция «Умка» была звеном в цепи многолетних исследований белого медведя на острове, в этот сезон мы надеялись поймать «момент» залегания медведиц в берлоги. Еще одной задачей был сбор материала для проекта, который помог бы широко развернуть научную

работу в первом в стране арктическом островном заповеднике.

МАРШРУТ ПЕРВЫЙ—ВЕРТОЛЕТНЫЙ

Лопаста вертолета вздрогнули, закрутились, внезапный вихрь сорвал с чьей-то головы фуражку, поднял ее высоко, аккуратно опустил на полупрозрачный пропеллерный круг и тут же швырнул обратно в толпу бесформенной тряпкой. Под этот своеобразный салют мы стартовали.

Вертолет взял курс на маленький необитаемый островок Геральд, одиноко стоящий во льдах Чукотского моря в сорока милях к востоку от Врангеля. Мало кто побывал на этом неудобном, скалистом клочке земли, может быть, какая-нибудь сотня людей из всего населения планеты. Черным драконом всплывает Геральд из воды—есть и голова, и спина, и полузатопленный хвост. Гранитный берег почти везде отвесный, много гротов, пещер. Вот снялась со скалы стая птиц, вот песец, воровато озираясь, перескочил через ручей. Не видно медведей, но и они живут на острове, как-то весной биологи насчитали на береговых террасах больше двадцати вскрытых берлог.

В 1849 году здесь высадились люди—моряки английско-го судна «Геральд», искавшего пропавшую экспедицию Джона Франклина. Ничто не изменилось на маленьком острове с тех пор, разве что несколько скал с гулким громом сорвались в пропасть. Членам экипажа «Геральда» посчастливилось увидеть и остров Врангеля. Сохранилось воспоминание очевидца.

«17 августа в 9 часов 40 минут вечера мы услышали с марса крик: «Земля!» Идя вдоль льдов, заметили группу островов и еще одну большую землю, про которую капитан Келлет сказал, что он уже давно видел ее, но боялся, что это мираж. Воздух был светел и чист—такой, какой встречается только в здешнем климате, но в стороне земли клубилась масса туч, в разрывах между которыми виднелись вершины с ясно выступающими колоннами, пилястрами и закругленными формами. В то время, как мы лавировали, был момент, когда вершины эти выступили так ясно, что те, кто сомневался, тоже воскликнули: «Да, сэр, это действительно земля!»...»

Дальше моряков не пустили льды. Группу островов Келлет назвал островами Пlover, а большую землю, в существовании которой он все же сомневался, предположительно нанес на карту под названием «Земля Келлета». Все это были различные части острова Врангеля, приподнятые и искаженные рефракцией. Ложные названия просуществовали недолго, спустя шесть лет американец Роджерс, капитан гидрографической шхуны «Винсент», «отменил» открытие Келлета, он тоже побывал здесь и, наверно, из-за тумана

ничего не увидел. «Никаких островов Пlover и Земли Келлета не существует!»—заявил Роджерс...

Сделав несколько кругов, садимся на спину «дракона». «Через час уходим»,—предупреждают пилоты. Понимаем, погода здесь всегда неустойчива, не спорим, скатываемся по острым камням в долину и устремляемся к морю. Там птицы, и пока ни один орнитолог не дал их описания. И еще—успеть взять пробы воды для микробиологического анализа.

В круглой чаше залива, между двумя мысами, планируют и кричат чайки, носятся чистики и еще какие-то птицы, похожие на попугаев, с толстыми красными клювами.

Завязывается спор.

— Тупики!

— Не тупики, а топорки, тупики в Восточной Арктике не водятся.

— А топорков вообще нет в природе. Есть топорики, но у них брюшко черное, а не белое.

— У молодых белое!

— Что вы, братцы, это ипатки,—заявляет Стас.

Да, без определителя не разобраться. (Разобрались, когда вернулись,—действительно оказались ипатки. До сих пор в этом районе они не значились.)

Разгоряченные, вваливаемся в вертолет, и он сразу взмывает вверх. В голове молоточками: «Тупики, топорики, ипатки, тупики, ипатки, топорки...»

Два неба, одно над головой, другое под нами—так пронзительна морская синь и так ослепительно белы льдины. Но впереди черным парусом мыса Узринг уже надвигается остров Врангеля.

В вертолете оживление: мишка! Все прилипают к иллюминаторам. Медведь, заслышав шум, задирает голову вверх, потом прыжками пересекает берег и на всякий случай бросается в воду. Мы огибаем восточную и северную оконечности острова, вдоль которых тянутся, переходя одна в другую, узкие и длинные косы—Бруч, Андрианова, Чичерина, Муштакова. Мелькнул охотничий домик. Здесь когда-то я познакомился с Эплерекаем, здесь он подарил мне бутылку с письмом на трех языках. Блаженной памяти романтические времена!

Теперь, я знаю, дом Эплерекаея пустует. Несколько лет назад байдара, в которой он охотился вместе с женой Машей, перевернулась, и потом их тела нашли на берегу...

Слева от вертолета встала плотная завеса тумана и закрыла северо-западный угол острова—горы Дрем-Хед, в которых нам со Стасом предстоит вести наблюдения за медведями. Досадно, мы хотели провести первую разведку сверху!

Повернув на юг, держим курс к дому охотника Чайвына. Хотя остров и стал заповедником, чукчам и эскимосам пока

разрешена охота на морского зверя и добыча песца. Чайвын стоит на крыльце, маленький, крепкий, уже совсем седой, щурится от солнца и машет рукой.

Натуру охотника можно сразу определить по его упряжке. Однажды я добирался к Чайвыну с другим островным жителем—это было мучение: псы тянули недружно, грызлись, сбивались в кучу, не слушались каюра, а тот то и дело безжалостно бил их ногами и остолом. Мои уговоры лишь прибавляли злости, хозяин все больше свирепел на псов, а псы—друг на друга.

На обратном пути я ехал с Чайвыном и поражался: упряжка бежала как бы сама собой, без каюра. «Они все понимают»,—объяснил Чайвын, в тоне его было доверие и ласка, так говорят только об очень близких людях. А через час, словно все это время думал об одном, он произнес: «Собачки! Если бы люди собачками были, далеко бы ушли...»

Дом Чайвына чистый, просторный. Большая семья—и сыновья, и дочери. Приятно смотреть, как отец с ними обращается: никаких криков, понуканий, отчитываний, но они-то знают, что он все видит, и потому стараются изо всех сил.

Мы были у Чайвына недолго, забрали его младших в школу, договорились, что доставить из продовольствия. Когда сели в вертолет, пилоты сообщили: «Возвращаемся, горячее на исходе». Итак, мы не осмотрели только юго-западную часть острова—мыс Блоссом, лежбище моржей. Может, оно и к лучшему, нечего там шуметь.

Остров ярко освещен солнцем. Словно стада мамонтов, одна за другой ползут горные цепи, непроницаемы ущелья, на равнинах замирают, подняв голову, осторожные олени. Сверкнула вечным снегом вершина горы Советской—самая высокая точка острова. За ней горы оборвались, открылось море с широкой береговой полыней, подкова бухты Роджерса, тесно сгрудившиеся домики поселка.

МАРШРУТ ВТОРОЙ—ВЕЛЬБОТНЫЙ

Долгий, на полдня, закат. Ровно тарахтит «Вихрь». Море чистое, только на горизонте, к югу,—полоса льдов. Идем вшестером на вельботе вдоль южного берега острова на мыс Блоссом. Если льды пустят, попробуем дойти до Дрем-Хеда. «Двадцать верст одолеете и вернетесь»,—мрачно пообещал нам перед дорогой один многоопытный старожил.

На корме, за рулем, важно восседает облаченный в кухлянку наш капитан Вадим Винниченко, этакий начиненный здоровьем шар, с пышной светлой бородой и красными от ветра щеками. Винни-Пух—так мы его называем. У него неунывающий нрав, страх к приключениям и авантюрам,

яхтсмен, стрелок из лука, объезжал коней, учился в летном училище—словом, отчаянный парень. На острове недавно, до этого работал в одном из южных заповедников, теперь вот решил узнать и Север. Есть у него одна слабость—тяга к чудесным историям. «Вадим,—предупредили мы его,—еще один рассказ, и мы перестанем тебе верить».

Рядом с ним у мотора пристроился Володя Шубин, он из Кандалакшского заповедника, приехал сюда к друзьям в отпуск и сразу включился в работу, словно век здесь прожил. На средней скамейке—Стас Беликов и его коллега по лаборатории охраны природы Валентин Чистяков, а ближе к носу—мы с Женей Кузнецовым, микробиологом из МГУ. Валентин вооружился фоторужьем и целиком поглощен съемкой, Женя то и дело опускает руку за борт—набирает в склянки пробы воды. Случайно, в первый и, возможно, единственный раз свела нас судьба, но нам легко и интересно вместе и есть чему поучиться друг у друга.

По самому краю берега бежит песец, неперелинявший, весь в серых и белых клочьях, пробежит сотню метров и чутко замрет, пристально глядя на нас и словно ожидая подачи. Но вот он будто споткнулся и застыл на месте. Что такое, надоело? А-аа... вот в чем дело: впереди, на пригорке,—сова, здесь ее владения, и «пятнистому» лучше убраться подобру-поздорову. Сова ждет, когда мы с ней поравняемся, потом, тяжело взмахнув крыльями, пролетает немного дальше и снова ждет, теперь сопровождающий—она. Это только для непосвященного тундра—общая территория, нет, вся она четко разделена на охотничьи и гнездовые участки между животными.

В береговой полосе, на воде и в воздухе, множество морских птиц. Кулики-плавунчики вертятся на месте, часто кивая головками, чайки, серебристые и мовевки, будто и вовсе не замечают нас, носятся широкими кругами, занятые только добычей, самым же большим чайкам—бургомистрам с их разбойничьим нравом до всего есть дело, они и к нам примериваются своими круглыми немигающими глазами, пролетают низко и тут же с равнодушием отмахивают прочь. Встречаются утиные выводки: большие стаи изящных черных морянок с белыми передничками и более крупные темно-рыжие гаги, знаменитые своим пухом,—эти близко не подпускают, уже заранее начинают волноваться, бросаются враспынную, ныряя одна за другой.

Веками отношение людей к диким животным определялось одним словом—охота. Но в наши дни природа дала сигнал бедствия, и человек услышал этот сигнал, принял его. Прочно входит в сознание понятие «охрана».

С высоты доносится знакомый гогот, и, взглядевшись пристальнее в прозрачное выцветшее небо, различаешь в нем стремительный пунктир: над берегом, параллельно нам,

тянутся стаи белых гусей. Они покидают остров и сейчас двинутся туда же, куда и мы, к мысу Блоссом, там их последний отдых перед отлетом.

Остров Врангеля — родина белых гусей, одно из немногих мест на Земле и единственное в нашей стране, где выводит потомство эта красивая редкая птица. А когда-то белый гусь гнезвился на побережье океана от устья Лены до мыса Дежнева. Хищническое истребление привело к тому, что он сохранился только на острове Врангеля. Но и здесь его было куда больше.

Сейчас во время перелета никто на острове не потревожит птиц. Около гнездовья каждое лето живет группа орнитологов, которые и изучают, и охраняют его. Десять лет назад эпидемия гусяной охоты охватывала всех островитян от мала до велика, забрасывались дела, окрестности поселка оглашались непрерывной канонадой, палили, бывало, прямо с крыльца. Собирали и яйца.

Гусь на гнезде беззащитен — бери его хоть руками. Почти так же беззащитен он и во время линьки.

Однажды я оказался свидетелем такой «охоты». Было это в одну из первых моих зимовок на острове, об охране природы тогда, признаться, мало кто думал.

Вездеход, а в нем несколько человек (двое с ружьями), шел как раз на Блоссом. Было тепло, брезентовый верх вездехода мы сбросили. И вот впереди показалось гусяное «озеро». Водитель сразу дал газ, довольно быстро мы догнали стаю и с ходу врезались в нее. Гусиный и человеческий крик, треск выстрелов, рев мотора — все смешалось в какую-то немислимую какофонию. Остановить «охотников» было невозможно, они вошли в азарт и осатанели: палили направо и налево и направо, почти в упор, летели перья, за машиной, которую трясло и мотало из стороны в сторону, тянулся кровавый след, разбежались и расползались подранки. Хотелось одного: зажать уши, закрыть глаза, не видеть, не слышать!

Дальше произошло вот что. Один из стрелков, в запале, грохнул у самого уха другого, тот был оглушен, да так, что выронил ружье. Очухавшись, он с кулаками набросился на стрелявшего. Началась потасовка и свалка. Вездеход встал, уцелевшие гуси разбежались, настроение у всех было хуже некуда. Не помню, сколько птиц мы насобирали, а вот тошноту и стыд чувствую даже сейчас.

Тогда же я понял, что жестокость к другому живому существу неизбежно заражает и отравляет самого человека. Терзая птиц, люди терзали и самих себя, устроив бойню — убивали в себе великое чувство жалости, сострадания — начало всякой доброты. Отношения между человеком и животными только внешне определяются «охотой» и «охраной», на самом деле они глубже, включают в себя психологи-

ческие, нравственные начала и должны быть союзом сил жизни на Земле против распада и смерти.

За последнее время многое сделано для защиты и охраны белого гуся. У нас охота полностью запрещена, охраняется он и на зимовке, в Калифорнии. И все же численность его продолжает падать. Главным врагом гусей на острове стал ныне песец. Когда гнездовье было большим и плотным, этот разбойник боялся проникать в него и кормился на окраинах, теперь же поредевшее гнездовье стало более уязвимым, и песцы устраивают свои кровавые пиршества где им вздумается. Другим врагом гусей стали олени. Завезенные сюда впервые в сороковых годах, они быстро размножились и сейчас наносят вред не только уникальной растительности острова, но добрались и до птиц. В поисках корма они вытаптывают гусяние гнездовья, а бывает, поедает и яйца. Вот она, механика природы! Человек внес дисгармонию, ослабил вид, и теперь его добивают другие животные, даже те, которые раньше не были его врагами.

Основная задача нового заповедника как раз и состоит в том, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Все это куда как непросто. Возникла необходимость регулировать численность оленей, и завязалась борьба между работниками заповедника и хозяйственниками. Покушаться на оленя, самого крупного в мире, самого дешевого? Да вот, получается, не самый дешевый, а самый дорогой, если иметь в виду не убойный вес, а тот урон, который наносит он природе острова...

Обо всем этом рассуждали мы и спорили, глядя из вельбота на тающие в осеннем небе живые клинья. И в воображении вставала такая картина. Уменьшенный до размеров глобуса земной шар. Из крохотной точки в Ледовитом океане снимается гусяная стая. Вот она пересекла пролив Лонга, достигла материка. Но там ее ждет еще одна опасность — браконьеры, а затем и... законные охотники, вооруженные скорострельными ружьями и автоматами: на американском побережье добыча белого гуся при перелете и на зимовках хоть и регламентирована, но не запрещена полностью. А ведь птицы и звери не знают государственных границ.

На следующий день уже в сумерках мы подошли к Блоссому. Высадились у домика выносной полярной станции. Истопили печку, стало тепло и уютно. «Удручающий комфорт!» — сострил Валентин, сменивший фоторужье на поварешку.

Утром обнаружилось, что с западной стороны мыс плотно закрыт льдом. О походе на Дрем-Хед нечего было и мечтать, по воде, как и по воздуху, путь к нему был отрезан. Но мы не очень горевали, в двух километрах от нас — коса, на которой

залегают моржи. Была надежда, что мы застанем их выход на берег.

Все новые стаи гусей снимались с полосы тундры между горами и морем и брали курс на юг. А вот моржи, наоборот — только подошли к острову. Мы встретили их еще по дороге, в бухте Сомнительной: несколько стад плавали в воде и грелись на льдинах. Одна такая льдина оказалась совсем близко, и моржи во главе с великаном вожаком, поплюхавшись в воду, устремились к нам. Пришлось прибавить ход...

Осматриваем пустующее лежбище. Оно завалено полу-сгнившими моржовыми тушами. Трупы зверей остаются после каждой залежки: моржи лежат плотно, иногда в два слоя, устраивают побоища и, бывает, давят больных, слабых и малышей. Но гораздо больше жертв остается, если моржей потревожат. В прошлом не раз случалось, что ледовый разведчик любопытства ради проходил на бреющем, и тогда моржи в панике устремлялись к воде, давя и калеча друг друга...

Случай бессмысленной жестокости, уже просто преступный, произошел в 1953 году. Запись в архиве выносной станции: «Лежбище распугано и уничтожено неразрешенными взрывами, устроенными комплексной экспедицией. На косе осталось больше тысячи раздавленных и убитых моржей». Несколько лет после этого звери не выходили на берег.

До последнего времени поголовье моржа неуклонно сокращалось. Только сейчас, в результате принятых мер (в СССР государственный промысел моржа запрещен с 1956 года, запрет введен также в США, Канаде и Норвегии), удалось стабилизировать численность зверя. Есть даже сведения, что она начала возрастать.

Никто сейчас без специального разрешения не может посетить лежбище, охраняются также прибрежные воды, летчики не имеют права опускаться в этом месте ниже трех тысяч метров. За судьбу лежбища, пожалуй, можно быть спокойным.

В один из последующих дней мы вновь отправились на косу. И встретили там... хозяев. Большой морж с желтыми неровными клыками грелся на песке, учуяв нас, он поднял голову и недовольно рявкнул. Другой безмятежно спал на отмели, выставив из воды бурую морщинистую спину.

МАРШРУТ ТРЕТИЙ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ — ПЕШИЕ

Вдали стих шум вездехода, и мы со Стасом остались одни. Было солнечно, тепло, со всех сторон нас обступила тишина. Неужели это Дрем-Хед — без многометровых сугробов, пронизывающего ветра, свирепого мороза? Взобравшись на перевал, остановились.

— Помнишь? — спросил Стас. — Здесь была берлога Удивленной...

Еще бы не помнить! В марте 1972 года мы тоже приезжали сюда вдвоем. Дрем-Хед, небольшой горный массив в северо-западном углу острова, показался мне тогда седой неприступной крепостью: он сверху донизу был перепоясан, как дорогами, снежными террасами, и камни на вершинах стояли угрюмо и недвижно, как часовые. А над вершинами кольцами клубились облака, будто кто-то попыхивает там трубой.

Прирожденный бродяга, белый медведь круглый год кочует в Ледовитом океане, но детей рождает на твердой земле. Остров Врангеля — крупнейший медвежий «родильный дом», уже много веков каждую осень десятки медведиц приходят сюда из просторов океана, чтобы залечь в берлоги и вывести потомство. Сюда зовет их природный инстинкт. В марте звери начинают вскрывать берлоги и выходят с малышами «в свет» — к этому времени мы и поспешили на остров. Предусматривалось мечение медведиц (для чего надо было на время обездвигнуть их с помощью ружья, стреляющего шприцами со специальным раствором), изучение экологии, поведения и численности зверей, положения и устройства берлог.

Однажды мы поднялись к перевалу и, как обычно, наверху решили передохнуть. Стоял жгучий мороз, и воздух был полон сверкающих нитей, будто кто-то с неба осыпал землю праздничной мишурой.

Прямо под ногами убежал вниз длинный пологий распад, в конце его, за узкой полосой тундры, начиналось море, скованное льдом. И на склоне ни единого следа, ни одной морщинки, только пышная и блестящая снежная пелена.

— Вот здесь, — показал Стас на склон, — полгода назад я видел, как медведица устраивала себе берлогу...

Стас застал ее за работой: медведица нырнула в яму, из-под задних ног ее полетели комья снега, она так увлеклась своим делом, что даже не заметила человека. Скоро все тело ее исчезло в снегу.

Нетрудно представить себе, что было дальше. Настала полярная ночь. Медведица лежала под снегом в своей берлоге, а ветер постепенно намел над ней прочную снежную крышу; погребенная, но живая, она заснула долгим сном, а потом очнулась, чтобы родить во тьме своих медвежат...

— Где-то она здесь, — снова показал рукой Стас на гладкий, отполированный ветром склон, — под снегом...

Невероятно, но так случилось: мы уже собирались идти дальше, когда вдруг услышали глухой удар — метрах в пятнадцати от нас снег взметнулся. Мы залегли за камнями. На ослепительно белом снегу появилась черная точка медвежьего носа. Он, будто перископ, медленно поворачивался во все стороны. Скоро к этой точке прибавились еще две — глаза. Такое же неспешное внимательное кружение.

Рывок—голова взлетела над снегом, образуя прямую с длинной мощной шеей. Снова разведка носом. Еще рывок—на снегу широкая грудь и две лапы. И потом уже плавно вздыбилась спина, выросли задние ноги—она встала перед нами.

Неторопливо оглядывает окрестности, словно проверяя, все ли в мире в порядке: по-прежнему ли светит солнце, на месте ли горы и море. И это царственное величие, это спокойное сознание силы поражает больше всего.

Несколько раз она встряхивается всем телом, отчего лимонный мех ее окутывается облачком снежной пыли, и начинает прогулку вокруг берлоги. Мы переглядываемся—медведица уже в нескольких шагах и явно направляется к нам. Вскликаем и бежим—летим! И последнее, что видим, оглянувшись: застывшая фигура медведицы, взгляд—в упор и пасть, уже без всякого величия, совсем по-человечески приоткрывая от удивления.

Потому мы и назвали ее Удивленная. Много еще было медведиц, и всем мы давали имена: Лежебока, Хулиганка, Кормилица, Мадонна и даже Мария Ивановна... но эта оставалась любимой. Может, из-за того, что встреча с Удивленной—редчайший случай, когда человеку удалось, вероятно впервые, увидеть и залегание медведицы в берлогу, и первый выход из нее, может, потому, что знакомство с ней было особенно долгим и впереди нас ждали новые встречи. А впрочем, всегда ли мы знаем, за что кого-то любим?

За прошедшие с тех пор годы наш балок изрядно постарел и износился, но еще вполне годился для жилья. Мы подремонтировали его, хорошенько убрали и протопили, поужинали и забрались в спальни.

Несколько дней мы без усталости лазили по горам и не встретили ни одного зверя. По пути собирали медвежьи черепа, их здесь накопилось довольно много, и стародавних, замшелых, и более свежих. Нашли с десятков временных лежек медведей—углублений в щель со следами шерсти, в них звери отдыхали и отсыпались. Видно, медведи не вышли на берег и были еще во льдах, кромка которых еле виднелась в море.

Оставалось осмотреть Малый Дрем-Хед—группу гор, расположенную километрах в трех к западу от Большого Дрем-Хеда, ближе к морю. Обследуя террасы, мы на какое-то время потеряли друг друга из виду. Близился вечер. Решив, что Стас спустился к морю, я направился туда. Вприпрыжку сбегаю вниз, щебень летит из-под ног, и вдруг вижу перед собой голову медведя—он тянет шею из-за большого камня, в этом тревожном гибком движении что-то змеиное. Ну и ну! Возьми я немного правее, съехал бы прямо

ему на спину. Согнувшись, карабкаюсь назад—вверх, вверх, лишь бы не двинулся за мной—мигом догонит. Нет, вроде не преследует. Забравшись наверх, вижу Стаса.

— Наверно, ты его здорово напугал,—невозмутимо комментирует он мой рассказ.

Чтобы получше рассмотреть зверя, мы поднялись на вершину горы и вместо одного медведя видим... двух: тот, на которого я наткнулся, лежит как ни в чем не бывало, свернувшись клубком, мордой и лапами к склону, похоже, что спит, а у самого подножия еще один соня—этот устроился на боку, вольготно раскинув лапы.

Навожу бинокль на Большой Дрем-Хед и обнаруживаю на темном его склоне еще одно неподвижное белое пятно. Мишка, не иначе! Бинокль чуть в сторону—и в окуляре четвертый зверь вышагивает по распадку. Вот тебе и на, выходит, не так уж пусты горы!

Перекусив, мы спустились вниз и прошли мимо спящих медведей на почтительном расстоянии. За это время они ни разу не подняли головы. Такое впечатление, что звери приготовились залечь в берлоги, но слишком поторопились: снега нет, ветер отогнал от берега лед, а вместе с ним и возможность охоты, вот они и дремлют в ожидании.

Вернувшись в избушку, мы растянулись на нарах, гудели ноги.

— Стас, а медведицы рожают раз в три года?

— Значит, Удивленная и в этом году может прийти сюда?

— Ну, вряд ли. Арктика велика. Хотя, кто ее знает...

Уже в полусне снова вспоминаю Удивленную.

Багровое солнце висело над ее берлогой. Я был на противоположной стороне узкого распадка, выделяясь, как клякса на чистой бумаге. И тут появилась Удивленная.

Выйдя из берлоги и деловито осмотревшись, она сразу направляется к площадке, где мы лежали накануне. Убедившись, что там никого нет, возвращается к берлоге. И вдруг валится на бок, и так, боком-боком ползет, переворачивается через спину и вновь ползет, уже на другом боку; потом вытягивает вперед шею, подгибает передние лапы и, отталкиваясь задними, скользит на животе—и все это очень плавно, как при замедленном кинопоказе. Она четко выделяется на линии горизонта и кажется мне такой же большой, как горы или солнце, которое она то загорживает собой—и становится черной тенью, плывущей в алом водовороте поземки, то открывает вновь—и тогда прямой сноп лучей бьет из-за ее спины. И в который раз я поражаюсь царственной грации ее движений.

Нет, это не простая разминка на снегу, это скорее танец, ритуал, в котором слились и торжество материнства, и радость освобождения из снежного плена, возвращения к

тому миру дикой свободы, частью которого она была.

Склон у берлоги довольно крут, и потому медведица сползала все ниже и ниже, а потом села и лихо съехала к самому подножию террасы. Я очнулся и двинулся вверх, Удивленная в нерешительности посмотрела на меня и тоже устремилась вверх—к берлоге. Но стоило мне остановиться, замерла и она. Несколько секунд мы, глядя друг на друга, ждали, что же будет. И вот она снова повалилась на снег и как ни в чем не бывало продолжила свой танец. Казалось, она вступила со мной в молчаливый сговор: «Это опять ты? Что за чудак? Смотришь, тебе нравится? Ну и смотри, если хочешь!»

Утром слабый западный ветер начал подгонять к берегу лед. Мы заметили на Малом Дрем-Хеде лежащую медведицу. Вчерашняя ли это наша знакомая или новый зверь? Надо было проверить.

Миновав лежащую медведицу, мы огибали горы с севера: Стас у самого подножия, я—поодаль, по тундре. Опустился туман. Неожиданно впереди проступила фигура еще одного зверя. Надо уступить дорогу: взбираемся выше, на всякий случай приготовили ракетницу, стоим в нерешительности, со всех сторон—белесая мгла.

— Что-то они на тебя сыпятся,—усмехается Стас.

В тумане возникает размытое желтоватое пятно и спокойно проплывает мимо. Дорога свободна, можно идти дальше.

Вчерашних медведиц на месте не оказалось. Значит, решили мы, сегодня, скорее всего, нам встретились именно они. Переменился ветер, и звери сразу перешли на подветренную сторону—именно на подветренных склонах образуются снежные наносы, удобные для устройства берлог. Зверь чуток ко всем изменениям погоды и великолепно умеет приспособиться к ним.

Мерно рокотало море, этот шум пронзали только истошные крики чаек. Целая колония их собралась на небольшом пятачке, у двух озерца, оставшихся после отлива. Подходим ближе и видим, что озерца кипят... от рыбы. Это сайка. Ловим ее руками, выбирая покрупнее,—отличная будет уха!

А туман все сгущается. Обратном мы идем по компасу. Болотистая тундра—дорога не из лучших, сырая одежда становится все тяжелее, механически переставляем ноги. В голове стучит: иди, иди, иди...

Усилился ветер, полетели твердые крупинки снега, и в долину Гномов, где стоит наше жилище, мы спускаемся в белой круговерти. Балок содрогается и скрипит, тепло из него улетучивается мгновенно. Тут же, в балке, раскалываем на топливо старые ящики, затыкаем ветошью щели. Север решил показать свои коготки, зато, рассуждаем мы, ветер

прибьет к берегу лед, насыплет снега для берлог, звери пойдут косяками...

Утром я вышел за водой и сквозь метель увидел толстого солидного мишку, он спускался по ручью к нам, но, увидев меня, передумал—свернул в сторону. На берегу ручья—свежие следы другого медведя—видимо, бродил здесь ночью. Похоже, что и в самом деле начался массовый выход зверей на берег. А мы отсиживаемся в балке—пурга не утихает.

Было время перечитать свою старую экспедиционную тетрадь.

Снова об Удивленной...

«14 апреля. Мы вырыли недалеко от ее берлоги яму и обложили пластами снега—получился великолепный наблюдательный пункт. Вскоре Удивленная вышла наружу, покрутилась немного возле берлоги и опять исчезла в снегу. И тут же из отверстия выглянули две маленькие любопытные мордочки, медвежата попытались было выбраться наверх, но мать решительно захихнула их обратно. И все же, когда она снова полезла из берлоги, один медвежонок ловко вскарабкался по ее спине и голове и выскочил наружу прежде матери. Пока медведица помогала второму медвежонку, первый кувыркнулся и елозил у ее ног.

— Шустрик,—шепнул я Стасу.

— Да,—ответил он,—а вот и Мямлик.

С минуту Удивленная, свесив голову и облизывая медвежат, стоит неподвижно, а те петляют между ее ног, встают на задние лапы и ходят вокруг нее столбиками, лезут на голову, будто что-то нашептывают матери в оба уха сразу. Для них большое тело медведицы—остров в незнакомом еще мире, родной, необходимый остров, сладкий, как молоко и сон.

А вот и первый опыт самостоятельности—несколько шагов в сторону. Медвежата, как и все дети, учась ходить, сразу пробуют бежать и, не справляясь со скоростью, падают. Медведица сама отталкивает их от себя, но, стоит им отбежать дальше какой-то невидимой черты, тут же возвращает назад—она словно жонглирует двумя пушистыми шарами, разбрасывая и снова собирая их носом. И хотя все это кажется игрой, на самом деле медвежата заняты очень серьезным делом: в будущем им предстоит исходить тысячи и тысячи километров и важно скорее окрепнуть и встать на ноги!

Семейство направилось на каменистую площадку над берлогой. Но прежде Шустрик умудрился залезть на медведицу верхом, этот акробат устроился сначала поперек, потом вдоль ее спины и, отчаянно балансируя, прокатился на матери. Мямлик попробовал до него дотянуться и получил от

брatца такой увесистый шлепок, что опрокинулся и кубарем полетел в снег.

Всего минут двадцать продолжалась прогулка. Мы выдали себя стрекотом кинокамеры—звери немедленно спрятались в берлогу и до самой темноты уже не показывались».

Пурга несколько дней держала нас в балке, а когда наконец погода установилась и мы смогли продолжить наблюдения, обнаружилось, что на Дрем-Хеде мало что изменилось: снег только чуть-чуть припорошил землю, а льды по-прежнему стояли далеко в море. Каждый день мы видели одну и ту же картину: несколько медведиц лежали на склонах или разгуливали, по-видимому томясь ожиданием. И хотя они большей частью спали, однако чутко реагировали на любые изменения погоды. К человеку же были достаточно равнодушны.

Правда, пробовали они познакомиться с нами и покороче. Не давал покоя запах пищи. Были моменты, когда подходили совсем близко, заглядывали в окошко, но отступали—с явной неохотой: страшно все-таки. Не стоит связываться!

«Что же вы, не могли их угостить?»—скажет какой-нибудь сердобольный любитель зверья. Не могли. Мода на прикармливание, погоня за зверем на вездеходе, тщеславное желание запечатлеть себя чуть ли не в обнимку с «владыкой Арктики»—явления, увы, нередкие. Довольно было примеров, когда человек переступал границу, установленную самой природой, нарушал необходимую дистанцию между диким зверем и собой, пробуя даже приручить его,—никогда это не кончалось добром. И чаще всего приводило к гибели зверя.

Вся карта Дрем-Хеда покрылась значками и стрелками, указывающими на встречи с медведями, их перемещения и временные залежки. Наблюдения показали, что залегание зверей в берлоги целиком зависит от наличия снега в горах и ледовой обстановки. Приход медведиц на остров для зимовки оказался более растянутым по времени, чем думали раньше, он начинается уже с конца августа, а не в октябре. Так что предположения некоторых ученых, что звери выходят на берег, лишь когда есть условия для устройства берлог, неверны. Несомненный научный «вес» имела и та коллекция черепов, которую мы увезли с собой.

Белый медведь всегда был эмблемой Арктики. Для меня символ Арктики—медведица Удивленная с острова Врангеля. Никогда не забыть, как она спустилась вместе с медвежатами с многоступенчатой синей громады Дрем-Хеда к блестящему серебру и слюдой океану. Они не поспевали за ней, падали, и тогда она спокойно поджидала их, подталкивая и облизывая на ходу.

Доброго пути, Удивленная! Пусть остров всегда будет тебе и твоим медвежатам надежным домом!

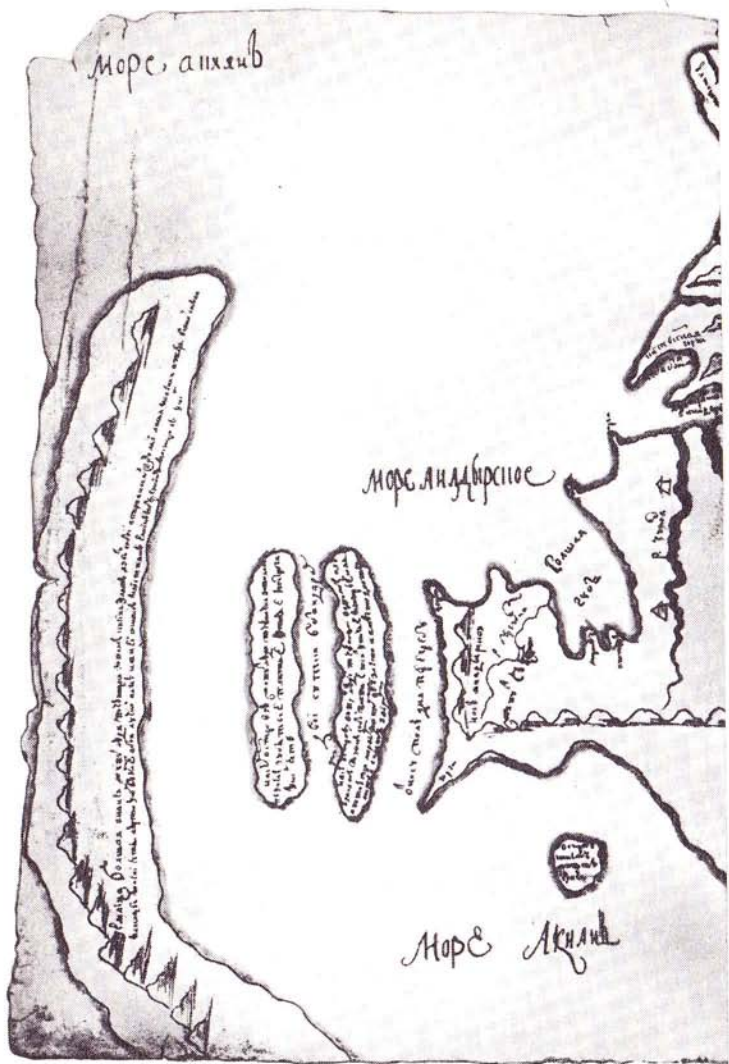
...И тебе Ивану из Устьянского устья остров, который значитися в море, на чем мочно проводитья накрепко, какие люди на том острове и какой веры и сколь далече тот остров, и взять о том прямую достоверную ведомость и о том всем учинить чертеж и в том великому государю показать верную и усердную свою службу.

Наказная память Ивану Львову, 1710 год



...И в нетерпеливом ожидании вступить на землю, скрывающуюся многие века в безвестности, в диком безмолвии, существующую за ледяными хребтами, за потаенными водами, направились к северу... Теперь я не имею никакого сомнения, что есть на севере земля: сказания чуток так согласны и утвердительны, что уже не искать, а найти следует.

Фердинанд Врангель, 1823 год



Часть карты якутского дворянина Ивана Львова
(карта ориентирована на юг)



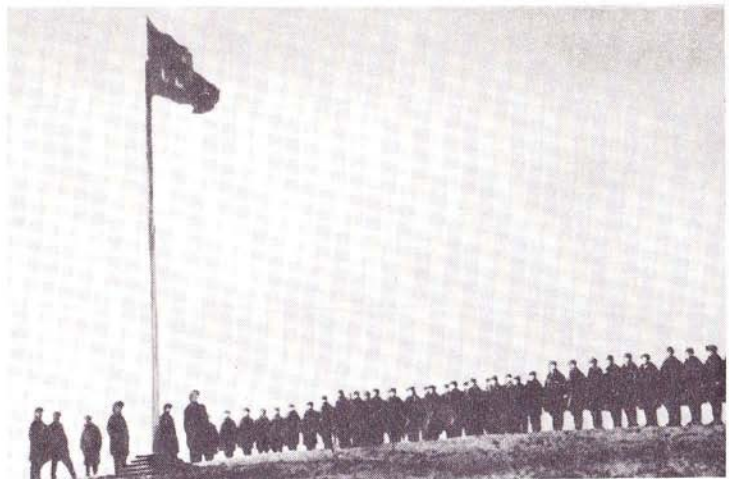
Фердинанд Петрович Врангель



Федор Федорович Матюшкин

Фрагмент карты северного берега Сибири Ф. П. Врангеля





Подъем советского флага на острове Врангеля в 1924 году



Георгий Алексеевич Ушаков

Восточное побережье острова →

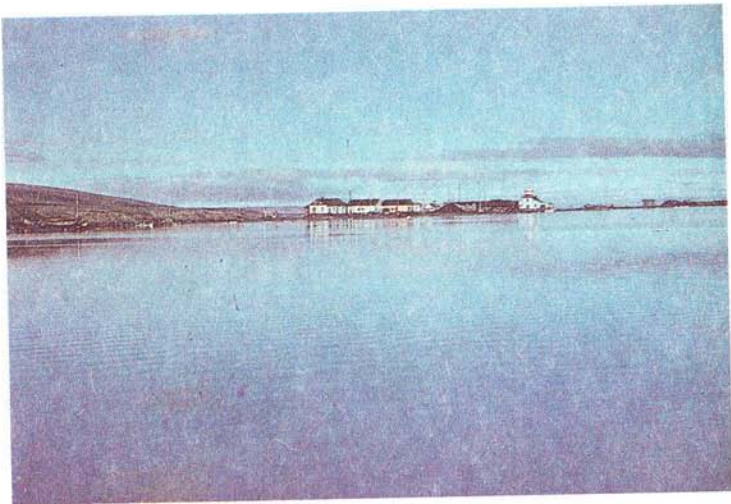


*Борис Владимирович
Давыдов*

Эскимосы острова Врангеля (из архива Г. А. Ушакова)





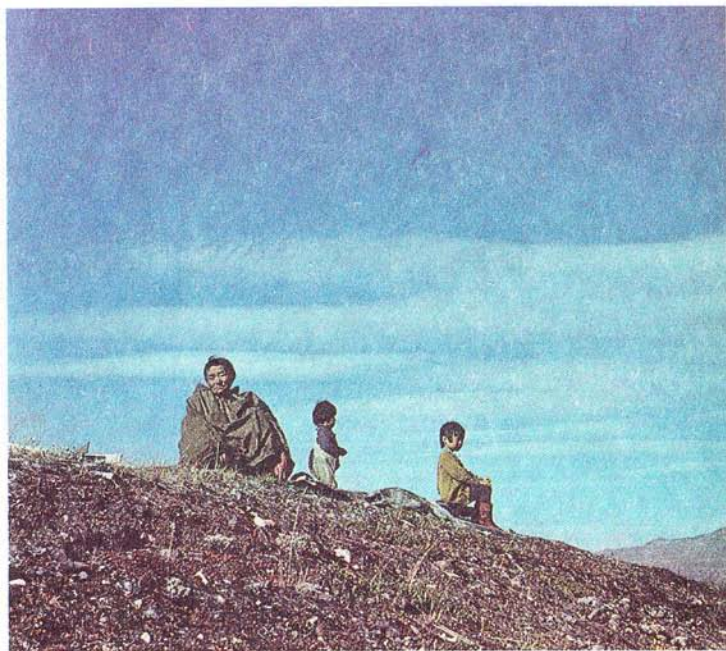
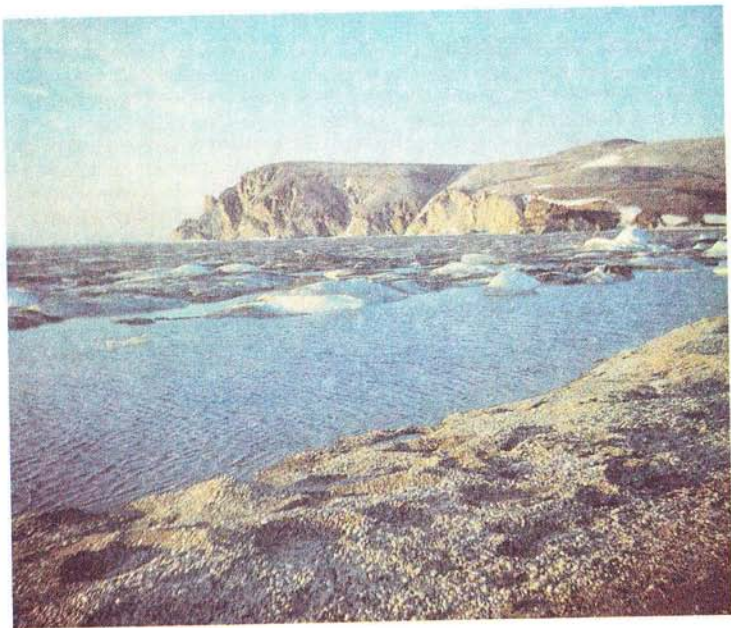


Поселок Ушаковский

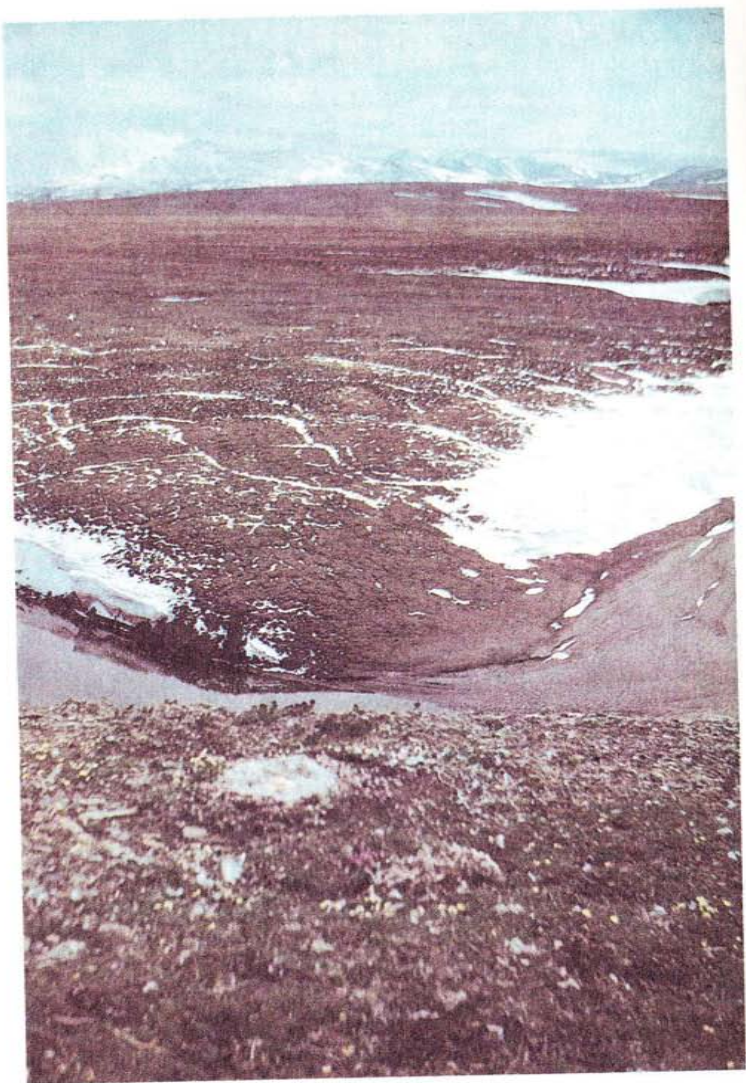


Здесь в 1911 году был поднят на острове русский флаг

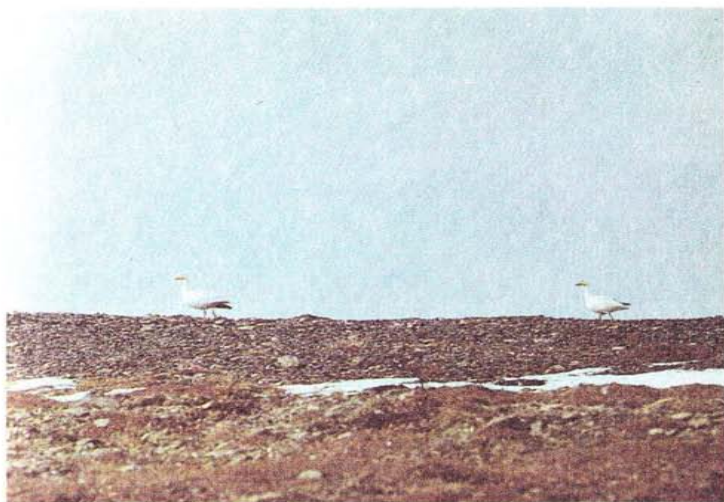
Бухта Драги



Под незаходящим солнцем



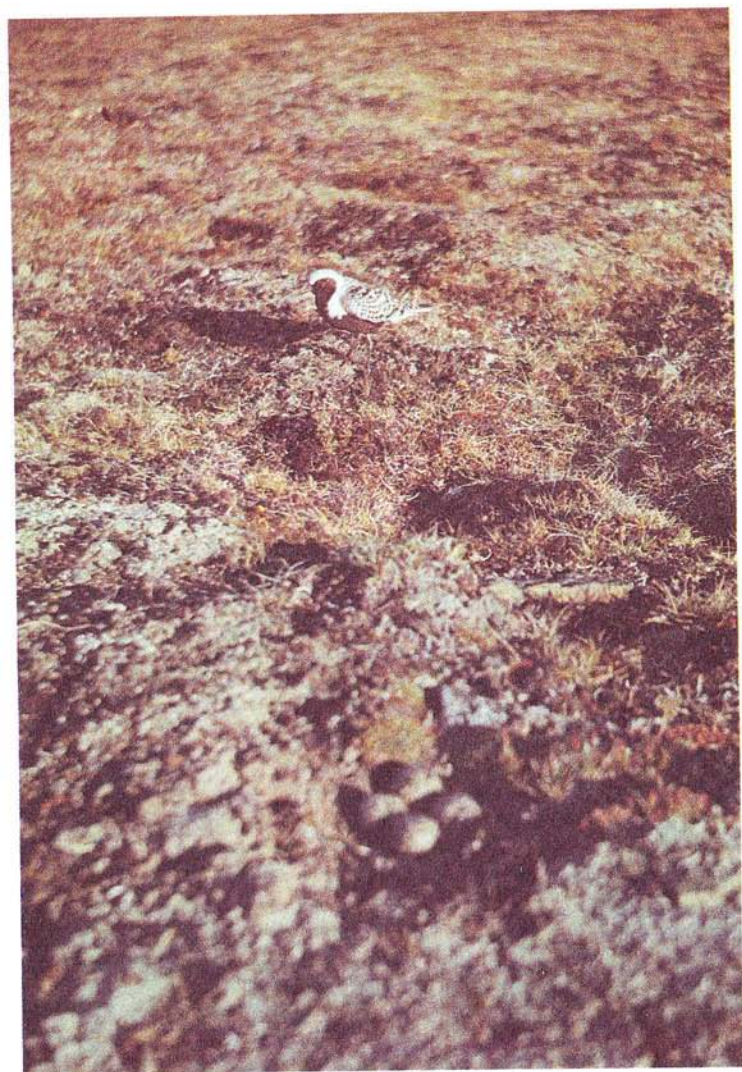
На гусином гнездовье



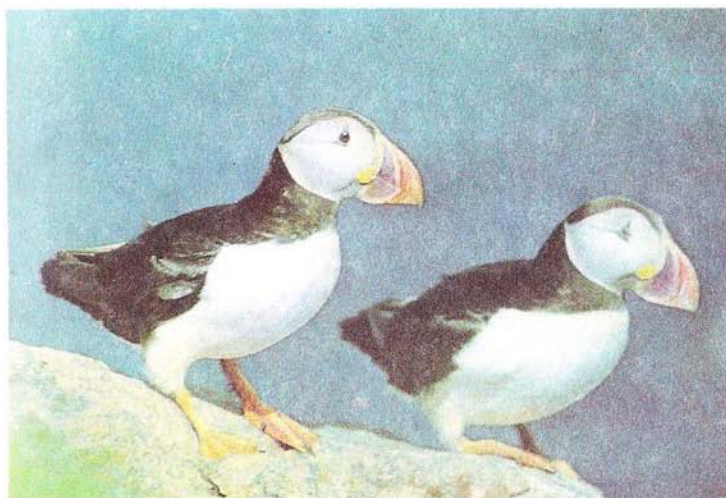
Белые гуси... из Красной книги

Гага на гнезде





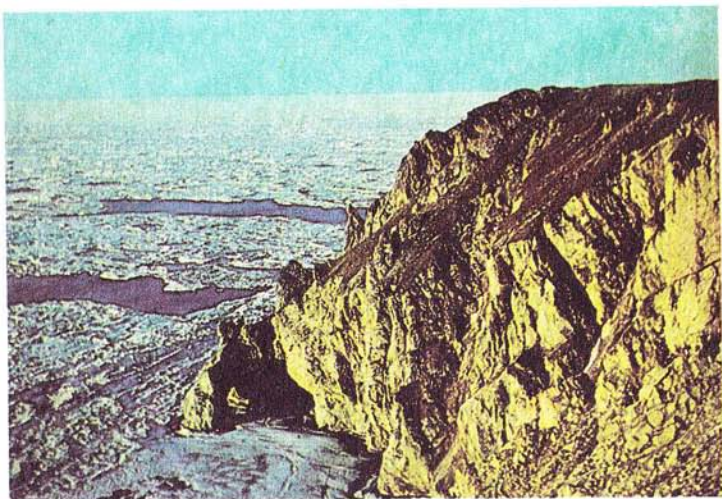
Тулес и его гнездо



Ипатки

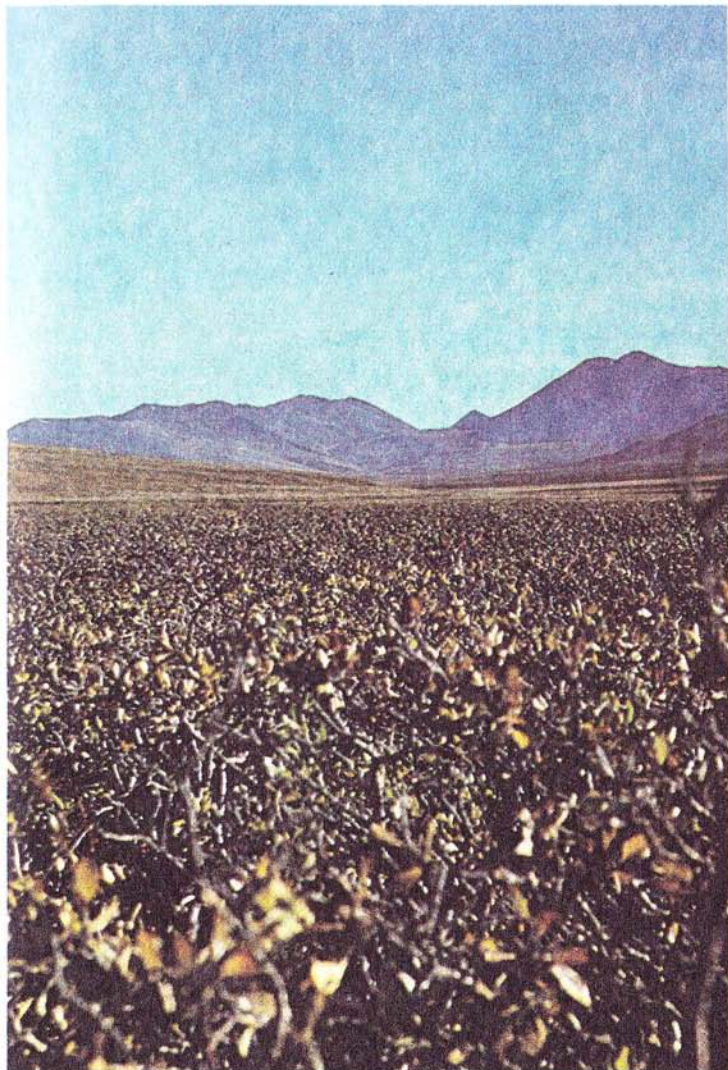
Чайки-моевки на птичьем базаре





Мыс Уэринг

В маршруте (крайний справа — почетный полярник Л. Громов)

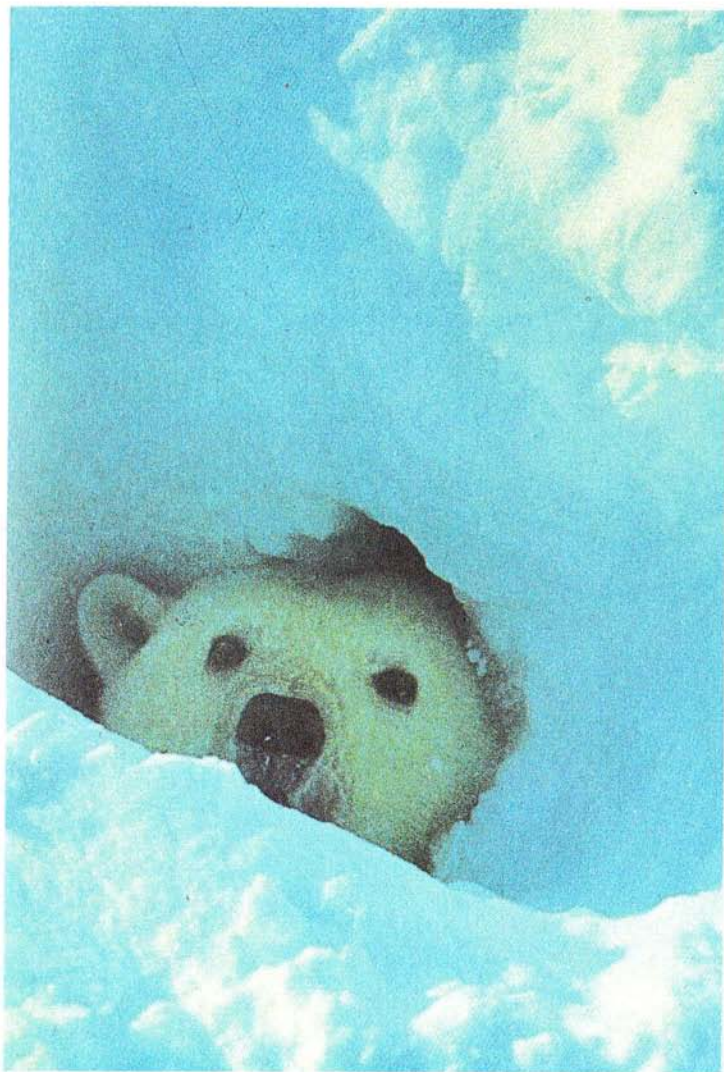


«Леса» острова (фотоаппарат стоит на земле)



Избушка зоологов в горах Дрем-Хед

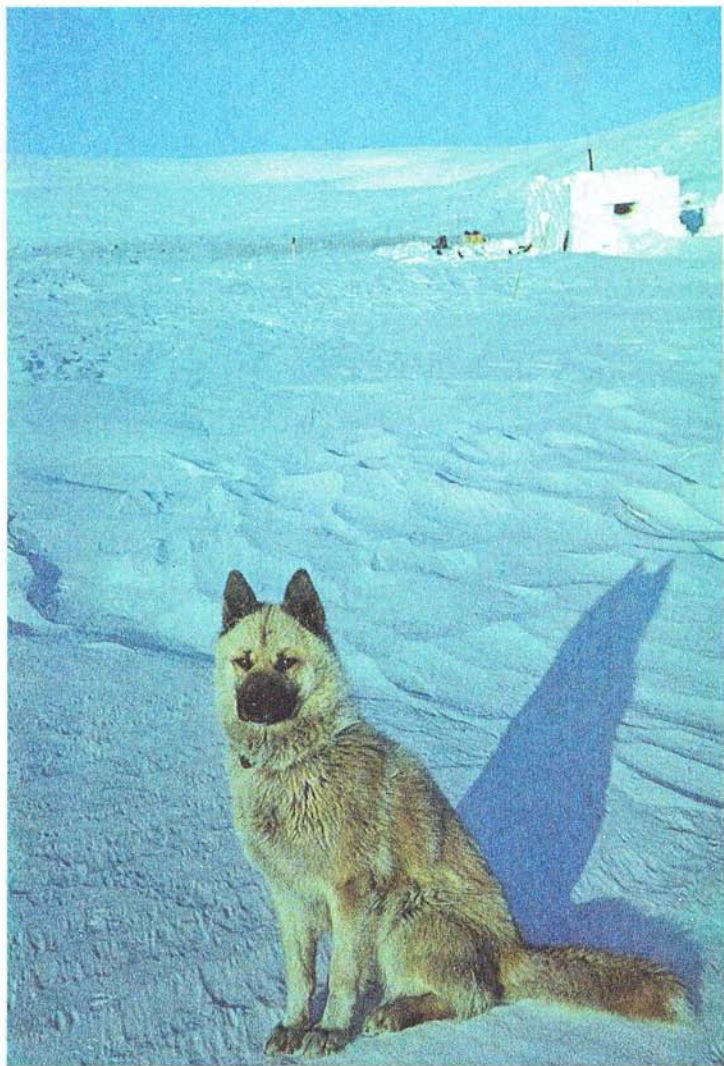
Обитатели берлоги



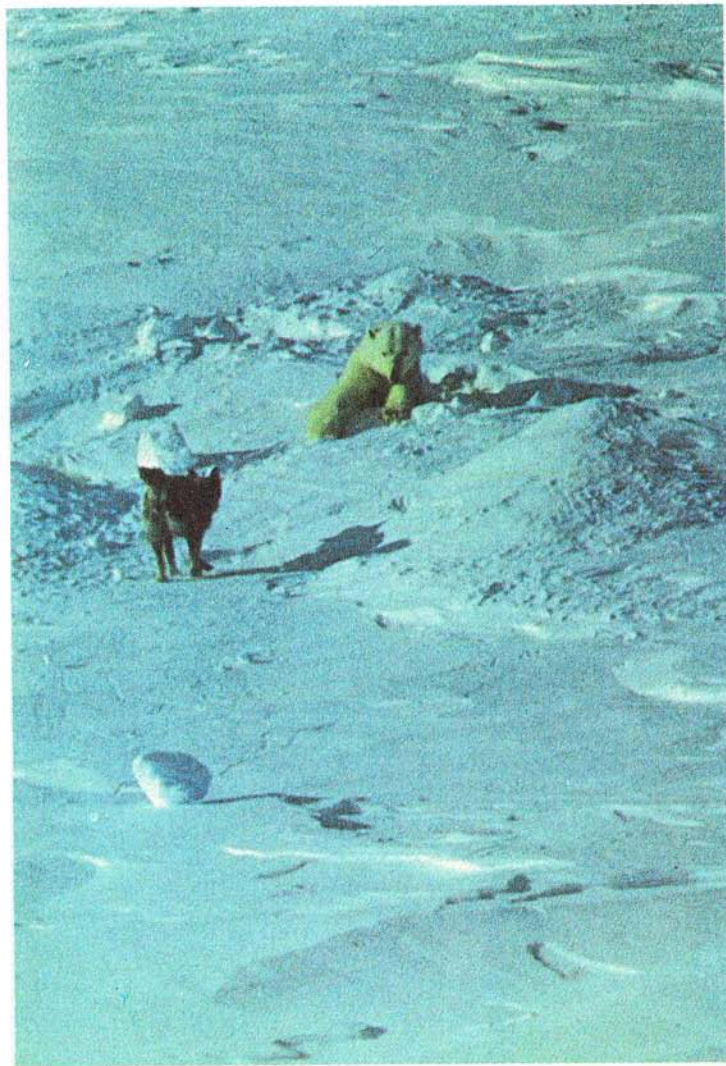
Первое знакомство

Транспорт острова. Зима →





Лайка Барон — наш помощник



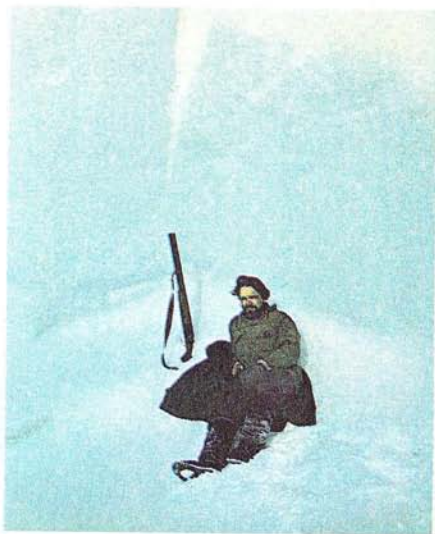
Барон и медведица



Олененок Кузя — друг детворы



Почта прилетела!



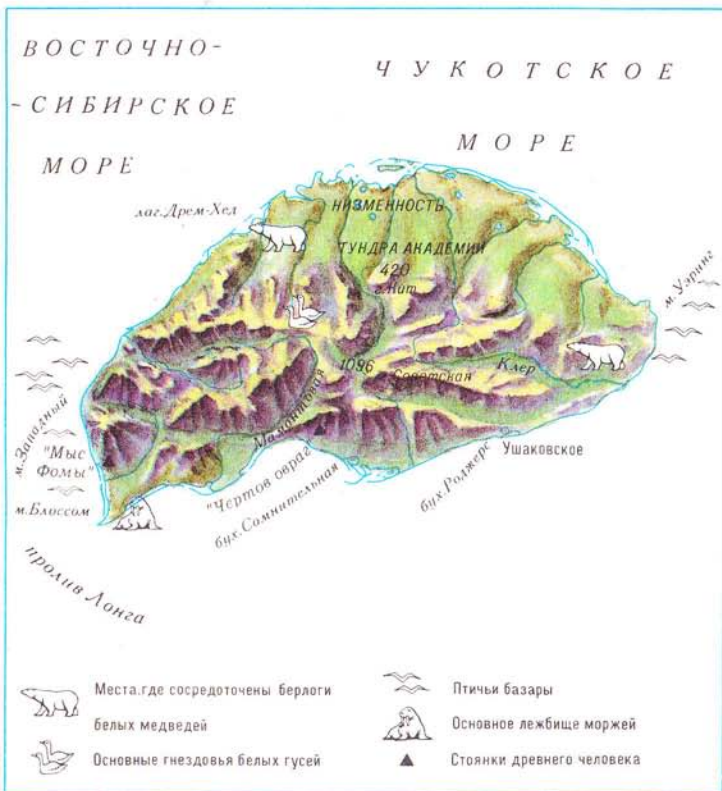
*Весной на Дрем-Хеде.
В. А. Шенталинский*



*Родился на острове
Врангеля*

Медлить было нельзя: достичь острова Врангеля в эту навигацию надо было во что бы то ни стало... Казалось, что льды были каким-то живым существом, поставившим себе целью становиться поперек нашего пути.

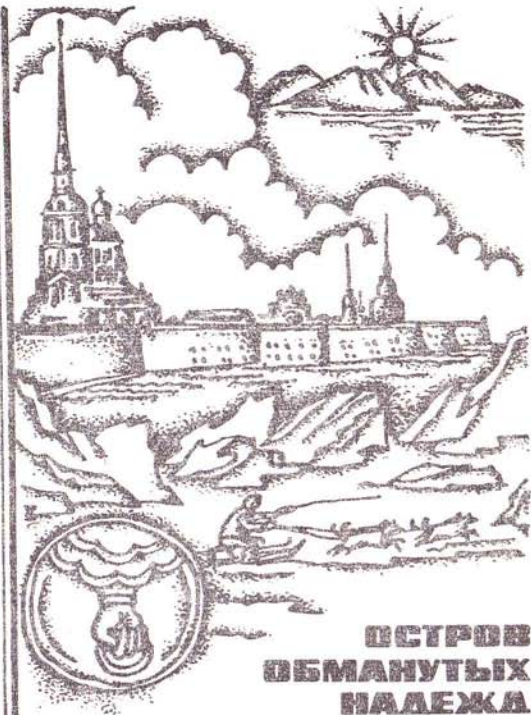
Борис Давыдов



Три года борьбы плечом к плечу. Три года жестоких морозов, метелей, льдов. Общие радости, неудачи сроднили, спяли нас в одну семью. Три года, проведенные на острове Врангеля, определили дальнейшую мою судьбу. Я навсегда полюбил Арктику.

Георгий Ушаков

ТРЕТЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ



**ОСТРОВ
ОБМАНУТЫХ
НАДЕЖА**

На рассвете несколько возков и подвод двинулись с Четырнадцатой линии Васильевского острова. В этот час столица казалась пустынной, и жизнь обитателей ее, перед тем как вырваться на улицы, выдавала себя лишь столбами дыма из труб. И хотя на Неве еще нерушимо стоял лед, таким уже широким и сильным было дыхание весны, что поневоле бодрилось сердце.

Плотно запахнувшись в шинель, Фердинанд Петрович жадно следил глазами за поворотами улиц, за проплывающими церквями и фасадами домов. Он нарочно приказал ехать медленно—кто знает, когда теперь попадут они в Петербург?

Ему недавно исполнилось двадцать три года, этому невысокому рыжеволосому лейтенанту. Обрамленное бакенбардами и вытянутое рано наметившимися зальсинами лицо его—высокий лоб, голубые, чуть навывкате глаза, большой прямой нос, начинающие твердеть губы, мягкий подбородок—выражало ту первоначальную, юную мужественность, когда человек уже крепко стоит на ногах, но вся жизнь еще впереди.

Эта жизнь запечатлется в пространных записках Фердинанда Петровича и его современников, отразится во множестве писем и в официальных документах. Поэтому сегодня мы можем сопровождать лейтенанта Врангеля в его дорогах. В путь, в путь!..

На набережной, неподалеку от высокого серого здания Морского корпуса, лошади повернули к Исаакиевскому мосту. Сюда, в корпус, Фердинанд Врангель пришел когда-то десятилетним мальчиком, не знавшим ни слова по-русски, здесь образовал общество товарищей с девизом «Честное слово — вместо воровства и клятв», здесь задумал посвятить себя географии и уже готовился к путешествиям — бегал для закалки босиком по нетопленным коридорам и по нескольку дней морил себя голодом. Воспитание было спартанское, а учение... порядочных учителей корпус тогда не имел, учились кто хотел и как хотел. Приходилось самовоспитанием и самообразованием восполнять недостаток педагогики. И вот результат — первый по успехам из девяноста девяти кадетов, офицер, настолько обрусевший, что русским владеет свободнее, чем немецким...

Экипаж на мосту, и перед глазами развернулась торжественная панорама Адмиралтейской стороны. В этой части Петербурга произошли главные события его жизни.

Направо, за сенатом, на Галерной улице, он, только сошедший с кадетской скамьи мичман, постучал однажды в дом капитана Василия Михайловича Головнина: удрал тогда с военного фрегата в Ревеле и умолял Головнина взять его с собой в кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка», хотя бы простым матросом. На карту была поставлена вся будущая карьера. Но безрассудство обернулось счастьем, и сбылось то, о чем Фердинанд Петрович распевал в детстве: «Туда, вдаль, с луком и стрелой!» — даже лук и стрела сбылись, их подарили ему туземцы на Сандвичевых островах.

Пройти школу Головнина — лучшую в России морскую школу — было хоть и почетно, но нелегко: Василий Михайлович не отделял любовь к морю от осознания высоких обязанностей моряка. «Помните, — говорил он, — о нас будут судить по тому, что мы на другом конце света сделали дурного или хорошего». Нравились молодым офицерам его свободные, критические высказывания в адрес высших чинов. Он мог, например, публично высказаться вот так: «Если бы начальство хотело, по внушениям врагов России, довести флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы поставить его в положение худшее, чем оно есть...»

Головнин стал для Фердинанда Петровича учителем и добрым гением. Капитан тоже, кажется, выделял Врангеля из всех, давал ему самые ответственные и опасные поручения. Повезло Фердинанду Петровичу и с другими спутниками по плаванию: мичман Федор Литке, второй Федор —

Матюшкин, друг Пушкина по Царскосельскому лицей, штурман Прокопий Козьмин стали его верными товарищами.

Головнин не забывал своих учеников, по его рекомендации сразу после возвращения из плавания Врангеля назначили начальником экспедиции на Северо-Восток России. Для молодого офицера, только начинающего службу, — необыкновенная удача!

Под этим золотым шпилем, в Адмиралтействе, он просиживал дни напролет, изучая противоречивые сведения о тех краях, которые ему предстояло исследовать. Уже тогда, как написал он своему другу Литке, «сердце его заледенело», а мысли были поглощены «Северным полюсом, проливом Беринга, собаками и телескопом»... Прочел все описания северных путешественников, ездил в Дерптский университет совершенствоваться в естественных науках, удивил усердием даже ученых мужей. Профессора Паррот и Струве отмечали, что он «при превосходном даровании и неограниченном усердии еще изрядный запас сведений и немалую в астрономических наблюдениях опытность имеет, а что всего уважительнее: не тщеславится тем, будто бы ему и учить уже ничего не осталось».

И вот сейчас, мимо Адмиралтейства, он отправлялся в неизвестность. На дне дорожного чемодана лежит скрепленная печатью инструкция, составленная вице-адмиралом Сарычевым и утвержденная Адмиралтейств-коллегией, которая требует описать берега Сибири «от устья Колымы к востоку до Шелагского мыса и от него на север» и открыть «обитаемую землю, находящуюся, по сказанию чукчей, в недалеком расстоянии. Если рассказы чукчей окажутся справедливыми, то, открыв землю, областать коренных жителей и описать их страну».

Поиск северной земли поставлен на уровень высшей государственной политики. Указание о снаряжении экспедиции дал Александр I, император распорядился докладывать о ходе ее непосредственно ему самому. Как все сразу забегали, засуетились! Писцов, копировавших для экспедиции материалы предыдущих северных походов, заставили работать посменно, с раннего утра до поздней ночи...

Фердинанд Петрович бросил взгляд на Зимний: царь был дома, над дворцом полоскался на ветру императорский штандарт.

Инструкцию Фердинанд Петрович знал наизусть. Как и лежавшее рядом с ней в чемодане старательно завернутое письмо. Последнее письмо его матушки...

Фердинанд Петрович был из тех прибалтийских немцев, которые служили верой и правдой России, однако никогда не забывали свою родословную. Родители его умерли рано. Фердинанд Петрович вспоминал, как, возвратившись с кладбища после похорон матери, отец вручил ему письмо. Мать

прощалась с сыном и, прежде чем благословить его, призвала как можно больше трудиться, чтобы «стать дельным и честным гражданином». Вместе с письмом в конверте лежала старинная золотая медаль, на одной стороне которой рука в облаках держала кольцо. И сколько слез было пролито над этим материнским благословением, сколько передумано одиноких дум, когда, лишившись отца, он скитался по родственникам—отец Фердинанда Петровича был всего-навсего артиллерийским капитаном, имел весьма скудные средства и оставил в наследство детям кроме баронского титула только серо-голубые, как балтийские воды, глаза. Письмо было с ним в корпусе, и потом, в кругосветном плавании, оно и сейчас с ним, бережно хранимое.

Цветением садов встретил экспедицию Иркутск—столица Сибири. Собственно, экспедицию составляли пока всего четыре человека: сам Фердинанд Петрович, мичман Федор Матюшкин да два матроса—Иванников и Нехорошков; другие члены отряда—принятый на должность натуралиста доктор медицины Кибер и штурман Козьмин—с приборами для астрономических и физических наблюдений задержались в пути. То, что вместе с Врангелем в путешествие отправлялись его старые, испытанные товарищи по плаванию на «Камчатке», тоже было заботой Головнина—главного организатора и вдохновителя нового предприятия.

В Иркутске экспедиция поступила в распоряжение сибирского генерал-губернатора, действительного тайного советника Сперанского. Он принял путешественников ласково, обо всем подробно расспросил и пообещал полную поддержку.

— Его величество делает меня участником в предполагаемой экспедиции,—сказал Сперанский.—Я приложу возможные старания. Препятствия значительны, но добрая воля и решимость все преодолечат.

На обеде у губернатора к Фердинанду Петровичу подошел сухощавый брюнет выше среднего роста. Глаза его за золотыми очками смотрели испытующе, а приподнятые, нервные уголки губ словно готовили насмешку.

— Батеньков,—представился он.—Знаете что? Приходите ко мне завтра обедать. Я живу у Геденштрома. Кстати, и с ним познакомьтесь, он ведь старожил полярных льдов и будет вам очень полезен.

Квартировал Фердинанд Петрович у начальника иркутского адмиралтейства. Дома он расспросил хозяина о Батенькове.

— Добрый малый и умница необыкновенный,—отвечал тот.—Сперанский, можно сказать, его спас. Он тут рассорился со всем начальством и совсем было скис, да вдруг, откуда ни возьмись—новый губернатор. Начальников—к следствию, а Батенькова—к себе, правой рукой его сделал. Да и

впрямь в точку попал, лучшего советчика во всей Сибири не сыщешь.

Врангель и Матюшкин стали бывать в доме Геденштрома почти каждый день. О многом было говорено, но больше всего—о неведомой земле к северу от Чукотки.

Геденштром в существовании этой земли не сомневался и считал ее продолжением Америки.

— Обстоятельства не позволили мне десять лет назад ступить на сию terra incognita,—говорил он.—Такая возможность предоставлена вам. В успехе вашей экспедиции не сомневаюсь.

— А какого вы мнения о гипотезе англичанина Бурнея?—спросил Врангель.

— Мне удивительно, откуда этот мореплаватель черпал сведения для своих утверждений. Говорить, что Америка у мыса Шелагского соединяется с нашим материком, может лишь тот, кто побывал там. Известен такой человек—Дежнев, и он доказал обратное. Впрочем, то, что после за Шелагский никто не заходил,—хороший повод для любых небылиц.

— Вопрос сей столь же географический, сколь и политический,—вставил Батеньков.—Если в Ледовитом море есть какие-то новые земли, нам следует первыми объявить о них и закрепить за Россией.

— У Гаврилы Степановича министерская голова,—улыбнулся Геденштром.—Он настроил в последнее время целый шкаф проектов.

— Жаль, что ножки у шкафа не умеют ходить,—в тон ему ответил Батеньков,—а тащить шкаф на себе от Иркутска до Петербурга—кто осилит? Кстати, мой проект «О приведении в известность земель в Сибири» как раз о том, господа, о чем мы здесь толкуем. Я предлагаю создать постоянно действующую землеописательную экспедицию, которая бы составила карту Сибири на сорока восьми листах в масштабе двадцать верст в дюйме. Вот цель, которой можно посвятить себя без остатка!

— Такой карты не хватает всей России,—вздыхнул Матюшкин.

— А Сибири—в первую очередь. Сибирь—земля будущего. Да, да, не улыбайтесь! Вы думаете: вот Батеньков сибиряк, сейчас начнет витийствовать в духе провинциального патриотизма. Вы, кругосветные путешественники, жители обеих столиц, смеетесь над нашей любовью к стране, имя которой устрасает, как удар бича. Посмотрим, что скажете, когда вернетесь. И знайте: мы здесь будем следить за каждым вашим шагом!

Фердинанд Врангель—Федору Литке, июнь 1820:

«Проехал по Европейской России, перебрался через

Урал, пролетел бранные поля Кучума, но видел немного: пустые города, коих одно достоинство—широкие улицы; просвещение на станциях, состоящее в том, что проезжему предлагает смотритель чай и суп. Можно сравнить езду по Сибири с плаванием пассатными ветрами, и тот, кто ездит по казенной надобности, плавает в Индийском океане, когда дует шторм, только держись!..»

С четырех сторон—стужа, белая тьма. Сверху—сплохи играют, снизу—протяжный, тоскливый собачий вой. Полярная ночь по плечи укрыла снегом Нижнеколымский острог.

Весь острог—сто пятьдесят саженей в длину—притулился у реки. Деревянный забор и четыре остроконечные покосившиеся башни стерегут сорок домишек и юрт. Домовые стерегут жизнь, схоронившуюся под снегом.

В остроге новости: наехали офицеры, скупают собак и рыбу, казаков уговаривают на север ехать. Сколько уже православных в тех краях полегло! Там и у медведей зубов больше. А еще, сказывают, живут в полуночной стороне бородатые великаны, живьем людей глотают и косточки не выплевывают. Зачем судьбу пытаться и бога гневить?

Тускло светится ледяное оконце. Матрос Михайло Нехорошков, бурча под нос, подбрасывает дрова в чувал—глиняную печь. Но холод из дома не уходит, жметя по углам. Второй матрос, Савелий Иванников, стучит топором, мастерит полозья для нарт, он без дела сидеть не любит, да за работой и время скорее бежит.

Фердинанд Петрович дремлет, подсунувшись к огню.

Вот уж несколько месяцев они в Нижнеколымске, сделано немало, а всё забота точит: достанут ли потребное число упряжек, где взять олених шкуры для палаток и рыбу для собак? Местный исправник палец о палец не ударил, чтобы помочь, только стращал чукчами да медведями. Все пришлось делать самим: собрали казаков и старшин, расспросили о Ледовитом море, распределили, кому какую повинность нести, договорились об оплате.

Время течет размеренно, а минуты свободной нет. Днем они учатся колымской жизни, езде на собаках, упражняются в астрономических наблюдениях и метеорологии. Для этого над домом выстроена башня с четырьмя окнами. Когда башню ставили, мороз железные топоры, как стекло, крошил, зато теперь удобно: поднимешься по ступенькам и перед тобой, будто на ладони,—колымские дали.

Тяжело подалась, треснула дверь, и в облаке стужи ввалился Матюшкин. В руках—папка с бумагами. Целый вечер Федор Федорович просидел на башне, зарисовывая сплохи. Пока он раздевался и обвыкался с мороза, Врангель рассмотрел рисунки.

— Я в первый раз сплохи еще по дороге сюда увидел.— Матюшкин подсел к чувалу и протянул навстречу огню

красные негнущиеся пальцы.—Поднял глаза к небу: ба, это что? ««Бай егал балыга ойнур»,—отвечает проводник,—рыба в море играет». Северное сияние всякий раз пробуждает во мне художника.

Догорал огонь в чувале. Матросы улеглись спать. Фердинанд Петрович прошел в свою комнатку, зажег свечу, принес на шаткий столик тарелку с теплой водой, поставил в нее чернильницу, очинил перо.

...Занятая получалась картина. Никто этой земли не видел, никто не мог с точностью обозначить ее, большинство сведений вообще походило на сказку, и все же почти двести лет она, меняя положение, очертания и имя, появлялась на картах. Натуралист Адамс даже принимал ее за особую часть света—«отечество мамонтов» и считал, что там можно встретить живых исполинов.

А они все еще сидят в Нижнеколымске! Перо Фердинанда Петровича то скользило одним концом по карте, то чертило другим, очиненным концом колонки цифр. Помнится, один ученый муж в Дерпте предлагал ему очень простой способ достичь магнитного полюса. «Нужно выбрать наиболее выдающуюся точку в океане,—говорил он,—выждать южного ветра, подвязать под мышки воздушный шар и с бодрым духом нестись на север, пока стрелка инструмента не укажет магнитный полюс. Тогда надо постараться опуститься на льдину, сделать необходимые наблюдения и с северным ветром вернуться на материк».

Каково? Пожалуй, стоило бы привести в исполнение этот проект, «надутый воздухом», но с одним условием: привязать шар под мышки самому автору!

Фердинанд Врангель—Федору Литке, 15 июня 1821:

«Дыша твердым намерением преодолеть все трудности и пренебрегать беспокойствами, дабы достигнуть своей цели и исполнить возложенное поручение, предпринял я путешествие и прибыл в Нижнеколымск. Здесь представились препоны моим планам совершенно иного рода в сравнении с теми, о коих пылкая мысль молодости разумеет. Умиравшую бедность должно было встретить на каждом шагу, голос притесненной невинности слышать со всех сторон, быть свидетелем бесчувственности, испорченного низкого нрава, сплетен, интриг, мерзостей. Надлежало уничтожить, то есть задуть, последних и помогать первым и, наконец, не видеть средств, чтобы приступить к своему делу».

В середине февраля, узнав, что нужное количество собак удастся собрать только через месяц, и вконец истомившись от ожидания, Фердинанд Петрович вместе со штурманом отправился описывать берега к востоку от устья Колымы до мыса Шелагского. А Матюшкин присоединился к купцам, ехавшим на ярмарку в Островное, на Аной. На его долю

выпала дипломатическая миссия — наладить добрые отношения с чукчами.

Через месяц все снова собрались в Нижнеколымске, где наладились после тяжелой дороги, холодов и голодовок домашним теплом и порядочной пищей. Путешественники нашли здесь только что добравшегося из Иркутска больного доктора Кибера в таком состоянии, что пока ни о каком участии его в походе не могло быть и речи.

В честь встречи устроили пир, рассказам не было конца.

— Я сыграл на ярмарке роль генерал-губернатора, — смеялся Матюшкин, — судил, мирил, страдал и миловал. Потом собрал чукотских старшин и объяснил им нашу цель. Я спросил, окажут ли они нам содействие. Ничего нельзя было прочитать на их лицах, неподвижных, как у идолов. Вдруг один, по прозвищу Валетка, вскочил и схватился за висящий на боку кортик. Этот кортик, оказывается, подарили его отцу еще при Екатерине. «Разве мы не подданные Сына Солнца? — так он назвал нашего государя. — Сын Солнца дал нам оружие не для того, чтобы мы поднимали его на друзей». Таким образом союз с чукчами заключен.

— Хочу вас поздравить, господа, — сказал Врангель, — гипотезы Бурнея больше не существует! Мы не только побывали на Шелагском, но и прошли дальше верст на пятьдесят. И не нашли никакой Америки — одни торосы.

— А расстояние? — спросил Кибер. — Как вы определяли расстояние? Говорят, казаки раньше цепью мерили отрезки пути.

— Мы с Фердинандом Петровичем вычисляли путь по скорости бега собак, — отвечал Козьмин, — оба замечали направление и расстояние, а ночью в палатке сравнивали их. Эти данные мы и используем при начертании карты.

— Ну, Прокопий Тарасыч, ты, кажется, потерял веру во всемогущество приборов? — усмехнулся доктор. — Может, вовсе не брать их с собой?

— И рад бы, да нельзя, время и высоту солнца на глаз не определишь. И все же человек надежнее машины. Представьте, господа, располагаемся мы для наблюдений. Что такое? — ртуть на морозе ни с места, колеса хронометра не вертятся. А секстан с тебя живого кожу сдирает, не прикоснешься! Ну и задала нам задачу эта геометрия! Днем мы ее последними словами клянем, а ночью с собой в постель кладем.

— Теперь нам предстоит проверить еще одну легенду, — сказал Врангель. — Мы выйдем в море от Баранова Камня и будем держать курс прямо к Земле Андреева. Посмотрим, что уготовили нам льды.

Фердинанд Петрович отступил от первоначального плана и вопреки инструкции начал поиски Северной земли не от Шелагского мыса, а от устья Колымы. К тому было у него

несколько причин. Во-первых, он опасался, что на дорогу до мыса потребуется столько времени и сил, что собаки, изнуренные зимними работами, не выдержат пути. Кроме того, он считал необходимым вести поиски последовательно, осмотрев сначала район, где значилась на картах «Земля Андреева» — таинственная Тикеген, обитаемая храхаями...

Целый день костер. Роздых людям и собакам. Двойная порция водки. Обветренные, обросшие бородами люди, с обожженными морозом лицами празднуют во льдах пасху. Намалевали на деревяшке медвежью морду и состязаются в стрельбе; далеко разносятся звонкий голос Матюшкина, взрывы смеха, кто-то ревет, изображая зверя. Никогда не думал Фердинанд Петрович, что люди, оторванные от твердой земли и близких, истощившие в скитаниях все силы, могут так веселиться.

Постепенно вокруг экспедиции подобралась ватага бывалых, отчаянных колымчан, без которой, пожалуй, нечего было и соваться во льды. Особенно помог казацкий сотник Антон Татаринов, он участвовал еще в экспедиции Гендештрама, великолепно знал сибирские берега и Ледовитое море и был незаменим для Врангеля, сопутствуя ему во всех поездках. Татаринов был нартовщиком самого начальника экспедиции, и тот не переставал удивляться его искусству так располагать дорогой, чтобы, несмотря на ледяные горы, трещины и полыньи, бесконечные повороты и петли, все же не заблудиться и каким-то чудом найти верный курс. Большую поддержку путешественникам оказал неожиданно купец Бережной, он снабжал экспедицию бесплатной рыбой и транспортом, а теперь добровольно вызвался ехать с Врангелем на двух собственных упряжках и со своим кормом. Помимо них тут были отставной унтер-офицер Решетников, искусный стрелок, сведущий не только в ружейном, но и в кузнечном деле, казаки и несколько юкагиров с грузовыми нартами.

Отряд осмотрел Медвежьи острова, прошел с великим трудом по морскому льду на двести пятнадцать верст к северу от материка. Не раз бывали они на волосок от смерти, когда судьба в прямом смысле слова зависела от дуновения ветра: попадали в полосу торошения, тонули в трещинах. Весенняя ломка льда, крайнее утомление собак и недостаток продовольствия вынуждают отступить. Пока их открытия состоят только в «закрытии» прежних открытий: опровергнута гипотеза Бурнея, теперь доказано, что и Земля Андреева не существует. Правда, казаки объясняют их неудачу другой причиной.

— Вот, барин, — шепнул Врангелю один из них, — говорили мы тебе — не бери Семку Котельникова. С ним дороги не будет. Семка с нечистой силой знается. В его дворе лесина

есть, так на ту лесину черт садится. Семка с бесом дружит. Он и ладанку с собой никогда не носит.

Семен Котельников, огромный детина с черными глазами, с похожей на воронье гнездо копной спутанных волос на голове, стоит сейчас рядом, у костра, точит копые. Меховая кухлянка перехвачена кушаком, на поясе — длинный нож, во рту — трубка. Вот так же широко и твердо стоял он несколько дней назад, когда на него напал раненный казаками медведь. Семен подпустил зверя шагов на пять, хладнокровно всадил ему пулю в грудь и, схватив копые, одним ударом свалил медведя на лед. А мишка тот был великаном и весил, как они прикинули, не меньше тридцати пудов, упряжка из двенадцати собак насилила стацила его с места.

— Говорят, Семен, тебя медведи боятся? — спросил Врангель.

— Не знаю, барин, — ответил тот, продолжая работу, — только я их не больно боюсь. Белый медведь — как и всякий зверь, хоть и зовется Михайло Егорычем. Он, правда, посильней будет бурого, Михайлы Потапыча, зато не так поворотлив. Я его повадки знаю.

— А откуда ты родом, Семен?

— Да, почитай, колымский, здесь родился, крестился, здесь, видно, и помру. Семейство наше из Вологодской губернии вышло. Вот уже лет полтораста на государевой службе, сперва на Камчатке, потом на Гижиге, теперь вот на Колыме.

— А что, Семен, пойдешь с нами еще? — спросил, помолчав, Фердинанд Петрович.

— Отчего же не пойти, — ответил тот.

— А коли что случится?

— Ничего, барин, добрым путем бог правит. А ежели и умрем, тоже не беда. Злому — смерть, а доброму — воскресение.

Ночью Фердинанд Петрович вышел из палатки. Огромное небо, полное звезд, опрокинулось над ним. И через небосвод от края до края развернулся светящийся голубой занавес с оранжевой бахромой — весь он колыхался и ходил волнами, наполнив небо каким-то непонятным ликованием.

Внезапно тонкий дрожащий голос возник в воздухе и забил, подобно чужой для этих небес птице:

Ты скажи, соловьюшко,
Ты скажи мне, черноперенький,
Где морских ты повстречал?..

Оглянувшись, Фердинанд Петрович увидел молодого казака, привалившегося к палатке.

Повстречал я их на долгих на плесах,
На морских на белых торосах,
И чистой остров увидали тут они...

И долго еще, словно недосыгаемое счастье, торжествовал на небе праздник света, а навстречу ему рвался, изнемогая от любовной тоски, человеческий голос:

Как вечерняя заря,
Была забавушка моя.
Ранняя утренняя заря
Разлукушка моя!..

Фердинанд Врангель — Федору Литке, 15 июня 1821:

«Мы хорошо живем и иногда даже смеемся в такт пронзительному вою собак и вопреки угрюмости окружающих нас предметов. Когда же представляю себе бездушные чаепития механических кукол, нахальную строгость, унижающую честолюбие и благородство; когда вообразу себе весь хаос кронштадтского и фрунтового порядка, тогда превращается Нижнеколымск в Лондон и положение мое в приятнейшую награду.

С некоторого времени, любезнейший друг, я стал рассуждать не так, как прежде, и привык смотреть на предметы с другой точки зрения, нежели тогда, когда говорил, что магометанин не может быть счастлив, что служба не ограничивает вольность, и подобные нелепости. Мне вразумительно, что вольность души тоже неоцененное сокровище, как здоровье тела. Я страдал в одно время лишением того и другого, и не потому ли эта перемена во мне? Сильные революции происходили в моем образе мысли и большое брожение в моем мозге...»

Фердинанд Врангель — Федору Литке, осень 1821:

«О себе могу тебе только сказать, что здоров и весьма занят; я мало имею времени для себя. Однако на это не жалуюсь, ибо охотно исправляю сам должность писца и секретаря, начальника экспедиции и комиссара. Козьмин хорош, как прежде. Я им чрезвычайно доволен. Доктор умен, осторожен, но нездорового сложения. Я с ним часто философствую, и мы живем хорошо. Кто ничего не имеет, тот и малым доволен. Теперь занимаюсь приведением в готовность всего нужного к предстоящему нам весною путешествию».

Минул год. Весна снова застала Фердинанда Петровича в пути. И на этот раз обстоятельства принудили его изменить первоначальный план. Неудавшиеся оленья охота и рыбная ловля у колымчан имели следствием общий голод, к этому присоединилось неслыханное поветрие на собак, приведшее к массовой их гибели. Чтобы сэкономить силы, Фердинанд Петрович решил идти до меридиана Шелагского мыса не по берегу, а напрямик, по льдам, и дальше двинуться от него на север, туда, где искомой земле полагалось быть.

Двадцать седьмого марта взобравшийся на торос Козьмин позвал Фердинанда Петровича. В зрительную трубу путешественники увидели два холма, отчетливых на ясном небе.

— Земля?—нерешительно сказал Козьмин.

— Земля,—подтвердил Фердинанд Петрович.

Позвали проводников.

— Нет, это пар от воды,—возражали они.—Там, впереди, покое море.

Спорить не стали. Гикнули на собак и, не мешкая, погнались.

Чем дальше ехали они, тем яснее и ближе становились горы. Вот уже можно различить отливающие серебром долины, отдельные утесы... Сомнений больше не было, Врангель обнял и поздравил друзей.

Усталое солнце скатывалось в торосы. Надежда уже к ночи ступить на твердый берег торопила отряд. И тут, не веря глазам, Фердинанд Петрович заметил, как переменявшийся ветер начал медленно смещать близкую уже землю к югу. По мере того как затухал закат, земля выстраивалась и громоздилась по краю неба, окружая путников со всех сторон, в полном отчаянии встали они в центре ледяного озера, обставленного горами. Проводники были правы, желанная земля оказалась всего лишь миражем.

Еще две долгие недели пробивались путешественники на север. Трудности пути превосходили все испытанное ими до сих пор, гряды торосов, одна за другой, пересекали дорогу, и порой нужно было десяток часов работать пешнями, чтобы продвинуться на несколько верст вперед. От ослепительного света мучительно болели глаза—не помогали и повязки из темного крепа, приходилось все время для облегчения смачивать веки водкой. А изнурение собак, разбитые нарты, нехватка продовольствия и топлива! Уже много дней отряд только раз в сутки мог разжечь огонь и приготовить горячее—в остальное время приходилось довольствоваться мороженой рыбой и снегом. Продолжать движение в этом направлении таким черепашьям шагом было бессмысленно.

И все же Фердинанд Петрович послал Матюшкина на разведку. Тот вскоре вернулся: разломанный лед и открытая вода преградили дорогу. Необычайное зрелище предстало перед его глазами: море свергало с себя оковы зимы, льдины с громовым треском вставали на хребтах волн, сшибались и обрушивались в пенную пучину.

— Еду, еду—ни пути, ни следу! Смерть подо мною, бог надо мною!—пытался шутить Матюшкин, когда вернулся, но никого не развеселил.

Экспедиция повернула на восток. 22 апреля при ясной погоде они увидели вдалеке желанный Шелагский мыс и, собравшись с силами, пустились было от него на север, но и здесь путь преградили непроходимые полыньи и торосы. Единственно, что можно было утверждать,—к северу от Шелагского, по крайней мере на сто тридцать верст, никакой земли нет.

После долгих скитаний среди льдов и снегов они поворотили к берегу. Стремительно надвигалась весна, затяжной туман сжал пространство, искажил очертания торосов и скрыл небо с его дневным и ночными светилами, с первыми караванами перелетных птиц...

Нижнеколымск был пуст. Измученных путешественников встретил только казак—инвалид, стороживший канцелярию, да старая Сухомясиха, которая по слабости уже несколько лет, как не покидала острог. Промысловая страда увела остальных вместе с детьми, лошадьми и собаками на многочисленные речки и протоки. Груды ящиков, бочек и саней громоздились на плоских крышах домов—на случай большой воды.

И она пришла: Колыма зашевелилась, вздыбилась и, вырвавшись из ледяного плена, затопила острог. Пришлось, захватив самые необходимые вещи и собак, перебираться на крыши. Наготове были карбас и ялик, чтобы, если вода поднимется еще, спастись на маячившей невдалеке Пантелевской сопке.

По обыкновению ворчал и не находил себе места в тесноте матрос Фердинанда Петровича Михайло Нехорошков:

— Ох, русаки что кочевники: в одном месте весную, в другом—летуют, в третьем—зимуют. И все—бедуют...

И барин его думал о том же самом.

Всюду, куда ни взглянешь, колыхалась и рябила мутная вода, и расплющенное холодное солнце, казалось, не заходило, а безвозвратно тонуло в ней. И Фердинанду Петровичу представилось, что люди—такие же островки в половодье бед, как эти выступающие из хляби одинокие крыши...

В сем положении застал их нарочный, приплывший на карбасе с верховьев Колымы. В почте были указания из Санкт-Петербурга: начальство выражало недовольство результатами трудов экспедиции.

Фердинанд Врангель—Федору Литке, лето 1822:

«Ежели ты в Петербурге, то, конечно, уже известно тебе все неудовольствие нашего департамента на меня. Желал бы только знать, кто именно мною недоволен. Один ли Сарычев или тоже Василий Михайлович Головин и другие говорят, что я отступил от инструкции, искав землю тридцать шесть суток вместо того, чтобы ее найти в один день... Но как бы глупо я ни поступил, однако радуюсь тому, что нами определено несуществование земли в удободостигаемом от сибирского берега расстоянии между меридианами Медвежьих островов и Шелагского мыса и что, следовательно, остается искать эту землю к востоку от последнего меридиана. Туда-то и обратим наши попытки весною 1823 года в надежде найти не обитаемую

землю, но какой-нибудь голый островок. Как открыть Андрева или другую Новую Землю, когда и песчаного острова там нету? Как же так найти определенное место, где сделать открытие? Следовательно, успех состоит не в самом открытии, но в подробном исследовании того места. Нет, нам твердят: роди да дай!..

Чтобы испробовать терпение человека, нельзя придумать мучительнейшего средства, как поручить ему начальство над собачьей экспедицией в отдаленнейшей Сибири, там, где слышится только стон голодающих народов.

...В Колымске ничего меня не утешает и не занимает, исключая моего поручения; оно меня так связало, что не желал бы переменить нарту на корабль и тундряные берега Ледовитого моря на прекраснейший Перу, покуда не очистится карта от земель Тикигена и пр. или покуда не означатся они резкими чертами вместо пунктирных.

Федор Федорович приметно мужает умом и делается осторожнее в словах и поступках. Прокопий Тарасович тот же шутник, каковым бывал в нижнем парламенте на «Камчатке» — вчера он страшно влюбился, а сегодня за бутылкой грустит по единственной богине. Доктор наш Кибер медленно поправляется от болезни, ему я благодарен, что не вовсе еще забыл хохотать и что иногда вспоминаю, что окромя Ледовитого моря есть еще много любопытных предметов на свете».

Некий господин, проживающий в одном из бесчисленных городков Российской империи, почитал себя знатоком многих наук, и в особенности географии. И вдруг эти знания, ставившие его в совершенно исключительное положение среди других горожан, были поколеблены. К нему приехал из столицы учащийся сын. За разговорами и развлечениями отец с ужасом приметил, что чадо его имеет совершенно выворотное понятие о любезном родительскому сердцу предмете: он утверждал, например, что Казань — не Сибирь, да и не Азия вовсе и что частей света не четыре, а пять. На все доказательство он отвечал смехом, твердил, что они устарели, чем привел родителя к расстройству мыслей.

Вконец отчаявшись, этот господин решил обратиться за разрешением конфликта в журнал «Сын отечества». Он собрался с духом и сочинил издателю журнала господину Гречу пространное письмо. «Мне сказывали, — писал он, — что вы сведущий человек, знаете грамматику, географию; да сверх того видел я из книг ваших, что вы и по чужим землям ездили. И вот прошу: решите меня относительно географии. Оканчиваю моим почтением, с каковым я пребуду вам, государя моего покорный ко услугам П. Т.».

Издатель «Сына отечества», получив это послание, помялся в душе и, полагая, что решение оных географических

вопросов известно всем, отправил было конверт в архив. Да посетил его в ту пору почтенный историк и географ Берх. Прочитав корреспонденцию, он, напротив, уверял, что многие на Руси, и даже ученые люди, сомневаются, как бы надлежало решить упомянутые вопросы, и потому, напротив, говорить о них следует.

Так письмо господина П. Т. вместе с комментарием почтенного историкогеографа достигло читающей публики.

С Казанью было просто. Казань находилась в Европе, а Сибирь — в Азии. Европа же отделялась от Азии Уральским хребтом.

А вот число частей света ученые называли по-разному, одни полагали, что их пять, другие — шесть. Существование первых пяти: Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии — было несомненным. Из этого вытекало, что в споре отца с сыном победил сын. Но и он был неправ, потому что существовала Полинезия — острова, разбросанные по Восточному океану между тропиками. Скорее были правы ученые, считавшие, что частей света шесть. Но и они ошибались! Их было семь, частей света, ровно семь, и седьмая — Бореалия, страна Борея, честь открытия которой, безусловно, принадлежала господину Берху. «Эту часть света, — объяснил он, — составляют острова, лежащие в северном полушарии между полюсом и Северным полярным кругом. Новейшие исследования капитанов Франклина и Парри познакомили нас еще со множеством островов, кои по всей справедливости должны быть признаны особою частью света».

Увлекательный спор о частях света Батеньков перечитал несколько раз. Ему было вовсе не смешно: он сам сейчас сидел над статьей в «Сын отечества», в которой рассуждал как раз об этой самой Гиперборее, или, как там ее, Бореалии.

Вот в каком состоянии находятся географические познания современников! За неимением точных данных ученые мужи, иностранные и отечественные, вынуждены выдумывать целые части света. А между тем в его руках есть материалы, которые гораздо более нужны науке: Врангеля, обследующий на собаках неизвестные районы Ледовитого моря, прислал письмо с подробным описанием всех своих мытарств и сомнений. Собственно, с самого начала донесения экспедиции проходили через руки Батенькова, он же от имени Сперанского пересылал эти донесения в Петербург. И удивительное дело — чем больше вчитывался Батеньков в строчки, написанные за тридцать лет, тем более казалось, что это он сам любит дикой и мертвой красотой Шелагского мыса, сердится на полыньи, ахает при каждой встрече с белым медведем, кричит «ура» при виде таинственной земли, встающей из-за торосов, и в разочаровании

тянет «вот тебе на!», когда она поднимается в воздух и тает в свете зари...

Впереди— море и туман. Компас отказывается служить, он весь во власти подземного своего повелителя, он, кажется, говорит человеку: «Вернись! Ты найдешь здесь могилу!» Ну что ж, на этот раз мы вернемся от предела, поставленного природой, мы сядем у огонька в нижнеколымской нашей хижине и поговорим о чем-нибудь дельном или развеселимся пустяками. Ведь опять придет весна, а с ней возможность еще раз попытаться счастья!

Мы видели страну Гиперборейскую в девятнадцатом веке—чей же рассказ может быть любопытнее? Испытанные льдом, мы вернемся на родину, где нас ждут читатели и слушатели и, дай бог, признание начальства. Труд и служба Отечеству не пропадают!

Так Батеньков и написал свою статью—как диктовало чувство—в форме ответного письма к Врангелю.

Не доезжая версты две до Шелагского мыса, собаки вдруг понесли. «Зверя почуяли»,—подумал Фердинанд Петрович и в ту же минуту увидел вынырнувшую из-за торосов упряжку оленей. «Кхх! Кхх!»—закричали все разом, осаживая собак. «Чукчи,—мелькнуло в голове у Фердинанда Петровича,—наконец-то есть случай познакомиться поближе».

Олени тоже остановились, сидевший в нарте человек внимательно оглядел отряд и, видимо распознав в Фердинанде Петровиче начальника, подошел к нему. Быстрым жестом выдернул из-за пазухи трубку и постучал по ней коричневым пальцем. Сразу несколько кисетов потянулись навстречу. Так же ловко человек захватил щепоть табаку, набил трубку, раскурил и, окутав себя облаком дыма, произнес: «Камакай!» «Камакай!»—повторил он, махнув рукой в сторону гор, потом направился к оленям и уехал.

— Камакай—это старшина,—объяснил толмач.—Он поехал к своему вождю.

Под скалами Шелагского мыса, на узкой полосе прибрежного песка, поставили походную палатку, это заняло всего несколько минут: воткнули в снег шесть длинных шестов, обтянули их оленьими шкурами, медвежьим мехом застелили пол, зажгли очаг. Пока варился в котле рыбный суп—их обычное горячее блюдо, гадали, что принесет встреча с чукчами.

Было 9 марта 1823 года. После основательных зимних сборов и приготовлений экспедиция смогла продолжить работу, разделившись на два отряда: один, под начальством Матюшкина, отправился описывать чукотский берег на восток, до мыса Северного, другой, основной, должен был искать предполагаемую Землю...

Яростный лай собак позвал их наружу. На этот раз чукчи приехали втроем. Низкорослый плотный старик лет шестидесяти, ударив себя в грудь, объявил:

— Камакай! Торóма!

«Здорово»,—догадался Врангель и улыбнулся в ответ:—Здорово!

Камакай что-то крикнул спутникам, и те достали из саней и бросили к ногам Врангеля кусок нерпятины и шмат свежего медвежьего мяса.

— Торóма!—повторил камакай, поклонившись.

В палатке чукчей одарили табаком, и они с удовольствием задымили, от чая тоже не отказались, но после первого же глотка выскочили наружу, кашляя и сплевывая. Там они пожевали снег и снова чинно расселись у огня.

— Зачем пришли так далеко и в такое холодное время? Много ли вас и вооружены ли вы?—с таких вопросов начал камакай.

— Скажи ему,—наклонился Врангель к толмачу,—что пришли мы с миром, с целью изучить положение здешних берегов, чтобы легче было доставлять чукчам товары. Оружия у нас столько, сколько нужно для охоты.

Выслушав ответ, камакай удовлетворенно кивнул.

Тогда Врангель отыскал кусок доски, выкатил из костра уголь и провел им извилистую линию с острым выступом.

— Шелагский,—показал он на выступ,—мыс Шелагский!

— Ерри,—ткнул в это же место камакай.—Ерри. Чаун,—обвел он пальцем дугу слева от выступа и, выхватив у Врангеля уголь, нарисовал над ней круг:

— Араутан.

— Правильно,—обрадовался Врангель,—Чаунская губа и остров Араутан. А Шелагский они называют Ерри.

И с замершим сердцем он спросил:

— А нет ли какой-нибудь земли дальше, к северу?

Камакай снова потянулся за табаком, не спеша набил трубку и, глубоко затянувшись, отчего из его глаз выступили слезы, заговорил. Он рассказал, что между мысом Ерри и Ир-Каипи есть место, с которого в ясный летний день за морем видны высокие, снегом покрытые горы. Прежде оттуда приходило много оленей, он сам один раз гнался за ними, но уперся в непроходимый лед. Камакай думает, что горы те на такой же большой населенной земле, как наша. Еще рассказывал ему отец, что в давние времена один камакай со своим родом уплыл в ту землю на байдаре, но что он нашел там и вернулся ли—неизвестно.

— Как называется место, с которого видно земля?—быстро спросил Врангель.

— Якан,—ответил камакай. Он подобрал уголь и продолжил на доске линию берега, закончив ее еще одним выступом:

— Это Якан.

Фердинанд Петрович мог быть доволен знакомством. Прощаясь с камакаем, он щедро одарил его подарками, долго жал руку и хлопал по широкой спине...

Десятый день пробивался отряд в лабиринте морского льда. Снова и снова прорубали дорогу пешнями в острых, отвесных торосах, то и дело приходилось останавливаться: чинить полозья и упряжь, перетягивать веревки. Полуголодные, с израненными лапами, собаки еле тащили сани. Тучи впереди сгустились до черноты, на море опустилась глухая и тревожная тишина.

Передняя упряжка встала у края широкой расходящейся полыньи. Путешественники поднялись на высокий торос и увидели с него только неверный, изрезанный водой лед, а дальше — необозримое открытое море. Приходилось отказываться от цели, на достижение которой было потрачено три года крайних лишений и риска. Они сделали все, что требовали от них долг и совесть.

Затишье сменилось резким, быстро нараставшим ветром. Надо было спешить, лед задвигался, крошась, трескаясь во всех направлениях, так что через несколько верст путники уже не нашли старых своих следов. Соревнуясь в скорости с наступавшим морем, они гнали собак днем и ночью, пока не очутились на большой льдине, окруженной водой. Мучительно мчаться вперегонки со смертью, но еще мучительнее бездействовать, когда вокруг бушует стихия.

Обдаваемая пенными накатами и брызгами, льдина носилась по волнам, готовая вот-вот развалиться. Казаки молились, прощаясь с жизнью. И решающий миг наступил: могучий вал подхватил льдину, взметнул ее и с невероятной силой ударил о большое ледяное поле. Отчаявшиеся люди бросились в нарты и погнали собак по расползающемуся, живому льду. И когда после бешеной скачки собаки выбрались на неподвижный лед, людям показалось, что они побывали на том свете, чудом проскочив несколько мгновений, уже отделявших их от жизни.

Так кончилась третья, и последняя, попытка Фердинанда Врангеля открыть землю в Ледовитом море.

В самом унылом расположении духа двинулись путешественники в обратный путь. И не только потому, что пришлось отступить от цели, — полыньи отрезали от них склад с продовольствием, и теперь они были обречены на голод. Спасти могла только встреча со вторым отрядом — с Матюшкиным. И тут случай помог! Скоро друзья обнялись.

Когда все снова оказались вместе, долго обсуждали загадку неведомой земли. И Матюшкин, и Кибер тоже слышали о ней от чукчей, вспомнились и другие рассказы, на ярмарке в Островном. Они были снабжены такими нелепыми подробностями (один чукча утверждал, например, что та

земля обитаема дикарями, единственной пищей которым служит снег), что тогда в них с трудом верилось. Теперь же сомнений не оставалось. Слова камакая подтверждались.

Еще и еще раз пытался Врангель проникнуть во льды: направлял туда на разведку сначала Козьмина, потом Матюшкина — без результата, за полосой припая земли непроходимые полыньи.

Нашли путешественники и мыс Якан, о котором говорил камакай. Ярко светило солнце, и было по-весеннему тепло. Врангель и спутники его долго стояли на вершине скалы, всматриваясь через телескоп в зыбкую линию горизонта. Перед ними было только море с его бесконечными льдами и небо с его бесконечными облаками.

Фердинанд Врангель — Федору Литке, лето 1823:

«В нетерпеливом ожидании вступить на землю, скрывающуюся многие века в безвестности, в диком безмолвии, существующую за ледяными хребтами, за потаенными водами, направились к северу и возвратились на берег через шестнадцать дней, не увидев даже землю; только выезд наш на берег был подобен ретираде бегущего неприятеля, разбитого под стенами столицы, в которую нахально хотел ворваться или штурмовать. Не внемля грозящему треску льда под нами, ни препонам от обширных полыней, продолжали идти вперед в сладкой надежде достигнуть до земли и не прежде решились на поворот, как поворотить уже почти нельзя было.

Теперь не имею никакого сомнения, что есть на севере земля; неужели правительство, истратив большие суммы в отыскании ее без успеха, устрашится новых издержек и тем самовольно откажется от прежде сделанного? Для чести России, кажется, нужно бы обновить экспедицию в сем крае...»

И вот дверь распахивается, и Фердинанд Петрович видит царя. Он сидит, отставив ногу и выпрямив спину, перед рядом зеленых столов — красный ворот, золотые эполеты, бледное, мягкое лицо, скошенный испытующий взгляд.

Царь встает и делает шаг навстречу, предупреждая рапорт:

— Что, лейтенант, за три года в пустыне вы, должно быть, отвыкли от дворцовых церемоний? — И, видя смущение Фердинанда Петровича, добавляет: — Ну, это грех небольшой. Быстро привыкнете.

Тусклый свинец петербургского дня не проникает в окна, стены светятся благородным розовым, и легкая вереница античных фигур и колесниц, изображающих историю, без помех струится под потолком к золоченой двери.

Они сидят рядом у зеленого стола — царь, уставший от царствования, но обреченный на него, как актер, что не

может уйти со сцены, пока не упадет занавес, и эстляндский барон, присягнувший на службу русскому государю.

Такова мизансцена. Разговор касается границ могущества русского царя.

— Побывали ли вы, лейтенант, на месте, где по предположениям англичан Азия соединяется с Америкой? Сей берег, кажется, единственный, не обозначенный еще на карте империи?—спрашивает Александр.

Фердинанд Петрович расстилает перед императором карту, составленную по результатам работы экспедиции.

— Мы, ваше величество, подробно описали и нанесли на карту этот участок. Теперь нет никаких сомнений, что к северу от чукотского побережья всюду ледяное море.

— Так. Вам предписывалось искать во льдах новые земли?

— К тому, ваше величество, и сводились все наши усилия. Мы предприняли три похода в Полярное море и установили, что в удободостигаемом от берега расстоянии никаких островов, а паче матерой земли нет. Однако местные жители сообщают, что иногда в ясные летние дни с мыса Якан видятся вдали горы. Потому сейчас следовало бы вести поиски не от Шелагского мыса, как указывалось нам, а от этого места. Я прошу ваше величество разрешить мне продолжить экспедицию и довести до конца начатое предприятие. Предполагаемую землю уже не искать надо, а найти.—И Фердинанд Петрович показал на карте место, где его рукой уверенно был обозначен остров.

— Ваше усердие похвально. Но неужели вас не утомили скитания?

— Тяготы пути, ваше величество, ничто перед желанием моим принести пользу отечеству Российскому. Вопрос, что таит в себе ледяная пустыня, волнует сейчас все образованные нации. И если не мы, то другие в скором времени разрешат его. Слава России...

— Я прикажу морскому министру рассмотреть ваше предложение,—перебивает Александр.—А что народы, с коими вы встречались, в каком они состоянии?

— Я согрешил бы перед совестью, ваше величество, если бы утаил правду. Милости и благие преобразования ваши слабо еще доходят до сих окраин. Туземные народы, живущие на Колыме и на чукотских землях, пребывают в самом бедственном положении. Голод, невежество, лихоимство купцов. Все силы человека тратятся там единственно на добывание пропитания, а жизнь зависит от игры случая.

Тень набегает на лицо Александра. Он встает и, сложив руки за спиной, медленно прохаживается по блестящим плиткам паркета. Вслед за ним встает и Фердинанд Петрович.

Царь молчит, повернувшись спиной к Фердинанду Петро-

вичу и углубившись в свои мысли, молчит минуту, другую. Слава... Россия довольно добыла себе славы во внешних подвигах, а вот внутри, внутри словно семипудовая гиря...

Царь молчит. Для него не секрет, что недовольство и ропот распространились в последнее время во всех сословиях общества. Ругать правительство стало модой. На зеленом сукне рядом с докладом об экспедиции лежат записи, стоившие Александру столько огорчений и беспокойств. «Есть слухи,—написано его рукой,—что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит между войсками; что в армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии».

Александр резко поворачивается и впивается глазами в лейтенанта: «А этот? Может, и этот? Болтает о славе России, а сам скалит зубы?»

Лицо лейтенанта спокойно, он выдерживает взгляд. И царь отходит.

— Богу дано испытывать нас,—говорит он загадочно,—и карать за прегрешения наши.

— А бывают ли там красные дни?—спрашивает царь напоследок.

— Я, ваше величество,—отвечает Фердинанд Петрович,—провел там, быть может, самые красные дни своей жизни.

Аудиенция окончена.

На углу набережной Фердинанд Петрович взял извозчика. Мелкая серая поземка лизала истерзанную наводнением столицу. Улицы лихорадило. Недобрая невская вода засыпала до весны.

Ныли скрученные ревматизмом ноги, но тяжелее болезней физических был разлад душевный. Что и говорить—двадцатисемилетний лейтенант испытал себя! Друзья предсказали ему мировую известность, и государь отметил, присвоил капитанский чин, наградил Владимиром четвертой степени—казалось бы, чего лучше?! Вот он вернулся в мир, для которого употребил все свои силы, который видел мысленно, скитаясь на собаках во льдах,—и не нашел себя в этом мире.

И еще тяжесть на сердце: в последний поход, когда экспедиции с таким трудом удалось выбраться из льдов, погибла в море сумка, в которой хранилось заветное письмо и медаль матушки. И как-то сразу почувствовал Фердинанд Петрович, что кончилась его юность... С этим ощущением вернулся он в Петербург и сейчас хотел одного—чтобы правительство поскорее решило его судьбу и направило к какой-нибудь практической цели.

Извозчик миновал высокую ограду Летнего сада, Прачешный мост и завернул на набережную Фонтанки. Здесь, во флигеле дома Сперанского, жил сибирский знакомый Фердинанда Петровича—Гаврила Степанович Батеньков.

Карта России расстелена на столе. Два человека водят пальцем по твердой бумаге, мыслями они далеко...

— Главное, дело не кончено,—говорит Врангель,—еще бы год, и конец всем сомнениям. Я убежден, что к северу от мыса Якан есть что-то в океане.

— Хочешь, Фердинанд Петрович, открою тебе одну тайну,—улыбнувшись, сказал Батеньков.—По окончании съемок Оттенского болота обещаются поручить мне продолжение ваших открытий... «Где же те острова, где растет трын-трава?» Если бы знал я их, то, во-первых, учинил бы им подробную съемку. Во-вторых, вникнул бы во все приемы спряжения глаголов употребляемого на них языка. В-третьих, посеял бы на них белый лен, а в-четвертых—в-четвертых, завел бы там высший лицеум. Я смертельно устал и перемок в болоте, но все твердил про себя: «Ах, где те острова, где растет трын-трава?» У меня ведь, Фердинанд Петрович, каждый год жизни так переменяет положение, что оно совсем не похоже на прошлогоднее. Вскоре после нашей встречи в Иркутске позвали моего патрона Сперанского в столицу, здесь мы закончили прожекты, над которыми столько потрудились в Сибири, и он передал меня в Совет военных поселений Аракчееву. Теперь имею я намерение вовсе бросить службу и бежать хоть к африканским повстанцам. Штаб-поселение гренадерского полка графа Аракчеева у кого хочешь отобьет охоту служить, наблюдал я там, Фердинанд Петрович, все виды деспотизма и унижения человеческого. Нет, у меня выход один—бежать, бежать за тридевять земель к островам или в Русскую Америку куда-нибудь, бежать отсюда, где я не знаю, кто я и что хотят из меня сделать...

За полночь Фердинанд Петрович возвращался домой. Ветер стих, над Невой невесомо и бесшумно висел снег, и только на перекрестках в свете фонарей была заметна его беспокойная толчея. Дворцы на набережной стояли парадно и отрешенно, но казалось, что за черными окнами таится какая-то жизнь и чьи-то глаза с напряженным вниманием провожают одинокий экипаж.

Он никак не мог избавиться от мучительного наваждения: стоило ему, едучи куда-нибудь на колесах или полозьях, задремать, как неумолимая таинственная сила относил его назад, в прошлое. Это было как наяву: ощущение бесприютности и бесконечного пути возвращалось и он снова переживал время, переродившее его.

Прошлое услужливо. Оно всем дает крылья памяти, чтобы летать над уже проторенными дорогами.

«Предполагаемую землю уже не искать надо, а найти!..» Фердинанд Петрович показал на карте место, где уже много тысячелетий жил своей жизнью большой и прекрасный остров, до которого суждено ему было идти три года и не дойти тридцати миль...

Прошлое услужливо. Мы знаем, как кончаются его истории. Но что из того? Мы не в силах убрать ни одного камешка с пройденного пути, не в силах даже смахнуть снежинку с прежнего своего лица.

Врангель и Батеньков встретились в Петербурге на рубеже 1824 и 1825 годов. Новый год определил будущее каждого из них и лег между ними непроходимой пропастью. Даже не год, а один день в году—14 декабря.

К тому времени Фердинанд Петрович избавился от меланхолии и мучительной привычки возвращаться во сне к скитаниям во льдах. «Сильные революции», потрясшие его образ мыслей, тоже улеглись. Он получил командование над шлюпом «Кроткий» и вместе со своими друзьями по экспедиции—Федором Матюшкиным, Прокопием Козьминым и доктором Кибером—ушел в новое кругосветное плавание. Там Фердинанд Петрович почувствовал себя свободным и пришел к убеждению, что Отечество, кров и покой душевный составляет для него океан.

О событиях на Сенатской площади он услышал лишь через год, когда «Кроткий» ошвартовался в Ситхе—столице Русской Америки. Снегом на голову было сообщение, что друг его Батеньков причислен к главным деятелям восстания и приговорен к двадцати годам каторжных работ. Но подробности он узнал, только вернувшись в Петербург.

Оказалось, в дни междуцарствия Батеньков близко сошелся с Рылевым и Бестужевым, разрабатывал проект конституции и должен был стать членом будущего Верховного правления России. Через полмесяца после восстания он был в гостях и, как всегда, собрал вокруг себя толпу слушателей. Тут объявили: «Приехал фельдъегерь!»

«Господа, прощайте, это за мной»,—спокойно сказал Батеньков.

На допросах он сначала отпирался, отрицал всякое участие в тайном движении, а потом вдруг признался: «Да, да, участвовал и считаю это лучшим делом своей жизни!» По иронии судьбы Сперанский, многолетний благодетель и покровитель Гаврилы Степановича, был одним из тех, кто судил декабристов. Что же до нового царя, то он особо «отметил» Батенькова—заменял каторгу на одиночное заключение в Петропавловской крепости.

Причастность к делу восставших считалась у молодежи того времени вопросом чести, и позднее Врангель с Литке не раз вспоминали, что из всех людей их круга, собиравшихся в

Петербурге зимой 1825 года, едва ли только они двое и не попали в декабристы. Оба были коротко знакомы с главными деятелями восстания, не один вечер провели в их общест-
в...

Как бы вел себя Врангель, окажись он в Петербурге в тот декабрьский день, когда гвардейский морской экипаж вышел на Сенатскую площадь?

«Увлечение было возможным»,—признавался он в своих автобиографических записках, и не мог сказать больше

Случай сделал выбор за него. Батеньков получил одиночку, а Фердинанд Врангель—капитана второго ранга и Анну второй степени. Царь распорядился вести Фердинанда Врангеля к высшим государственным должностям. Кого—вести, кого—увести. И так—уже на всю жизнь. Теперь послужной список Фердинанда Петровича—неуклонный путь вверх, от командира корабля до морского министра, до члена Государственного совета.

Окна кабинета Врангеля смотрели на казематы Петропавловской крепости. Долгие годы о Батенькове не доносилось ни звука. А потом короткая и страшная новость—лишился разума.

Шестьдесят третий год жизни Фердинанд Петрович встретил вместе с детьми в своем доме на углу набережной Невы и Мошкова переулка. Он только что вернулся после лечения за границей и теперь готовился занять место в Государственном совете.

Трудно было бы узнать в этом сановнике, адмирале, маститом ученом рыжего лейтенанта, когда-то скитавшегося в ледовитых просторах. Недавно еще раз всколыхнулась память о тех днях, и встал перед ним образ неведомой земли в океане. Он прочел записки члена Русского Географического общества Аргентова «Северная земля» и горячо рекомендовал их к публикации. «Кряхай, Якан, Шелага и прочие благозвучные звуки отвлекли меня магической силой от дел, готовых для сегодняшнего заседания нашего Департамента»,—писал он Федору Литке.

Далеко-далеко, словно в иной жизни, видел он себя, молодого, и друзей своей юности. Мало кто из тех, кто составлял тогда, казалось, будущую славу России, остался на поверхности жизни. «Иных уж нет, а те далече...» Фердинанд Петрович и теперь признавал за этими людьми высокие умственные и душевные способности. Правда, успокоив тревожные чувства, «созрев опытностью и беспристрастием», он видел их односторонность, но ведь эта односторонность была порождена не злобой, не корыстью, а только горячим желанием выдвинуть дорогое Отечество на первый план образованного мира.

В один из январских дней, когда на улице было ветрено и

холодно, а дома от этого особенно уютно, Фердинанд Петрович просматривал утренние газеты.

Вошел слуга и доложил:

— Гаврила Степанович Батеньков. Просит принять.

Имя это не сразу дошло до сознания. А потом ослепило, рывком подняло с кресла и бросило к дверям.

В прихожей стоял сутулый седой человек в наглухо застегнутом сюртуке, с неподвижным, словно замороженным лицом.

— Батеньков!—бросился к нему Фердинанд Петрович.— Батеньков! Ты ли это?

— Я,—дрогнули губы.—Что, не узнал?

Через минуту, усадив гостя в кресло, Фердинанд Петрович взволнованно ходил по комнате.

— Господи, боже мой! Уж и не знаю, как благодарить судьбу. Шутка ли? Батеньков! Я уж и не чаял тебя увидеть. Ну, где ты, что ты?

— Я, как видишь, есмь и живу для своего возраста и положения вполне сносно. Купил домик в Калуге, обзавелся хозяйством, читаю, размышляю и с любопытством наблюдаю молодую жизнь. Так вот.

— Уж и не знаю, чем угощать тебя, Гаврила Степанович.

— А я по-прежнему вегетарианец. Вино люблю, а водки не пью.

Принесли вино. То ли оно подействовало, то ли огонь камина, но лицо Батенькова стало живее и мягче, а потемневшие глаза заблестели. Голос звучал по-прежнему медленно и глухо.

— Когда через двадцать лет отпустили меня из рavelина,—рассказывал он,—я, сняв ризы ветхого человека, очутился буквально без нитки. Я был как новорожденный. И тогда с чисто младенческим чувством прилепился я к миру, свободный от всякого опыта жизни, неспособный воссоздать даже язык. Но речь мало-помалу вернулась ко мне, и вместе с ней вернулась вся тяжесть мира. Откроюсь тебе, Фердинанд Петрович, мне терять нечего, в тюрьме я чувствовал себя иногда гораздо свободнее и счастливее, чем теперь...

И горько улыбнувшись одними губами, прибавил:—Да, мир не башмак, с ноги на сбросишь...

— Теперь я юноша, недоросль и старец, только что вставший из-под креста. Есть и выгода в таком положении, я по крайней мере могу не стеснять бывших товарищей и не стесняться ими, как бы высоко они ни забрались.

— Что ты, Гаврила Степанович! Ты и представить себе не можешь, как много для меня значишь,—сказал Врангель. В глазах у него стояли слезы.—Сибирь и ты для меня одно. А с годами я все чаще вспоминаю свою ледовую Одиссею и думаю до сих пор, что это была лучшая пора моей жизни... Большого я уже не совершил и не совершу.

— Ты сибиряк, Фердинанд Петрович. Я так тебя считаю. А Сибирь имеет чудное свойство климатизировать всех, кто в нее попадает. Стоит один раз шагнуть за Урал, тотчас и прильнет название сибиряка—надолго, на всю жизнь, хоть уезжай за море. А тебе Сибирь памятна еще и потому, что в ней ты переступил порог неизвестного. Лишь тот оправдал существование, кто хоть раз переступил этот порог... Только искали мы с тобой, Фердинанд Петрович, разные острова...

Фердинанд Врангель, из воспоминаний о Гавриле Батенькове, 60-е годы XIX века:

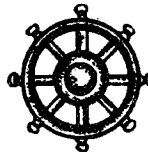
«Я давно считал своего старого друга мертвым... Ни один из нас не имел преимущества перед другим. Мы восхищались друг другом с глубокой искренностью.

Часто с того времени я смотрю на эти молчаливые казематы Петропавловской крепости, освещенные закатом, и мне кажется, что я вижу там прошедшего через тяжелые испытания друга юности, который был два десятилетия отрезан от мира, забыт людьми, но вышел победителем в долгом тяжелом бою».

14 августа 1867 года американский капитан Томас Лонг, промышлявший китов в Чукотском море, наткнулся на неизвестный берег.

Обнародовав свое открытие, Лонг сказал: «Первое сведение о существовании найденной земли было сообщено образованному миру лейтенантом русского флота Фердинандом Врангелем... Я назвал ее Врангелевой землей, желая этим принести должную дань человеку, который еще сорок пять лет назад доказал, что полярное море открыто».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



Сколько раз дорога уводила тебя на Север, пора бы привыкнуть, но нет— снова поражает скоростной воздушный перенос из одного времени года в другое, снова ты полон ожиданием небывалого. «Высокие широты» не только географическое понятие, есть в этих словах нечто возвышающее дух.

И вот ты пересекаешь параллели и меридианы в железной птице, передвигаешь стрелки часов, чтобы угнаться за вдруг зашпешившим временем, и видишь, как меняются пейзаж, воздух, одежда и речь людей, меняются даже стиль их отношений и тип внешности.

Только что Москва проводила весенней акварелью, солнечным теплом, первой зеленью, а ты уже выходишь в таежном аэропорту, утонувшем среди глубоких снегов, которые чуть-чуть тронули проталины. И местные пушистые лайки встречают и провожают самолет—верная примета Севера. Но минуло еще несколько часов—и это уже в прошлом.

Маленький, освищенный пургами и продубленный морозом поселок на берегу Ледовитого, обжигающая скулы поземка, абсолютная власть зимы. Сугробы—на уровне

крыш. Под одной из них — гостиница. Исчезли просто пассажиры, остались только «свои», испытанные северяне — летчики, зимовщики, экспедиционники. Общность судьбы — пути многих из них уже не раз пересекались, народ сбивается в кучки. Шутки, байки, воспоминания.

И первые вести с самого «высокого» Севера — с островов и дрейфующих станций...

До сих пор он жил, как десятки других собак поселка: рыскал в поисках куска моржатины и оленьей кости, облаивал или обнюхивал прохожего, ждал, не перепадет ли чего, а в полнолуние или перед сильной пургой присоединялся к сводному песьему хору. Не то чтобы у него не было хозяина — было, даже два, и каждый старался переманить его на свою сторону, но пес никого не признавал. Грех, конечно, жаловаться, жил не хуже других. Обычная собачья жизнь. И все же чего-то не хватало, что-то тревожило — быть может, внутренний голос нашептывал ему, что все-таки есть иная жизнь, более стоящая и прекрасная...

Надо сказать, пес был неунывающего нрава, к тому же молод — ему исполнился год. Он никогда не уходил далеко от поселка, лишь раз нюхал след медведя и, как рассказывают, бросился было в погоню, но его не пустили. Выглядел он образцово: красивой рыжей масти, крупный, уши торчком и хвост серпом. Слегка удивляло только имя, необычное для чукотской лайки, — Барон.

Когда мы попросили его у одного из хозяев, чтобы взять с собой в горы на время экспедиции, тот сразу согласился. И пес не колебался: спокойно дал надеть на себя ошейник и увести. Перед отлетом он повертел головой, словно слегка раздумывая, потом решительно прыгнул в темное нутро вертолета.

Экспедиция эта замыкала цепь многолетних исследований белого медведя на острове Врангеля. Когда мы улетели, в одной из газет появилась заметка, где сообщалось, что мы... «поможем медведицам вывести потомство». Хотел бы я посмотреть на человека, который возьмет на себя роль медвежьей повитухи!

Самый крупный из наземных хищников крайне «нелюдим» и редок (по приблизительным подсчетам, в наши дни на Земле обитает не более двадцати тысяч этих животных). Для ученых белый медведь — интереснейшая «биологическая модель», таящая в себе множество загадок. Мы мало знаем еще о механизме ориентировки медведей во льдах, удивительной способности жить в чрезвычайно суровых условиях, сохранять жизненные ресурсы во время многомесячного пребывания в берлоге и в периоды голодовок. Хватает «белых пятен» и в поведении зверя. Как, например, относится он к человеку?

Обычно люди, которые встречались с белым медведем, делятся на две противоположные категории: одни утверждают, что этот зверь необычайно свиреп, кровожаден, другие, наоборот, говорят, что он миролюбив и если нападает на человека, то лишь вынужденно, в целях обороны. И первые, и вторые, видимо, считают, что у медведя какое-то твердое, устоявшееся отношение к человеку, стереотип поведения. Но в том-то и дело, что это не так!

В животном мире Арктики медведь, по-моему, занимает исключительное место. Он не имеет ни врагов, ни друзей, ни соперников. И всех живых существ делит на тех, кто может служить ему добычей, и тех, за кем он обычно не охотится. С людьми этот зверь встречается так редко, что человек для него в большинстве случаев еще новость. Поэтому поведение зверя труднопредсказуемо, иногда ему, может быть, не меньше человека интересно, что за существо перед ним. Ведем мы себя, с точки зрения медведя, должно быть, странно, передвигаемся и пахнем необычно... Хорошо, если любопытство его не окажется сильным и он не попытается «детально» обследовать вас, но, уж коль это случится, ничего хорошего ждать не приходится. Тогда медведь действительно даст повод для рассказа о его кровожадности. Если, конечно, вы вовремя не унесете ноги...

Медведи, как и люди, неодинаковы, у каждого свой характер, свои особенности поведения. И берлоги, которые они устраивают, тоже разные: бывают настоящие «хоромы», с двумя камерами, длинным коридором и боковыми ходами, бывают примитивные, короткие и тесные; иногда медвежата, пробуя когти, выцарапывают себе «детскую», а медведица использует вторую камеру как «туалет». Был случай, когда рядом находившиеся берлоги сообщались между собой и звери могли ходить друг к другу «в гости»... Каждую весну мы осматривали и обмеряли на Дрем-Хеде по нескольку десятков медвежьих убежищ и не встретили среди них двух совершенно одинаковых.

И вот мы опять в горах с таинственным названием Дрем-Хед. Вертолет окатил нас на прощание снежным душем и исчез. Мы остались одни: четыре человека и собака.

Совершенная тишина — до звона в ушах — обступила нас: молчало небо, высокое, аккуратно запроваженное за горизонт, скрепленное огромным сургучом солнца, молчала спеленутая сверкающим снегом земля, молчало вдали изрезанное торосами, скованное льдом море. Беззвучная громада облаков над ним изображала землю обетованную. Кое-где висел морозный туман, испарялся снег, в этих наплывах вспыхивали обрывки радуги — такое часто бывает здесь в начале марта.

Избушка наша в долине Гномов еле виднелась из-под сугроба, наметенного у подножия склона. Пока мы откапывали ее и перетаскивали снаряжение, Барон обегал все вокруг и вернулся недоумевающий: куда он попал? Ни следа, ни запаха. Оборудовав себе жилье, мы и ему вырыли удобную нору—на случай пурги и сильных морозов, однако он устроился недалеко от порога, на снежном взгорке, свернувшись по обычаю северных лаек крендельком.

Больше всего поражает в Арктике простор, распаханность пространства. Земля белая, но не одноцветная: отблески неба окрашивают снег во всевозможные живые тона, полутона, четвертьтона...

Закат. Горы заалели, потом стали нежно-розовыми, подернулись сединой. Снизу наливается холодная синева. На западе, над перевалом, небо еще подсвечено и прозрачно, горная гряда непроницаемо черна, выделяется резко, отчетливо.

А с востока уже за клубилась сиреневая мгла—ничего не разглядишь в ней, проблескивают только самые крупные звезды. И вдруг мощный купол света опрокидывается из зенита, бахрому его полощется, как от ветра, стенки из зеленого ливня ходят ходуном. Полярное сияние...

Мороз загоняет под крышу. Но через несколько минут не выдерживаем, выходим опять. Световой шатер переливается малиновым и тускнеет, а на смену бьет из-за горизонта ярко-зеленый луч...

Так меняется ночь, с каждым часом переходя свои рубежи. Забытое чувство возвращается к тебе—космос у твоего порога... Не это ли ощущение, закрепившись в памяти, снова и снова зовет человека на самый Крайний, еще пустынный Север?

Ведь это просто необходимо—когда-то очнуться от привычной городской будничности, хоть ненадолго побыть наедине с природой, перевести дыхание, взглянуть на мир шире и обрести новые силы, открыть в себе тайники, о которых прежде не подозревал.

Вот рядом уютно посапывает в спальнике мой приятель—зоолог. Я давно заметил, что в нем уживаются два человека. Одного я встречаю в Москве—бледного, забегавшегося, вечно не успевающего, рассеянного—на ногу себе наступит и извинится. Таким он становится, едва попадает в городскую толчею и давку и, по его словам, чувствует себя так же, как звери, которых он изучает, в зоопарке.

Но стоит ему отправиться в экспедицию, в «поле», и он преображается: вместе с загаром, аппетитом и рыжей бородой к нему возвращается и сила, и уверенность в себе, и хозяйское отношение к жизни. И теперь на Дрем-Хеде с нами второе «я» моего приятеля, разве что очки напоминают в нем городского интеллигента...

Утром разбудил Барон—он заглядывал в тусклое оконце и царапал стекло лапой: пора, мол, вставать, лежебоки, впереди трудный день! Позавтракав, мы отправились в первый разведывательный маршрут, на поиски берлог.

С перевала Дрем-Хед открылся весь—от каменистых, черных, замороженных вершин до мягких, сглаженных ветрами распадков. Окруженный с двух сторон низкой пологой тундры, а с двух других—морем, он возвышался в пустынном пространстве в оранжевом мареве, как средневековый, засыпанный белым песком, давно вымерший город. Но жизнь здесь была. Мы знали, что на этих склонах и террасах под покровом снега лежат и даже передвигаются большие, сильные звери, а рядом с ними—их дети.

Звери есть, но где? Пока матуха не вскрыла свое убежище, обнаружить ее почти невозможно. Если, конечно, не провалишься в какую-нибудь берлогу с очень тонким потолком.

Целый день бродили мы по горам, отмечая мало-мальски подозрительные места, но ничего не нашли. Все это время Барон сновал челноком, поперечными галсами, успевал и обследовать склоны, и навестить каждого из нас—лихо, с разбегу бросался на грудь: как, мол, порядок? Пошли дальше? Его морда покрылась светлой опушкой инея, на крутых обледеневших скатах лапы скользили и заплетались—не раз он кубарем летел вниз.

Уже на обратном пути мы услышали громкий призывный лай. Барон крутился и прыгал вокруг одной точки, разрывая лапами снег, совал в него морду и тут же отскакивал, словно подброшенный. Подойдя ближе, мы расслышали приглушенное грозное шипение...

Так дальше и пошло. Почти каждый день наш разведчик обнаруживал новые подснежные логова. Теперь нам чаще стали попадаться на склонах темные округлые дыры—это означало, что настал срок медведицам выводить малышей на свет.

Руководитель экспедиции Станислав Беликов объявил: начинаем мечение. Состоялся «военный совет»: распределили обязанности, обговорили возможные неожиданности, приготовили снаряжение. Не последняя роль в наших расчетах отводилась Барону.

Для начала мы выбрали очень удобную берлогу—недалеко от избушки, на невысоком пологом склоне. Все шло строго по плану. Барон лаем дает понять, что берлога обитаема. Один из нас, взяв лопату, осторожно приближается к отверстию и забрасывает его снегом. Другой стоит рядом с ружьем, заряженным «летающим шприцем», в шприце—специальный препарат парализующего действия. Еще двое—с карабином и ракетницей—поодаль, на страховке.

И все бы хорошо, если бы не Барон. Слишком уж он усердствовал: заскакивал в берлогу, а потом стремительно, задом вылетал из нее и, конечно, разбрасывал тот самый снег, которым мы пытались закупорить отверстие. Отвести бы его, но куда? Вот проблема! Наконец укрепили у подножия горы шест и привязали собаку к нему.

Снова «запечатываем» берлогу. Теперь надо открыть ее, но уже в нужном для нас месте. Шупаем наст длинной пикой, пока она не проваливается в пустоту, тут и долбим щель. Потолок достаточно толст, так что медведица не выскочит наружу. Из берлоги бьет спертый звериный запах, мы видим под собой три черные точки—нос и глаза медведицы, и стоит ей повернуться, как шприц с красным хвостиком уже торчит в ее боку.

Десять минут ожидания, пока препарат подействует,—и мы раскапываем берлогу. Когда медведица лежит обездвиженная, в ее позе, мохнатых «штанах», широких разжатых лапах есть что-то трогательное: кажется, это человек силой злых чар превратился в зверя. И мается он в звериной шкуре, и тяжело ему, да ничего не поделаешь... Чуть дальше из темного лаза выглядывают два пушистых шара—медвежата.

Мы спешим, через час медведица придет в себя, а дел невпроворот: надо поставить на уши всем троим метки, обмерить зверей и берлогу, взвесить малышей.

Рождаются они размером не больше котенка, глухие и слепые. Теперь перед нами—трех-четырёхмесячные зверята, они уже обросли плотным слоем белоснежной скользкой шерсти, налились силой и весить могут килограммов пятнадцать, справиться с ними непросто. Мы заметили, что, если у медведицы один детеныш, он обычно злее и капризнее, чем когда у него есть брат или сестра. Однако и этих добродушными не назовешь: стоило протянуть к ним руки, как они начали отбиваться, кусаться и пронзительно верещать. Такого Барон уже не мог выдержать, обида захлестнула его. Как?! Искать и добывать вместе, а плоды труда вкушать без него? Он сорвался с привязи и, нервно дрожа, махнул к нам, в берлогу. Пришлось водворить его на место. Но через минуту он сорвался снова, и так повторялось несколько раз.

Медвежата, устав рычать и кусаться, подчиняются силе и начинают жаловаться, плакать, откровенно и обиженно. Мать рядом—тычутся в нее, но она недвижна, непонятно, что с ней, остается спрятаться в угол берлоги, прижаться друг к другу и уснуть, забыться. Они не знают, что скоро, совсем скоро мать придет в себя, накормит, согреет, успокоит, и все будет хорошо...

Однажды телезрители увидели на экранах кадры, снятые на острове Врангеля: медведицу и рядом кучу медвежат. Кадры были сенсационные. Диктор пояснил: «Белые медве-

дицы рожают одного-двух медвежат, редко—трех. А вот сейчас вы видите мать четырех медвежат...»

На самом деле все было иначе и куда интереснее.

Как обычно, утром собирались в маршрут. И вдруг кто-то заметил из окошка балка: бегут по ложбине два медвежонка без матери. Они были такими тощими и слабыми, что ветер, казалось, катил их, а следом, уже чуя поживу, неотступно шел песец. Видимо, у матери пропало молоко и она покинула детенышей, или случилось что-нибудь другое, но, так или иначе, они стали сиротами.

Медвежат подобрали, занесли в балок, накормили сгущенкой. Но они ребята прожорливые—быстро подмели все запасы молока. И тогда встал вопрос: что с ними делать? Наша пища не для них, груднички как-никак, вертолет будет не скоро, радиосвязи с поселком в тот момент не было. Целый вечер думали, даже поссорились (ни в одной книге такой случай не описан), пока приняли наконец решение: подбросить сирот другой медведице. Риск был, конечно, велик. Но что оставалось делать? Этот вынужденный эксперимент был для медвежат единственным шансом на спасение.

Посадили их в рюкзаки и отправились в горы.

Медведица, выбранная в приемные матери, была снаружи берлоги и, заслышав визг чужих медвежат, сразу бросилась на этот звук. Уже на ходу, улепетывая, вытряхивали их из рюкзаков. А медведица подбежала к ним, остановилась... Замерли и люди: что будет? А потом матуха обнюхала подкидышей, повалилась, те устроились у ее брюха, к ним присоединились еще двое, своих, родных медвежат—сосков много, хватит на всех!—и начали есть...

И тут на время медведица будто вовсе перестала замечать людей, так была поглощена кормлением. Инстинкт материнства оказался сильнее и агрессивности, и страха.

Тогда-то Кормилица—такое имя получила эта медведица—и стала кинозвездой. Работавшая на Дрем-Хеде киноплеменщица снимала ее почти в упор. Вот только непонятно, почему при показе фильма преподнесла зрителям небылицу.

«Из восточной части Арктики надвигается циклон, который распространится на весь полярный бассейн. На острове Врангеля пурга. В ближайшие сутки...» Радио захрипело и смолкло, как будто это ветер «нетерпеливой рукой» оборвал хрупкую нить, связывающую нас с Большой землей.

Три дня пурга сотрясает избушку: то вдавливаются в окно, то ломится в дверь, то катаются по крыше, то шарит по стене, пытается отыскать щель. Окошко, в котором вначале цвело диковинное мохнатое растение, покрылось непроницаемым слоем льда. Ночью, когда печка не топится, не раз проснешься от холода—то спина мерзнет, то плечи. Если бы

энергию озноба использовать в хозяйстве, от нас могла бы работать целая электростанция!

Самое утомительное на свете—это бездействие. Из всех дел нам теперь осталось только откапывать дверь избушки, чтобы не занесло окончательно. Март—месяц подснежников, и, должно быть, недурно под щебет птиц нести сейчас кому-то эти цветы, вместо того чтобы самим превращаться в «подснежники», изрядно закопченные и помятые.

Наконец пурга выдохлась. Наступила тихая, ясная ночь. Я установил на крыше избушки подзорную трубу и принялся разглядывать небо.

Луна не вмещалась со всеми своими морями и цирками в окуляр и была так близко, что казалась продолжением врангелевских гор. На западе, как всегда, Марс гнался за Венерой, и если Венера была похожа на пламя свечи, то Марс весь искрился далеким фейерверком. На востоке загадочно мерцал Арктур.

А вот север. Почти над самой головой опрокинулся ковш Большой Медведицы. И из него выпала та точка неба, вокруг которой вращается вся небесная сфера,—Полярная звезда.

Древние греки называли самое яркое северное созвездие Большой Медведицей, а таинственный край, лежащий под ним,—«Арктос». Они сочинили о Большой Медведице грустную сказку.

Когда-то в полях, лесных чащах и горных ущельях жили волшебные девушки—нимфы. Предводительствовала сама богиня плодородия и охоты Артемида. Особенно любила Артемида нимфу Каллисто и целыми днями носилась вместе с ней по окрестностям: приводила усталых путников к свежим источникам, находила скоту сочные и сладкие пастбища, лечила диких зверей и нежно заботилась об их детенышах, сажала на заброшенных могилах цветы. А ночью, при луне, нимфы вставали в круг и танцевали до самой зари.

Люди очень любили нимф и благодарили их, как могли: солдат, возвращаясь из похода, жертвовал им шлем или копье, путешественник вешал шляпу на дерево, рыбак оставлял рыбу, крестьянин приносил первый плод земли и первый приплод от стада—виноградные гроздья и мед, коз и ягнят. А невесты перед свадьбой дарили нимфам свои детские игрушки.

Так жила Каллисто до того злополучного дня, когда ее увидел бог богов—великий и могучий Зевс. Зевс случайно встретился с нимфой в лесу и, конечно, тут же влюбился. Но любовь богов никогда не приносила счастья смертным. Ослепленная ревностью Гера превратила Каллисто в огромного страшного зверя—медведицу. Увидев, что его возлюбленная ходит на четырех лапах и громко рычит, Зевс содрогнулся и, чтобы как-то загладить свою вину, даровал ей бессмертие и вознес на небо. С тех пор и сияет над нами

вечным блеском созвездие Большой Медведицы.

А что же происходило на земле? Человек, обживая планету, пришел в страну белых медведей. Не поздоровилось им от этой встречи. Белоснежные шкуры появились в королевских покоях и у церковных алтарей, упали под ноги как знак высшей охотничьей доблести. И не осталось места на земле, куда бы мог спрятаться от человека белый медведь. Стало ясно, что, если так пойдет дальше, эти звери вообще исчезнут, как исчезли многие другие, еще более беззащитные и редкие.

Нашлись люди, которые забили тревогу. Сначала их было немного, и они казались чудаками. Но вот целая страна встала на защиту белых медведей—с 1956 года охота на этих животных в Советской Арктике запрещена. Примеру нашей страны со временем последовали и другие страны, белый медведь был внесен в Международную Красную книгу.

Появилась надежда, что люди не уподобятся жестоким древним богам и не переселят этих зверей с земли на небо.

Близкое знакомство с медведицами, а главное, наша видимая власть над ними прибавили Барону азарта. Он с утра рвался в маршрут, торопил нас, лая, подталкивая носом, всегда бежал впереди. Чувствовал: он нужен. Эта жизнь, опасная и захватывающая, явно была ему по душе. Домой он возвращался усталый, как и мы, но гордый, умиротворенный и с достоинством принимал еду, понимая, что заработал.

Все шло нормально до встречи с Толстухой—так называли мы одну крупную, жирную, совершенно круглую медведицу. Настроена она была не в пример прочим весьма решительно. Она и не думала прятаться! Еще на подходе к берлоге мы могли наблюдать, как Толстуха и Барон «играют»: он наскакивает, а она пытается достать его то одной, то другой лапой, потом плавно выжимается из берлоги, делает несколько стремительных бросков, шерсть на холке дыбом, и снова втягивается, «утекает» в берлогу. Вот тебе и Толстуха!

Нас она вовсе не испугалась, встретила, высунувшись из берлоги по грудь и клацая зубами. Что делать? Не успели мы подумать, раздался отчаянный визг—Барон, поджав хвост, покатился к нашим ногам. Из задней ляжки у него капала кровь. Рана была пустяковая, но мы решили дать медведице успокоиться и ретировались.

Немного утешила Барона игра с лепешкой, которую Толстуха оставила снаружи. Он грыз ее, подкидывал, катался, кувырчался—видимо, праздновал свою воображаемую победу над врагом.

А впереди у него была новая встреча—с овцебыками...

В апреле 1975 года из Америки в сторону Чукотки летел самолет. На его борту находились необычные пассажиры—

бородатые, невозмутимые, массивного телосложения, в лохматых темно-коричневых шубах до пола, некоторые с широкими рогами; сбегаящими вдоль головы и круто завитыми на концах. Это были овцебыки, или мускусные быки. Спустя тысячелетия они возвращались на землю, где когда-то жили.

Овцебыки — современники мамонтов, но в отличие от них, к счастью, не вымерли. Ученые решили провести опыт реакклиматизации этих животных: одну партию завезли на Таймыр, другую — на остров Врангеля. «Таймырцы» успешно прижились, а вот о «врангелевцах» мало что было известно. После того как их выпустили у реки Мамонтовой, они разделились на три независимые группы и разбрелись по горам и долам острова. Первые годы за ними следили и даже как будто видели новорожденных телят, но потом овцебыки исчезли.

Целы они, сумели приспособиться? Предстояло ответить и на эти вопросы. Наш воздушный экспедиционный отряд уже искал овцебыков, но мы, сидя на Дрем-Хеде, толком ничего не знали. И тут они сами пришли к нам. В ясное апрельское утро, когда уже ощутимо пригревало солнце, ничего не подозревая, взбирались мы по высокой террасе, обращенной к морю, и внезапно увидели на ровной прибрежной полосе, в километре от себя, какое-то бурое пятно. Подняли бинокли: овцебыки! Они лежали, похожие на каменные изваяния, четыре взрослых животных и один теленок. Это была важная новость — если овцебыки размножаются, значит, они прижились на острове.

Но вот они зашевелились, встали и быстро перестроились в тесную боевую группу: крупные самцы впереди, телки и малыш — сзади. Прямо на них очертя голову несся Барон. Выходит, он еще раньше нас заметил гостей и, конечно, помчался знакомиться. В нескольких шагах от стада пес, взвихрив снег, затормозил, и мы услышали его лающее приветствие. В ответ передний бык нагнул рога и бросился на Барона. Древняя схема отношений овцебыка с волком была разыграна как по нотам. Барон пустился наутек. Пробежав метров тридцать, бык резко остановился, помедлил несколько секунд, потом галопом вернулся в строй. Но пес уже мчал за ним по пятам. Все повторилось, на этот раз бык отогнал собаку еще дальше. Тогда Барон изменил тактику, он забегал к стаду то с одной, то с другой стороны — безуспешно: овцебыки мгновенно перестраивались и посылали в атаку одного из самцов. Они были неуязвимы.

Барон возобновлял попытки знакомства, пока окончательно не выбился из сил и не махнул хвостом на всю эту затею. Он тихонько затрусил в нашу сторону.

А назавтра овцебыков и след простыл. В ложбине, где они паслись, зыбились над снегом только редкие колоски мытника да проглядывали кое-где на кочках листья нордос-

мии, которые, как говорят, очень любят животные.

Когда Толстухи и рога овцебыков не образумили Барона. Он крутился под самым носом у медведиц, залезал в берлоги и лаял там — словом, по-прежнему вел себя бесшабашно. Пока не случилось событие, которое круто изменило его отношение к медведям.

В тот день занялась поземка и быстро перешла в низовую метель. Гуляли высокие вихревые столбы, Барон удивленно на них поглядывал, иногда пускался вдогонку.

На самом верху крутого распадка набрели на берлогу. Хозяйка на месте. Без особого труда забросали устье, начали долбить окошко. Пес подскочил к отверстию и сунул туда нос. И вдруг его не стало, только что стоял здесь, перед глазами, и вдруг исчез. Из-под снега донеслись отчаянный визг, урчание матухи, и все стихло.

Мы замерли. Несколько секунд не могли вымолвить ни слова. Потом кто-то сказал:

— Кажется, мы потеряли Барона...

Бросаемся пробивать потолок. Скорее, скорее! Разрываю пошире дыру, Стас стреляет... Осечка... Пока он проверяет ружье, — ох как долго копается! — дразню матуху пикой, чтобы отвлечь от Барона. В метре от меня глаза медведицы, пытаюсь прочесть в них что-нибудь и вижу злобу, ярость — эта спуска не даст. И урчит глухо, будто перекачивается вдалеке гром.

Еще выстрел — в этот раз шприц попал, медведица опускает нос, становится вялой — действовало. Хватаемся за лопаты. Прежде всего расчистить устье — там Барон. Вскоре мы натываемся на собаку: лежит неглубоко, головой внутрь берлоги и не движется. Мертвая?

— Барон! Барон!

Пес выползает медленно, не отрывая взгляда от лежащей медведицы, как загнипнотизированный. Видимо, в шоке. Его начинает бить дрожь. Глаз залит кровью. Выбит? Счищаем кровь: цел. Разорвана губа, и на спине рана.

Но расправиться с ним она не успела. На счастье, наша пика вошла в берлогу прямо над медвежатами, и мать бросилась спасать их. Она крутилась в берлоге то к нам, то к Барону, мы казались опаснее — пес-то уж куда бы от нее не делся. Он лежал, заваленный сверху снегом, а поворачиваться боялся. Барон оказался в ловушке у матухи, а она в ловушке у нас. Дома мы устроили Барона в тамбуре, в большом сухом ящике. Рядом положили ломтики мягкого мяса, но он есть не стал, свернулся в клубок и затих.

С этого дня наш пес потерял всякий интерес к медведям. Из ящика он вылез, но все время лежал около избушки, вялый и грустный, почти не ел, на ласку не отзывался, только поднимал голову и глядел куда-то в сторону тусклым

ми глазами. С нами он больше не ходил, да мы и не принуждали — пусть поправляется! Невольную вину чувствовали перед ним — как-никак пострадал-то из-за нас. Оживился он только, когда на Дрем-Хед сел вертолет, доставивший нам почту и провизию. Пес побежал к вертолету и пытался забраться в него...

Шли дни. Барон уже совсем поправился, раны зарубцевались, глаза повеселели. Он далеко провожал нас и встречал радостным лаем — скучал один. Однажды не выдержал, увязался за нами, но, пока мы работали, сидел в сторонке, нарочито равнодушно наблюдал. Потом подошел ближе, хотя держался позади всех и не выдавал себя, помалкивал.

А еще через несколько дней как-то незаметно втянулся в работу. И мы увидели прежнего Барона. Тот, да не тот! На смену безудержной «мальчишеской» храбрости пришла разумная осторожность, в движениях появились гибкость, неторопливость, в глазах — опытность. Наш пес прошел на Дрем-Хеде хорошую школу жизни.

...Нет, не по календарю приходит в Арктику весна! Еще недвижим снег, холод прежний, все, как зимой, но вдруг в воздухе что-то дрогнуло, затрепетало: маленькая серо-белая птичка над головой. Пуночка! Ты жадно ловишь ее глазами и переполняешься радостью, потому что она — первая, безобманная весть о том, что весна добралась до этих мест.

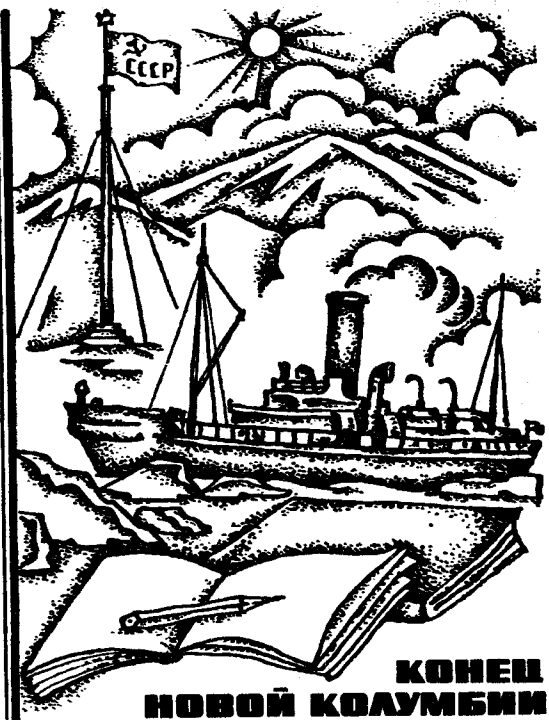
Так однажды пуночка, сев на крышу избушки, приветствовала нас своим «Чи? Чи?». И сразу погода переломилась: задул легкий южный ветерок, солнце потеплело, и мы заметили, что в низинах, на голых участках почвы распушились почки карликовых ив. Крохотными беззащитными зверьками казались они среди черных камней и белых сугробов.

Работа была закончена, мы ждали вездехода. В последний раз пошли прогуляться с Бароном. Дрем-Хед опустел, все медведицы уже увели своих медвежат в морские льды. Пес крутил головой по сторонам, часто разрывал наст — чуял и искал леммингов. Наткнулся на медвежью покопку, забрался в нее и долго не хотел уходить. Я привалился рядом.

Просыпаюсь от шершавого собачьего языка — Барон лежит лицо. Завздыхал под рукой, неровно, со всхлипываниями. Потом вскочил, встряхнулся и выжидательно уставился: что будем делать? В поселок Барон вернулся знаменитым. Мы не привлекали особого внимания — к экспедиционникам здесь привыкли, все взоры были обращены на него. «Тот самый... — слышались голоса. — Побывал в медвежьем плену... Нашел овцебыков». Стало ясно, что пес, как шерстью, оброс легендами.

Теперь я часто вспоминаю Барона. Как живется ему там, на далеком полярном острове? Что поделявает? Дерется ли с другими собаками за прожиточный минимум или отправился в новую экспедицию?

ЧЕТВЕРТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ



КОНЕЦ НОВОЙ КОЛУМБИИ

«...Он лежит в 83 милях от материковой части Сибири. Удобное местечко, чтобы посадить здесь какого-нибудь демагога с бакенбардами, который через дрейфующие льды выступал бы с нападками на Советский Союз».

Это было напечатано совсем недавно, в 1981 году, в газете «Вашингтон пост». «Стратегическая ценность острова неоспорима, — раскрывал карты автор — журналист Джек Андерсон. — Отобрав остров у русских, Рейган мог бы гарантировать себе место в истории...»

А вот публикация еще более свежая. 1986 год, агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл: «Группа сенаторов штата Аляска заявила о правах этого штата на остров Врангеля... В резолюции, внесенной на рассмотрение сената штата, законодатели призвали губернатора обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба от правительства Соединенных Штатов за то, что оно уступило эту территорию Советскому Союзу в 1924 году».

Вот так... Старая песенка! Цель этой провокационной возни вокруг острова предельно ясна: накалить отношения между СССР и США, подрвать доверие между ними.

Тем более важно сегодня знать правду об истории острова.

На крутом берегу его, обращенном к проливу Лонга, высится мачта с советским Государственным флагом, поднятым в 1924 году специальной экспедицией, которой руководил мореплаватель и ученый, гидрограф Борис Владимирович Давыдов. Это плавание—одно из самых героических в истории полярных экспедиций. Но известно о нем до последнего времени было не так уж много, а о руководителе ледового похода Давыдове—почти совсем ничего, только самые общие биографические сведения...

И опять круговерть сборов в дорогу, в новое путешествие во времени: архивы, телефонные звонки, переписка, встречи с людьми. Оказывается, живы родственники Давыдова, некоторые участники Особой гидрографической экспедиции. Восстановить события помогли и появившиеся недавно за рубежом публикации, которые проливают свет на историю борьбы за остров Врангеля.

И все же в скопившихся фактах не доставало чего-то очень важного—какого-то более живого свидетельства... Но вдруг—телефонный звонок: внук Давыдова, Борис Михайлович, разбирая семейный архив, обнаружил дневники деда, те самые, в которых он вел хронику своего плавания, ставшего историческим. Большие кожаные тетради, исписанные аккуратным почерком, карандашом. И где нашел—в кладовке, на дне старого сундука!.. Совсем как в приключенческих романах!

И вот эти тетради передо мной. В одной из них на первой странице—надпись: «Год 1924-й, 20 июля...»

ТЕЛЕГРАММА

Навигационное ограждение вод Амурского лимана уже заканчивалось, когда Давыдова вдруг вызвали во Владивосток к командующему флотом Селитренникову.

— Очень ждем вас, Борис Владимирович,—обрадовался командующий, когда Давыдов явился к нему.—Получена срочная телеграмма из Москвы. Мы должны снарядить Особую гидрографическую экспедицию. Куда бы вы думали? На остров Врангеля!

Он взял со стола папиросу, окутал себя облаком дыма и, подойдя к стене, привычным жестом отдернул шторку перед картой.

— Уже третий год иностранцы хозяйничают на острове и не думают оттуда убираться. Дипломатические переговоры пока ни к чему не привели. Так вот, надо доказать, что мы в состоянии охранять свои государственные границы. Экспедиция должна подтвердить наши права на остров и поднять там

советский флаг. Вы, Борис Владимирович, единственный человек, которому можно поручить это дело.

— На чем идти?—спросил Давыдов.

— На «Надежном».

— «Надежный»?—Давыдов поперхнулся.—Вы серьезно, товарищ командующий? Да это же брандвахта! Он и строился специально для работы в порту. Запаса угля у него на восемь дней. Восемь дней—и Ледовитый океан! Нет, «Надежный» не годится!

— Это единственное ледокольное судно, которое у нас есть, послать больше нечего,—сказал командующий и, видя, что Давыдов все еще сомневается, предложил:—Давайте встретимся завтра. Подумайте, взвесьте все. Учтите только, если иностранцы в этом году еще раз высадутся на острове, отстоять его будет куда труднее. Дальревком обещает всех поднять на ноги, сделать все возможное для этого дела. Идти на остров необходимо. Необходимо!

Было уже поздно, когда Борис Владимирович вышел из штаба, но город, казалось, только сейчас и начинал жить в полную силу. В центре все пестрело, все кричало и спешило: и праздная толпа, и извозчики, грохочущие по наклонным мостовым, и даже стены домов, сплошь залепленные афишами и объявлениями (как мыльные пузыри, возникали и лопались акционерные общества, распродалось с торгов имущество уехавших за границу «бывших», спешно менялись фамилии, молодежный клуб приглашал на диспут о свободной любви). Рестораны, ларьки, бары работали до поздней ночи.

На набережной от ветра, тянувшего с моря, голова сразу посвежела. Сколько раз прощался он на этом пятачке земли, сколько раз сюда возвращался! Да с девятьсот десятого почти каждый год. И всегда желают одного и того же—«легкого плавания», и не было у него ни одного легкого плавания...

Уже около своего дома Давыдов с удивлением обнаружил, что он, собственно, решил—плыть! Сейчас все казалось возможным. Если нажать, Дальзавод отремонтирует судно ударным темпом, а уголь для бункеровки в пути можно заранее забросить в Петропавловск и бухту Провидения. На следующий день он дал согласие возглавить экспедицию.

КАПИТАН

Быть капитаном—это не профессия, это судьба.

Сколько Борис Давыдов помнил себя, столько помнил и море. Он родился на Васильевском острове в Петербурге, в семье штурмана дальнего плавания. Раковины, якоря, попутный ветер в вантах, огни чужих далеких городов, невозмущенный

мые адмиралы и счастливые юнги, бутылки с записками и «Летучие голландцы» — этот «волшебный сундук» морской романтики был у него с детства.

Мать (отца тогда уже не было в живых) определила двенадцатилетнего Бориса в Морской кадетский корпус — «колыбель флота», из стен которого за двести лет существования вышли все лучшие русские мореходы.

В мае 1901 года Борис Давыдов окончил корпус. Ему было присвоено звание мичмана и вручена Нахимовская премия, которой награждались выпускники, проявившие особую одаренность. И скоро простился с родными: минный заградитель «Амур», куда его назначили служить, отправился в далекое плавание в Порт-Артур, на укрепление Тихоокеанской эскадры.

А потом была война с японцами. Давыдов пережил всю осаду Порт-Артура, будучи старшим штурманом сначала на «Амуре», потом на крейсере «Паллада». Вместе с командиром «Амура», капитаном второго ранга Ивановым, молодой офицер составил дерзкий план минных заграждений и поставил их под самым носом у вражеской эскадры. В результате были потоплены два броненосца противника. Операции «Амура» вошли славной страницей в историю русского флота, они были едва ли не единственным успехом наших моряков в той несчастной войне.

Когда генералы-предатели сдали Порт-Артур, Давыдов, как и другие патриотически настроенные офицеры, чтобы разделить участь своих матросов, добровольно пошел в плен к японцам. Заглянув смерти в глаза, он возненавидел войну, научившись убивать, понял — это не его специальность. Воевал он храбро, получил несколько орденов, но не мечтал стать адмиралом. Его тянуло другое... «Как нужна флоту, — думал он, — настоящая подробная научная опись морей и побережий, в особенности дальневосточных! Мы вышли к Тихому океану более двух с половиной веков назад, а до сих пор не имеем ни хороших современных карт, ни надежных лоций...»

Кончилась война, пленных отправили в Россию. Давыдов снова в Петербурге — он слушатель гидрографического отделения Морской академии. Два года напряженной работы, книги, приборы, лекции. Еще два года в Пулковке — практические занятия по астрономии и геодезии. Здесь Давыдов провел свое первое научное исследование — разработал новый метод определения долгот по азимутам Луны, который давал возможность морякам легче и точнее найти свое местонахождение при плавании в высоких широтах Арктики. Почему в Арктике? Ближайшее будущее Давыдова уже определилось: он был включен в состав готовящейся с большим размахом Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.

Говорят, все, что нужно моряку, — это свой берег и чтобы любимая ждала на берегу. Давыдов встретил такую женщину, — встретил, чтобы всю жизнь расставаться. Ее звали Верой. Весной 1910 года Борис Владимирович простился с молодой женой и отправился во Владивосток, где снаряжалась его экспедиция. Вскоре после прибытия с Балтики специально построенных для полярного плавания ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» Давыдова вызвал начальник экспедиции Сергеев.

— Поздравляю, старший лейтенант, — сказал он, выслушав рапорт, — вы назначены командиром «Таймыра» и моим заместителем. Имейте в виду, я подниму свой брейд-вымпел на вашем корабле, так что не ждите покоя.

Три года подряд Давыдов выходил Беринговым проливом в арктические моря. Далеким прошлым казались и Петербург, и война, и сам он — прежний, был капитанский мостик, была каюта, и в ней гряда записей, вычислений, таблиц — материалы к лоции от мыса Дежнева до устья Колымы, которую он готовил.

В 1911 году при благоприятных ледовых условиях решено было посетить остров Врангеля. Давыдову оставалось определить на чукотском берегу еще несколько астрономических пунктов, поэтому на остров был направлен «Вайгач», что, естественно, вызвало подъем духа на этом судне и зависть таймырцев — но что поделаешь! Хотя экипажи ледоколов и соперничали, но в основном в желании лучше сделать свое дело, что никак не омрачало окрепшей за время плаваний дружбы.

Командир «Вайгача» Константин Владимирович Ломан, одноклассник Давыдова по Морскому корпусу, прошедший, как и он, порт-артурскую осаду и плен, показал себя способным, умелым капитаном, требовательным к себе и к подчиненным и ровным в обращении с командой. Правда, он, по мнению Давыдова, видел вещи в чересчур плохом свете, но зато всегда был готов к самому худшему и не боялся рискнуть в решительную минуту.

У мыса Биллингса суда расстались. «Вайгач», напутствуемый сигналом «Таймыра» — «Желаю счастливого плавания и благополучного возвращения!», — взял курс на север, к острову Врангеля.

В дневнике Давыдова мы находим некоторые неизвестные ранее подробности исторического плавания «Вайгача». Первые два дня между судами поддерживалась постоянная радиосвязь.

«2 сентября. «Вайгач» — «Таймыру»:

1.00. Погода хорошая, штиль, северное сияние.

6.00. Разбитый лед. Виден остров Врангеля.

7.00. Ищу вход в бухту Сомнительную.

9.30. Восточная зыбь и малые глубины заставили повер-

нуть к мысу Блоссом. Предполагаем стать на якорь на западной стороне острова.

19.30. Стоим у мыса Фомы. Сделали магнитные наблюдения. Предполагаем завтра производить съемку.

3 сентября. «Таймыр» — «Вайгачу»:

7.30. Знак на мысе Биллингса поставлен. С подъемом флага идем дальше. Бодритесь! Давыдов.

«Вайгач» — «Таймыру»: Высаживаемся на остров. Ломан».

На этом радиосвязь с «Вайгачом» оборвалась, и другие подробности его плавания таймырцы узнали только у мыса Дежнева, когда суда встретились.

Едва «Вайгач» стал на якорь у мыса Фомы, к нему явились хозяева острова — два крупных белых медведя. Видно было, что с человеком они не знакомы, и моряки сразу же запаслись свежим мясом. Другое приключение чуть не закончилось трагически: отправленные на берег катер и вельбот попали в сильные буруны, вельбот опрокинулся и затонул, а катер выбросило на прибрежный песок. Только по случайности никто не пострадал.

Команда «Вайгача» определила на острове астрономический пункт, поставив на его месте железную пирамиду высотой десять метров, собрала геологическую коллекцию и, главное — подняла здесь русский Государственный флаг. После этого впервые обследовала остров Врангеля с севера.

Всего неделю продолжалось плавание «Вайгача», однако оно имело чрезвычайное значение и важные последствия — благодаря ему были закреплены права России на владение этой землей. В 1916 году правительство обратилось ко всем государствам с нотой, в которой подтверждало, что остров Врангеля, «расположенный близ Азиатского берега империи и образующий продолжение материка Сибири в северном направлении», составляет «неделимое целое с Россией».

Вместе с Давыдовым в экспедиции участвовала блестящая плеяда талантливых офицеров-гидрографов: Неупокоев, Брусилов, Жохов, Лавров. По-разному сложились потом их судьбы: имена одних навсегда вошли в историю отечественной гидрографии, стали в ней «классическими», другие не успели сказать свое слово в науке — жизнь их рано оборвалась. Для самого же Давыдова эти плавания — только начало исследовательской работы, но как раз в них приобрел он драгоценный полярный опыт, как раз в это время сложился и как ученый, и как мореплаватель, и как личность.

В год своего тридцатилетия Давыдов стал начальником Гидрографической экспедиции Восточного океана и снова ушел в плавание. Девять лет без перерыва работала экспедиция в тихоокеанских морях, обследуя побережья и острова, каждый риф, каждую мель на своем пути. Давыдов сумел создать на Дальнем Востоке целый штат отличных гидрографов, разработал новые методы и приемы в изучении

моря. Свой опыт он обобщил в брошюре «Некоторые практические указания при работе по съемке берегов с моря», по сути это было первое и в России, и за границей специальное руководство по морской съемке.

Инструкция требовала, чтобы курсы корабля, ведущего морскую съемку, прокладывались в четырех милях от берега, Давыдов же считал, что нужно ходить не дальше двух миль: при такой дистанции берег будет изучен лучше и ошибок меньше. Но чтобы уберечь судно от губельного риска, необходим особый талант мореплавателя.

— Есть два типа берега, — говорил Давыдов, — один крутой, «честный», к нему можно подходить близко, и есть другой — «шептун», «подлый» берег, он спускается к морю небольшими обрывчиками, около него обычно видны надводные камни и буруны — тут будь осторожен!

Но бывает, не только в море — и на земле надо сделать выбор между двумя берегами...

Когда во Владивостоке были созданы Советы, Давыдов, как и все офицеры, снял погоны. Но скоро к власти вернулись белые, и погоны опять появились на мундирах, не успев потускнеть. Один Давыдов явился в морское собрание без них.

— Где же ваши золотые звездочки, господин полковник? — язвительно спросил кто-то.

— Милый человек, — ответил Давыдов, — я не мальчик. Если я снял погоны, то не для того, чтобы нацепить их через неделю...

В это время к нему зачастили иностранцы с разными заманчивыми предложениями:

— Господин Давыдов, мы уважаем ваши патриотические чувства, но сейчас, чтобы сохранить жизнь, вам лучше уехать. Ваши знания... поверьте, у нас их ценят не меньше. Мы предоставим вам идеальные условия...

— Я лучше буду с русским мужиком землю пахать, чем кормиться на ваше золото! — ответил Давыдов.

Это и был его «честный» берег.

Несмотря на постоянные угрозы интервентов, недостаток в средствах и личном составе, отсутствие всякой связи с гидрографическим центром в Петрограде, экспедиция не прерывала работы. Только в 1921 году, когда во Владивостоке произошел очередной контрреволюционный переворот, Давыдов не вышел в плавание. В этих условиях важно было сохранить имущество экспедиции и, главное, результаты многолетних исследований. Оккупанты маршировали по улицам города, а он с немногими сотрудниками продолжал работать: составлять новейшие карты исследованных мест, дописывать лоцию Охотского моря. На глазах у Давыдова белые захватили и угнали судно экспедиции — транспорт «Охотск»; протестовать было нельзя: обозленные поражени-

ем, белогвардейцы могли свести последние счета с бывшим царским полковником, которому оказалось не по дороге с ними.

После окончательного установления Советской власти в Приморье Давыдов был назначен начальником Управления по безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке. А вскоре вышла в свет его «Лоция побережий Охотского моря и восточного берега Камчатки». Этот главный труд Давыдова, в который он вложил все свои знания и опыт, открывал новую эпоху в исследовании дальневосточных морей. Лоция охватывала береговую линию в одиннадцать тысяч километров и базировалась на ста одиннадцати астрономических пунктах, сто шесть из них были определены самим автором. Давыдов был награжден Золотой медалью имени Литке — высшей наградой, присуждаемой за особо выдающиеся заслуги в области географии.

В начале лета 1924 года Давыдов руководил установкой навигационного ограждения в Амурском лимане. И вот новое назначение!

Лозунг тех дней во Владивостоке был: «Даешь красный Врангель!» Спешили как на пожар, сколько раз опускались руки, сколько раз казалось, что все рухнет и будущее плавание — безнадежная авантюра! Совершенно необходимую в Арктике теплую одежду, например, купили в Харбине и доставили на борт за несколько часов до отправления, в последнюю минуту грузили квашеную капусту — чуть не остались без этого нехитрого продукта. Да и был ли вообще в истории случай, чтобы полярное плавание готовилось всего какой-нибудь месяц? Американцы, прослышав о походе, объявили по радио, что это безумство — посылать людей в Арктику на таком суденышке, предвещали морякам верную гибель...

В составе экспедиции насчитывалось восемьдесят человек, в основном это были краснофлотцы комсомольского набора — «от сохи и станка». Отправлялись вместе с Давыдовым и его давние сослуживцы по экспедиции Восточного океана — гидрографы Ивановский, Грагайтис и Чеботнягин. Комиссаром был назначен М. А. Доминиковский, помощником Давыдова — Г. Д. Красинский, командиром экспедиционного судна — Е. М. Воейков.

Двадцатого июля порт был украшен флагами расцветивания. На корабль прибыл командующий флотом, он объявил приказ о походе и пожелал команде удачи. Прозвучал «Интернационал», канонерская лодка «Красный Октябрь» (так теперь назывался портовый ледокол «Надежный») отдала швартовы. От острова ее отделяли три тысячи миль пути.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Б. В. ДАВЫДОВЕ

Б. В. Давыдова можно считать главным действующим лицом экспедиции за годы его командования ледоколом. Небольшого роста, худощавый, с огромным лбом, очень подвижный, всегда оживленный и бодрый, ровный и мягкий в обращении, он служил наглядным примером высокого понимания долга. Это был неутомимый и в высшей степени добросовестный и умелый исследователь.

Л. М. Старокадомский,
участник плаваний на «Таймыре»

Б. В. Давыдов был очень эрудирован во всех вопросах. Прекрасный специалист, он любил порядок в работе. Астрономические наблюдения выполнял сам, все вычисления делал сразу после наблюдений, в тот же день, вычислял быстро и цифры писал так четко, что они производили впечатление отпечатанных на машинке. Вся работа шла без спешки и суесть.

С подчиненными всегда был справедлив и корректен.

И. Т. Колбягин,
участник плавания на «Красном Октябре»

В год похода на остров Врангеля Б. В. Давыдову исполнился сорок один год. Выглядел он так: подтянутый, с большой бритой головой, на лице выделялись карие, с лукавым и добродушным прищуром глаза, короткие усы.

Был внимателен и прост со всеми независимо от возраста, пола и занимаемого в обществе положения. Интересный, оживленный собеседник, особенно когда бывал в ударе. Он не любил анекдотов, но с юмором рассказывал разные случаи из жизни, при этом выражение лица оставалось совершенно серьезным. Уж если смеялся, то от души (иногда до слез).

Борис Владимирович был нетерпим к порокам, человека, скомпрометировавшего себя однажды, вычеркивал из списка друзей, но для настоящего друга он готов был сделать все возможное и невозможное. Ближайшими его друзьями были гидрографы — моряки Лавров, Евгенов, Неупокоев, Ахматов, а из старшего поколения — академик Шокальский.

Г. А. Кобылин,
племянник Б. В. Давыдова

С ТОЙ СТОРОНЫ

За два дня до выхода из Владивостока «Красного Октября» из Номы на Аляске отправилась к острову Врангеля быстрходная американская шхуна «Герман». Ей предстояло пройти до цели плавания шестьсот пятьдесят миль.

Капитан шхуны, опытный арктический мореход Лэн, мог не сомневаться в успехе: власти Аляски уже знали о

подготовке советской экспедиции и сделали все, чтобы опередить ее. Перед отходом Карл Ломэн, устроитель плавания, не скупился на обещания, но требовал: остров — любой ценой! По такому случаю даже был нарушен сухой закон и провозглашен тост: «За Новую Колумбию!»

Откуда взялось это странное название, которого нет сейчас ни на одной карте мира?

Идею захвата острова Врангеля подал канадский полярный путешественник Вильямур Стефансон (впоследствии он считал это «трагической ошибкой» и признал бесспорные права нашей страны на владение островом). В 1913—1914 годах он возглавлял арктическую экспедицию, которую с первых же шагов постигла неудача: ее судно «Карлук» было раздавлено льдами недалеко от острова Врангеля. Часть команды с большим трудом добралась до его берегов. Бывшую уже на грани гибели горстку моряков в конце концов удалось снять с острова, одиннадцать членов экипажа «Карлука» навсегда остались в Ледовитом океане.

Вот этой трагической случайностью и воспользовался Стефансон, когда начал свою кампанию за захват острова. В 1920 году он направляет канадскому премьер-министру Мейгену пространное послание, в котором доказывает, что правительству Канады — доминиона Британской империи — следует закрепить за собой остров Врангеля, тем более что Россия охвачена гражданской войной — ей недосуг заниматься своими окраинами. И подтверждением прав на эту землю Стефансон считал тот факт, что его экспедиция поднимала там британский флаг. А между тем на острове еще с 1911 года развевался русский государственный флаг, водруженный Экспедицией Северного Ледовитого океана, но об этом, как и о русской ноте 1916 года, вспоминать не желали.

Остров по представлению Стефансона был «полон ресурсов» и подходил под его теорию «гостеприимной Арктики», такого нового полярного Средиземноморья, из которого Канада и Британия должны почерпнуть дополнительные экономические и стратегические силы; путешественник перешел на язык политиков и военных, он провозгласил «северный курс Империи» и утверждал, что мировой центр активности переместился из умеренных широт к полюсу. «Остров Врангеля должен быть британской территорией», — писал Стефансон. — В течение следующей мировой войны или в ходе мирного развития сообщение между Европой и Японией переместится в полярный бассейн. А постоянный дневной свет летом только увеличит преимущество передвижения по новому маршруту. Нам необходима цепь островов в полярном бассейне в качестве военно-морских баз для наших подводных лодок и в качестве станций для самолетов».

Оставалась лишь одна проблема — действительно владеть островом. Стефансон предложил немедленно послать

туда отряд и вызвался руководить им. Он исходил отнюдь не из одних только патриотических побуждений — надеялся, что правительство в знак благодарности даст ему остров в аренду, он же переарендует его Компании Гудзонова залива.

Однако канадское правительство действовало осторожно. Оно уполномочило в свое время экспедицию Стефансона только «установить власть и присоединить к доминиону земли, лежащие к северу от канадской территории и не находящиеся под юрисдикцией какого-нибудь цивилизованного государства», а это никак не относилось к острову Врангеля. По определению министерства внутренних дел, которому поручалось дать рекомендации по этому вопросу, он «даже не расположен в западном полушарии, так как по нему проходит 180-й меридиан, в основном, это азиатский остров». Проект захвата острова лег под сукно.

Но государственные деятели Канады недооценили способностей Стефансона — этот человек никогда не отступал легко от своих идей. Он начал действовать по-другому: организовал частную «Компанию по исследованию и развитию Арктики», безобидную с первого взгляда, на деле же предназначенную стать орудием для овладения островом Врангеля, отыскал деньги и подобрал группу молодых людей, полных энтузиазма и желания проявить себя. Эти люди — канадец Крауфорд, студент университета в Торонто, три американца и одна эскимоска — получили задание добраться до острова и объявить «от имени короля и Империи» о правах на него. Так они и сделали, едва высадились там. Вот это заявление:

«Я, Аллан Редьярд Крауфорд, уроженец Канады, британский подданный, и нижеподписавшиеся члены Врангелевского островного отряда Стефансоновской арктической экспедиции... сего числа поднимаю канадский флаг и британский флаг и объявляю этот остров, известный под именем острова Врангеля, состоящим в настоящее время во владении его величества Георга, короля Великобритании и Ирландии...

Подписанное вложено в этот гурий 16-го дня сентября 1921 года от Рождества Христова. Боже, храни короля!»

В это время сменился канадский кабинет министров, и Стефансон поспешил атаковать нового главу правительства — Маккензи Кинга, призывая подвести под частную инициативу государственную основу. В канадском парламенте начались острые дебаты: бывший премьер-министр Мейген, ставший лидером оппозиции, сделал запрос правительству об острове Врангеля: он знал темные места в канадской политике и бил в точку.

«Мейген. Не будут ли любезны министры заявить о политике правительства в отношении... острова Врангеля?

Грэхэм (министр обороны). Заявить о политике правительства по этому вопросу — чрезвычайно тонкое дело.

Мейген. Имеет ли правительство какую-нибудь политику?

Филдинг (министр финансов). То, что нам принадлежит, мы удерживаем.

Мейген. Я бы рекомендовал правительству всегда придерживаться такого принципа.

Грэхэм. Кое-кто не смог этого сделать.

Мейген. Правительство однажды не смогло этого сделать, но, я думаю, если бы вопрос встал перед ним снова, оно действовало бы иначе.

Грэхэм. Старое правительство.

Мейген. Да, старое правительство, членом которого был мой уважаемый оппонент. Хорошо известно, что существуют разногласия по поводу острова Врангеля... И я спрашиваю, может ли правительство высказать свое мнение об удержании острова?

Грэхэм. Политика правительства, насколько я понимаю, была выражена министром финансов—что мы имеем, то удерживаем.

Мейген. Ну, а имеем мы остров Врангеля?

Грэхэм. Насколько я понимаю, да, и мы намерены его удерживать».

Дипломатическая перепалка, полная яда и скрытого смысла, закончилась, и главе правительства ничего не осталось, как поддержать своих министров. Он заявил: «Правительство, конечно, придерживается мнения, что остров Врангеля является собственностью Канады».

Казалось бы, Стефансон мог теперь торжествовать—он добился своего. Но события, развиваясь своим чередом, начали принимать крутой оборот. Последовали две ноты Советского правительства с выражением озабоченности по поводу притязаний Канады на остров и с требованием объяснений.

Пока канадцы и англичане размышляли, что предпринять, разочарованный их «дружественной бездеятельностью» Стефансон не теряя времени зря: в марте 1923 года он обратился в Вашингтон и встретил там «понимание». Американский адмирал Моффет сообщил Стефансону: «Я знаком с тем, что Вы написали, и мне известно, что Вы сделали в отношении о. Врангеля. Я только сожалею, что ни один из моих соотечественников не обладал дальновидностью сделать то же самое. Я полностью согласен с Вами в вопросе о важности о. Врангеля и его дальнейшем использовании».

Выступая в штабе военно-морских сил США, Стефансон не погнушался грубой лестью в адрес американцев и обещал, что сделает все возможное, чтобы приобрести остров Врангеля для США, если англичане откажутся от своих «прав». Единственное, чего он не хотел,—чтобы остров остался у русских. Но и американизация Стефансона, и отказ от

заверений в патриотизме как главном двигателе его действий мало изменили картину: в Вашингтоне, так же как и в Оттаве, ему сочувствовали только военные, дипломаты высказывались против, а правительство колебалось. В конце концов самым лучшим было ничего не предпринимать.

Между тем группа Крауфорда уже два года находилась на острове без всякой связи и помощи. Пора было подумать и о ее судьбе. Но когда спасательное судно добралось до берегов острова, оно застало в живых только эскимоску Аду Блекджек, остальные четверо стали жертвами «гостеприимной Арктики». Тем не менее смена им была высажена...

Только теперь Стефансон пожалел, что затеял эту кампанию: мало того, что он очутился на грани банкротства—родственники погибших публично объявили его виновником случившейся трагедии. Газеты писали: «Все острова Севера не стоят того, чтобы им приносили в жертву хоть одного канадского юношу». Надо было срочно выходить из игры, и весной 1924 года Стефансон отказался от своих «прав» на остров, «продал» их «оленному королю» Аляски Карлу Ломэну.

Итак, дело перешло в новые руки. Преемником Стефансона стал бизнесмен, представитель могущественной династии Ломэнов, которой принадлежали чуть ли не все аляскинские олени и которая по существу вершила власть на Аляске. Карл Ломэн не бросал деньги на ветер и, будучи очень богатым человеком, хотел стать еще богаче: мечтал о том, что его оленину будут продавать в Нью-Йорке, что она войдет в меню ресторанов на всех поездах и пароходах от мыса Барроу до Калифорнии. Выгоды от владения островом Врангеля ему были очевидны: там предполагалось организовать охоту и олений питомник.

По примеру Стефансона Ломэн решил подкрепить свои действия ссылкой на историю. Он вспомнил, что в 1881 году его соотечественник капитан Купер, разыскивая следы пропавшей экспедиции Де-Лонга, тоже ступал на остров Врангеля, поднимал там американский флаг и даже переименовал остров в Новую Колумбию. Правда, это название продержалось всего три дня: другой американец, Берри, высадившись вслед за Купером, вернул острову прежнее название. Правительство Соединенных Штатов проявило благоразумную пассивность в отношении такого рода «приобретения» и не сделало никаких шагов, чтобы закрепить его за собой, всем было ясно, что остров, находящийся в непосредственной близости от русского материка, не может быть американским.

Как и в случае со Стефансоном, отнюдь не история вселила в Ломэна надежду на успех, а... новые веяния в политике. Та патриархальная Аляска, связь которой с внешним миром обрывалась на семь-восемь месяцев в году,

когда, как шутили, «даже бог уплывал с последним пароходом», уходила в прошлое. На Американском Севере появилась транспортная авиация, Аляска постепенно наполнялась военными. Этот процесс в будущем привел к положению, о котором остроумно выразился один журналист: «Ткните наугад булавкой в карту, и вы попадете прямо в американского генерала или адмирала». И вот вышла карта, на которой остров Врангеля был покрашен цветом США и получил название Новая Колумбия.

Таким было положение к июлю 1924 года, когда два корабля под разными флагами ринулись к одной цели.

ОСТРОВ

Давыдов отправился в плавание большим — был сильно простужен. Чтобы успокоить жену, он пишет с дороги, из Петропавловска-Камчатского:

«Я пока что, слава богу, совершенно здоров, кашляю много меньше, думаю, что этому способствовал чистый морской воздух. Я так и вижу тебя, родная моя, как ты говоришь «Воображаю!», но, право, это так... Что-то готовит нам судьба? Торопимся здорово. Все сведения до сих пор благоприятны, можно думать, что льда будет мало...»

Тут Борис Владимирович тоже явно лукавит: по предварительным сообщениям, условия плавания в Ледовитом океане ожидалось тяжелыми. В лоции Чукотского моря 1938 года даны красноречивые указания относительно плавания в этих водах: «В Чукотском море постоянно имеются большие скопления льда, этот лед почти всегда находится в движении под влиянием течений и ветров, что вызывает интенсивные сжатия и торошения. Совокупность указанных причин делает Чукотское море наиболее труднодоступным по сравнению с прочими арктическими морями...»

Правило не удаляться в море при наличии в нем льда приобретает здесь особенно важное значение, так как судно постоянно подвергается риску быть вовлеченным в дрейф со льдом, идущим на север. Ряд случаев гибели судов только подтверждает сказанное.

На побережье Чукотского моря спасательных станций нет».

Десятого августа «Красный Октябрь» миновал Берингов пролив.

В бухте Провидения моряки загрузили максимальное количество угля, до отказа наполнили трюмы, даже на палубе устроили выгородки — каждая лишняя тонна топлива могла решить исход плавания. На судно были взяты трое чукчей с собачьими упряжками для санных поездок и на случай зимовки. Осевшее сверх ватерлинии, с огромной закопченной трубой, оно представляло собой странное зре-

лице. На палубе среди штабелей досок и ящиков скулили и грызлись собаки, узкие проходы были черны от угольной пыли, а на корме, поверх связок каната, громоздились нарты и спали чукчи, положив головы на спасательные круги.

По чистой воде шли недолго, вскоре первая льдина ударила в обшивку. По мере движения корабля лед становился все сплоченнее, пока не покрыл почти всю водную поверхность; он был настолько сжат течением и встречным ветром, что судно остановилось. Пробиваться к острову в таких условиях было бы пустой тратой угля — моряки решили ждать перемены ветра.

Давыдов записал в дневнике: «Во время лавирования надо было пройти узкую перемышку между очень крупным и толстым обломком поля справа и годовой крепкой льдиной слева. Проход был по ширине близок к ширине судна. Подходили малым ходом, заблаговременно застопорив машину. Сперва коснулись надводным бортом снежного края поля, которое отбросило корабль влево на льдину; от нее вновь отскочили вправо и ударились на этот раз довольно крепко... В результате несколько вмяли шпангоут у жилой палубы, согнув его, на протяжении ближайших шпангоутов борт гофрирован, один продольный шов немного разошелся. Соль не в том, что мы ударились (это бывает), а в том, что удар пришелся на надводную часть; это в свою очередь вызвано тем, что мы очень загружены, благодаря чему у нас ледяной пояс весь под водой. Чтобы хоть несколько увеличить дифферент на корму, перегружаем уголь из носового трюма в ямы, это все, что можно сделать».

Так и не дождавшись попутного ветра, корабль развернулся на обратный курс и, с трудом выбравшись из ледового мешка, пошел вдоль кромки на северо-восток. Недалеко от островка Геральд, уже на ближних подступах к Врангелю, он снова уперся в тяжелый ледовый барьер. Давыдов совещался на мостике со своими помощниками Доминиковским и Красинским. Все сходились на том, что отступить нельзя.

— В случае неудачи мы должны высадиться хотя бы на Геральде и оставить там партию, — предложил Красинский, — зимой, по льду, эта партия переберется на Врангель...

— Не будем забегать вперед, — покачал головой Давыдов, — попробуем пробиться.

Стоял густой туман, разреженный лед сменился крупными многолетними полями, скоро вся поверхность моря побелела. Громадные, выше палубы, торосы надвигались на судно, скрежеща о борта. При работе машин под всеми тремя котлами, при открытом почти на аварийное давление котельном регуляторе корабль то и дело останавливался, а потом, слегка отступив, снова прорубался на несколько метров вперед. Повалил снег, он накрыл снасти и палубу толстым слоем, словно стараясь вдавить их, сровнять с твердым

ледяным панцирем, корабль казался призраком в этой мертвой пустыне, минута—и он навеки застынет в тисках льда.

На вторые сутки этого отчаянного поединка туман впереди потемнел, лед стал реже, и глазам моряков открылись черные отвесные скалы острова Врангеля.

На траверзе бухты Роджерс отдали якорь. Пустынно и хмуρο было на берегу. Спустили две шлюпки и сразу приступили к установке мачты для флага: землю взрывали, основание мачты обложили кирпичами и залили цементом, сверху на ней был укреплен железный красный лист с вырезанными буквами «СССР». Специально для торжественной церемонии приготовили и второй флаг, из ткани.

Следующим утром экипаж корабля построился у мачты. Давыдов обратился к морякам, поздравил с выполнением задания.

— Цель плавания достигнута, однако мы еще должны снять с острова иностранных колонистов. Вряд ли они окажут нам сопротивление, но есть у нас враг куда более опасный—лед. Борьбы с ним не миновать. Нам предстоит дело не менее трудное, чем путь сюда,—вернуться домой, вернуться, сохранив и корабль, и людей.

Раздалась команда: «На караул!»

Моряки взяли винтовки на руку и сняли фуражки.

В 12 часов 20 августа над островом Врангеля был поднят советский флаг. Прогремел троекратный салют.

В тот же день, обследуя остров, корабль вошел в бухту Сомнительную. На берегу виднелись избушки и палатки, а между ними—развешанные медвежьи шкуры; людей не было, моряки нашли только записку, в которой сообщалось, что островитяне ушли в западном направлении.

— Ничего в лагере не трогать!—распорядился Давыдов.—Возвращаемся на судно.

Едва шлюпка причалила к борту, вахтенный заметил на берегу столб дыма. Показалась байдара, в ней можно было разглядеть четырех эскимосов и человека в шляпе с перевязанным глазом. Стоял штиль, флаг на мачте «Красного Октября» обвис, по нему трудно было определить национальную принадлежность корабля. Байдара была уже в нескольких саженях от борта, когда внезапный порыв ветра развернул полотнище флага—в ту же минуту гребцы резко повернули к берегу.

Приказ с корабля заставил их подойти к борту. Испуганно озираясь, поднялись островитяне по трапу, но потом, когда их провели в кают-компанию и напоили чаем, заметно повеселели. Только человек с повязкой сидел насупившись.

— Кто вы такие?—спросил Давыдов.

— Мы служащие канадской фирмы Стефансона. Моя фамилия Уэллс.

— Ваша профессия?

— В Номе я работал парикмахером,—замаялся Уэллс.—Здесь охотился.

— Есть на острове еще кто-нибудь?

— Да, четыре женщины и пятеро детей.

— По какому праву вы охотитесь на советской земле?

— Но господин Стефансон, отправляя нас, сказал, что остров—собственность Канады.

— Вы подняли здесь канадский флаг?

— Господин Стефансон выдал нам флаг и приказал поднять его, но я... я сомневался, кому принадлежит остров, я не решался... Хотя один раз, кажется, приходилось, но, конечно, не больше раза...

Сообразив, что заврался, Уэллс умолк.

— У вас есть какие-нибудь документы на право охоты здесь?—спросил Красинский.

— Нет, документов нет,—быстро заговорил Уэллс,—мы заключили контракт на половинных началах: половину добычи мы должны отдать, половину оставить себе. Стефансон обещал этим летом прислать судно, но мы понимали—такой лед...

Обменявшись несколькими фразами с Доминиковским и Красинским, Давыдов сказал:

— Да будет вам известно, господин Уэллс, что остров Врангеля всегда принадлежал России. Поэтому ваше присутствие на нем является незаконным.

— Мы не знали этого, мы...

— Вы и не будете отвечать за свои действия, поскольку выполняли чужую волю. Но ваше пребывание на острове исключено, перебирайтесь к нам на судно.

— А дальше? Что будет дальше?

— Не бойтесь,—улыбнулся Давыдов,—для нас вы просто браконьеры. Куда бы вы хотели отправиться?

— В Америку, в любой американский порт. Я болен,—Уэллс показал на свою повязку.—Я в последнее время только и думал, как вернуться домой.

— Ну что ж, постараемся переправить вас туда. А все, что вы награбили на острове, вместе с орудиями охоты объявляю конфискованным. (Американские эскимосы были отправлены позднее на Аляску. Уэллс же умер вскоре от воспаления легких.)

Моряки успели сделать промеры в бухтах Сомнительная и Роджерс, установили там астрономические пункты, исправили карту острова, дальнейшие работы были невозможны: лед при первой же перемене ветра мог заблокировать судно. Через пять дней после подхода к острову «Красный Октябрь» взял курс на юг. На спардеке, вызывая дружный лай собак, повизгивали два пушистых медвежонка—единственные коренные обитатели острова Врангеля.

Обратный переход к чукотскому берегу, как и предполагал Давыдов, оказался не легче. Вот несколько выдержек из его дневника, в них — весь драматизм борьбы со льдом.

«24 августа. Условия плавания очень тяжелые: снег мешает смотреть, горизонта нет, характера очень сжатого льда подчас совсем не разобрать. В 9 вечера, за невозможностью идти дальше, остановились...

25 августа. Лед битый, сжат и почти без полыней. Лдины подбиваются одна под другую, сплошь и рядом при нашем проходе всплывают снизу, что еще более мешает продвижению. Около половины третьего дня с большим трудом минут десять ловил высоту солнца, еле-еле проглянувшего сквозь пасмурность. Оторвавшись от секстана, к ужасу своему, увидел, что мы лезем в полынью между громадными льдинами, причем вперед хода нет. Что-либо делать было уже поздно, оставалось, войдя туда, попытаться развернуться и как-нибудь выползти. Через три с половиной часа упорной работы с заводом ледяного якоря, ходами и выталкиванием отдельных льдин удалось развернуться на 90° вправо и кое-как выйти из сжимавшего нас кольца...

26 августа. Весь этот день простояли во льду, только немного пробуя пробиться по направлению к берегу. Успеха почти нет, а уголь тратится. Вместо предполагаемых 55 миль нам удалось отойти от Врангеля только на 39 миль. Было над чем призадуматься...

27 августа. После полудня решил двинуться. Первые шаги были необычайно тяжелы; смело могу утверждать, что 95% водной площади покрыто льдом. Главная неприятность заключается в том, что из-за выпавшего снега скрыты отчасти как характер самих льдин, так и маленькие полыньи между ними. При страшно тяжелой и очень напряженной работе нам удалось часам к восьми вечера пройти на глаз три-четыре мили.

28 августа. Идем вперед в тех же условиях...

29 августа. Увидели на льду трех людей. Видя их беспомощность, отправили к ним наших чукчей. Находятся на льду двое чукчей и молодая девушка, провизии нет, одеты легко, один чукча нездоров. Три дня назад, увидя под берегом моржа, пустились в байдаре в погоню. Зашли в лед, были окружены и зажаты, пришлось выбраться на льдину».

Перенесена на корабль байдара с большим чукчей. И снова судорожные попытки вырваться из тисков льда, приблизиться к материку.

«Дождались и сентября, что-то он нам даст? Просто диву даешься, до чего тяжелый и льдистый этот год! С марса картина представляется такою: под берегом тянется неширокая полоса чистой воды, от этой полосы нас отделяет полоса очень сплоченного, сжатого льда, часть которого, по-видимому, сидит на мели. Для всех решительно целей

совершенно необходимо пробиваться в полынью... В десять начали работать на пробивку, до часа дня едва прошли длину корпуса, потратив семь тонн угля! Сделали перерыв и вновь начали работу, прекратив ее из-за явного неупеха...

4 сентября. Утром залез на марс и осмотрел лед — полоса незыблема. Решил пробиваться к береговой полынье, сделать это необходимо, чтобы иметь безопасное место зимовки.

Лед очень сжат, покрыт снегом. Тем льдинам, которые мы долбим, некуда выходить. Кроме того, снеговая подушка и мелкий дробленый лед очень мешают. Как-то незаметно случилось, что мы здорово сели: ни взад, ни вперед. Пробовали заводить концы и разворачиваться — ничего не вышло, да и скоро стемнело.

5 сентября. С утра завели швартовы на льдины: влево с левого борта и вправо с правого, на ледяных якорях. Давая передние и задние хода и выбирая швартовы втугую, около 10 утра начали весьма постепенно разворачиваться вправо, а к 14 часам и вовсе развернулись к выходу. Последнюю крупную льдину вытолкали носом. Войдя в разреженный лед, развернулись кормой ко льду в нашем проходе и после шести срывов заводимых на льдину якорей, ломов выбуксировали-таки еще одну большую льдину... С новой энергией долбим перемычку.

6 сентября. В 6 начали ломать перемычку. Идя назад от кромки льда для получения разбега, ударились, по-видимому, пером руля об одну из отколотых только что небольших льдин. Вот до чего не везет — стоим и чинимся...

Поскорее бы зайти за мыс Северный, покончив с перемычкой! Надо отдать должное механику Сальникову, развернул он с исправлением великолепно, и мы стали вновь пробиваться...

Мы пробили все-таки лед и вышли на чистую воду! У меня при отдаче якоря были два разных чувства: первое — глубокое удовлетворение по поводу того, что плоды наших многих усилий наконец получены, ибо корабль, как таковой, спасен; если бы остались на прежнем месте, нас зимую, вероятно, раздавило бы напором льда. Второе переживание — это точка над «i»: мы вышли в тот небольшой прибрежный район, который со всех сторон замкнут льдом; выйти мы не сможем, следовательно, крышка захлопнута — мы зимуем».

Группа моряков съехала на берег и закупила у чукчей мясо. На судне тоже не мешкали: выключили паровое отопление, заменив его чугунными камельками, просушили и задраили котлы, разобрали механизм главной машины, открыли кингстоны. Были перестроены и утеплены жилые помещения. Корабль стал на зимовку.

Собирается ехать на собачьей упряжке в Среднеколымск, а оттуда через Якутск и Иркутск в Москву Красинский, Давыдов, уединившись в каюте, пишет большое письмо жене:

«...Прислушайся, родная моя, к моему далекому голосу и попробуй исполнить то, что я тебе посоветую, много и зрело над этим подумав. Бодришь, родная моя, от этого зависит все наше настоящее и будущее, от этого зависит и душевное равновесие наших малышей. Все пройдет, все протянется, и летом будущего года я вас крепко перецелую.

Скажи Боре, чтобы он вел себя так, чтобы ему не пришлось краснеть при моем возвращении; дай ему несколько раз вдумчиво прочитать это место моего письма. Помни, Боря, ты уже взрослый мальчик, ты вполне уже можешь понять, что нет лучше способа узнать человека, посмотрев на него тогда, когда ему или тяжело, или не везет. В тяжелой для мамы обстановке, когда меня нет с вами, сумей быть маме во всем опорой и поддержкой. Сумей сердцем понять это и, если это будет сделано,—остальное придет само собой.

Что же сказать мне тебе, дорогой старичок? (так Борис Владимирович называет младшего сына, Мишу.—*В. Ш.*) Не худи, не бойся, слушайся твою дорогую маму и береги ее. Жаль, очень жаль, что не могу я потрепать тебя по щечке и посидеть с тобою на диване, рассматривая слоника Моку и Мишку! Вот вернусь, тогда берегись, ведь ты будешь уже большой мальчугашка!

Все у нас здоровы. Конечно, каждый раз по-своему относится к необходимости зимовать, одно можно сказать: зимовка—это для личного состава такая школа, проходя которую каждый обнаруживает всю свою сущность, являясь таким, какой он есть на самом деле. Следовательно, я действительно без всяких прикрас узнаю доподлинно всех своих сослуживцев во всей их наготе.

Тебя, мою родную, любимую женку, и ребят так крепко и много раз целую, как только могу. Бодришь, дорогая моя, возьми себя в руки и помни, что в этом все, что для меня зимовка не так тяжела, как страшна мысль о том, что не все у вас ладно. Итак, еще раз вас всех троих обнимаю, целую и благословляю».

Письмо это, однако, так и не было отправлено. Положение экспедиции резко переменялось.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

В этот момент сразу три американских судна штурмовали подходы к острову Врангеля. Одним из них была шхуна «Герман» капитана Лэна.

Первое плавание «Германа» закончилось неудачей—пришлось вернуться в Ном из-за поломки в машине. Там Лэн

узнал новость: в Лондоне, на англо-советских переговорах, представитель Великобритании заявил, что его страна на остров Врангеля не претендует.

— Тем лучше,—рассудил Карл Ломэн,—теперь у нас развязаны руки. Я думаю, если мы захватим остров и поднимем флаг, наше правительство возьмет нас под свою защиту. Но надо спешить. Кроме вас, Лэн, на остров пойдут еще два судна—«Бэр» и «Сильвер Уэйв». Осечки быть не должно.

Но напрасно пытались суда преодолеть льды: ветры северных румбов выносили из просторов Ледовитого океана все новые паковые поля, забивая ими подходы к острову. Лэн понял, что в этом году уже никто не сможет добраться туда. О судьбе русских оставалось только гадать.

Лэн высадился на островке Геральд и там поднял флаг, припасенный для Новой Колумбии. Затем он приказал осмотреть островок. Вскоре до Лэна донеслись крики одного из моряков: на гальке, среди обломков скал, лежали куски одежды и снаряжения, почерневшие и сгнившие от времени, человеческие кости—останки людей с «Карлука»...

Моряки бережно собрали и перевезли горестную находку на шхуну, а через несколько часов мачта шхуны уже скрылась за дугой горизонта, и ледяное пространство снова застыло в торжественном покое.

Зарубежная пресса не замедлила откликнуться на исход плавания.

«Нью-Йорк таймс», 18 октября 1924 года:

«Охранный крейсер «Бэр», моторные шхуны «Герман» и «Сильвер Уэйв»—три американских судна—тщетно пытались пробиться к острову Врангеля этим летом... Они не смогли справиться с арктическими ветрами...»

«Торонто дейли стар», 22 января 1925 года:

«Американское судно «Герман» не смогло достичь острова, и нежелательная конфронтация между американцами и русскими была избежана».

«Нью-Йорк таймс», 20 октября 1924 года:

«У Англии и Америки по существу нет никаких прав на этот остров; единственным государством, имеющим право на него, является СССР. Если Советское правительство колонизирует остров Врангеля, то другие государства вряд ли будут оспаривать суверенитет СССР на эту территорию».

ШТОРМ

В день, когда была спущена вода из последнего котла, легкая дрожь побежала по поверхности моря; скоро она перешла в зыбь, свежий ветер заколебал льдины. Стало ясно, что в море, за полосой льда, шторм. Угля при чистой воде и отсутствии встречного ветра едва-едва могло хватить

до мыса Дежнева. Шторм, конечно, разметал льды и образовал проход вдоль побережья. Берингов пролив, вероятно, тоже свободен. А если поднимется встречный ветер? Если угля не хватит? Если снова лед?

Мнения на корабле разделились: одни предлагали идти, доказывая, что десять месяцев зимовки грозят не меньшими трудностями, другие называли это предложение авантюрой, бессмысленной и преступной, нашлись и такие, кто в случае продолжения плавания снимал с себя ответственность за исход экспедиции. Последнее слово было за Давыдовым.

До сих пор он всегда предпочитал борьбу покорности, и не потому, что любил рисковать, просто риск часто был единственным способом достичь цели. И в этот раз он колебался недолго.

За сутки моряки собрали главную машину, наполнили котлы забортной соленой водой и, обрубив якорный канат, вмерзший в льдину, пошли против зыби. Ледяную перемышку миновали без труда — она качалась и трескалась от напора волн. Дальше кромка расхотелась клином, в вершине которого оказалось судно.

Кто-то вспомнил о парусе, что лежал в кладовке со времени постройки корабля, старые куски парусины залатали на скорую руку, с трудом закрепили. Ход увеличился на целую милю в час. Но парус простоял недолго: первый же сильный шквал разорвал его пополам, закрутил, и вскоре от него остались только хлопающие на ветру обрывки.

Шторм усиливался с каждым часом, с каждой милей пути. Разгруженный корабль слабо устойчив к боковой волне, а идти приходилось только так — кратчайшим путем к проливу Беринга. Порой крен превышал сорок пять градусов, винт, вырываясь из воды, вращался в воздухе.

Стихия ворвалась на корабль. Ледяные волны перекатывались по палубе, поднимали тучи брызг, сбивали с ног. Ожили вещи, половина команды лежала ничком. Пассажиры — эскимосы и чукчи, забравшись в угол кубрика, готовились к смерти. От стариков они знали, что на севере есть земля, где обитает злой дух, посылающий людям холод и смерть: проклят остров, куда занесла их нелегкая, заказан туда путь человеку. «Если ты уйдешь со своей земли на север, то никогда не вернешься назад», — говорили им старые люди. Они нарушили закон предков, и вот злой дух настиг их. Недаром, забыв о вражде, сбившись в кучу медвежата и собаки, недаром воют и трусливо ползают на брюхе.

Вторые сутки на корабле не было горячей пищи, кончалась вода. Чтобы как-то поддержать людей, Давыдов распорядился выдать вино, и каждые два часа все, кто еще мог работать, шли в буфет. Перепало и Уэллсу.

— Ставлю пятьсот долларов, что нам крышка! — кричал

он. Странно, что это веселило его, будто он всерьез верил в загробную жизнь.

Быстро таял уголь. Оставив в НЗ двадцать тонн, Давыдов приказал жечь имеющееся на судне дерево: разобрали корпус катера, потом начали снимать внутреннюю обшивку трюмов и жилых помещений. Доски распиливали, сбивали гвоздями в чурбаны и отправляли в топку. Еще теплый шлак поливали машинным маслом и снова бросали в огонь, жгли мебель, канаты, краску, олифу, мешки с сахаром.

Центр жизни корабля давно переместился с мостика в машинное отделение, пятерым коچهгарам помогли все, кто еще держался на ногах. Обедали на ходу, поджаривая оленину прямо в топке, с трудом разжевывая обуглившееся сверху, полусырое мясо. Пламя плясало на мокрых от пота лицах, работали с угрюмым ожесточением, забыв о времени, теряя ощущение реальности происходящего.

На исходе третьих суток истерзанная канонерка встала в совершенной темноте у мыса Дежнева. Ветер стих, корабль заснул глубоким сном смертельно уставшего человека.

А наутро моряки увидели, что Берингов пролив забит льдом. Наступил октябрь — месяц первых сильных морозов и ураганных ветров, порог полярной ночи, ждать было нечего — каждый час стоянки отодвигал возможность возвращения.

Сжигая последние тонны угля, корабль вошел в скопление мелких раздробленных льдин, но они были настолько сжаты течением с юга и северным ветром, что уже через милю судно застряло. Потом его медленно понесло на север. И когда на второй день дрейфа уже казалось, что участь корабля решена, лед вдруг остановился и неожиданно двинулся назад. «Красный Октябрь» возвращался в пролив, а тревога Давыдова росла: что будет дальше? Здесь, на пороге двух океанов, в адской лаборатории ветра, воды и льда, судно попало в невольный эксперимент, который должен был кончиться катастрофой. Теперь от людей уже мало что зависело.

Еще два дня море играло с кораблем, гоняло его то к северу, то к югу. Давыдов набросал схему течений в проливе, описал характер и особенности льда, обозначил движение его — море с легкостью раскрывало свои тайны, словно было уверено, что люди уже не смогут ими воспользоваться.

Опустилась ночь, решающая для корабля. Никто из моряков не спал. Медленно тянулось время. А на рассвете природа впервые за все плавание пошла на уступку: задул южный ветер, появились разводья, и по ним канонерка добралась до Уэлена. Но и там не оказалось угля...

Пришлось разобрать, разрубить и перевезти с берега на борт корпус конфискованной годом раньше американской

шхуны, скупить у чукчей запас плавника. Обойти мыс Дежнева можно было, только держась вплотную к берегу.

«Никогда не забыть этого рискованного перехода,— пишет Борис Владимирович.—Только усыпанное звездами небо несколько умеряло глубокий мрак ночи, позволяя еле-еле разбирать контуры громадных, крутых, скалистых обрывов Дежневского выступа. Тяжело движется корабль, прокладывая себе путь среди льда, отвоевывая с каждым шагом вперед себе свободу. Целые снопы искр вылетают из трубы, кружась в воздухе. Береговые обрывы порой так близки к кораблю, что, кажется, еще немного—и мы заденем за них бортом».

Наконец, миновав Берингов пролив, «Красный Октябрь» стал на якорь против мыса Дежнева. Здесь утомленным до крайности моряков ожидало последнее испытание—перевозка угля с берега. Борис Владимирович пишет:

«На воду спустили все шлюпки. При значительном морозе, выгребая против свежего ветра, обдаваемые все время брызгами замерзавшей тут же воды, промокшие до костей, промерзшие люди в течение восьми часов выполняли эту поистине каторжную работу. Приходилось удивляться, как вся эта операция прошла благополучно, как нагруженные до отказа шлюпки, гонимые шквалистыми, очень сильными порывами ветра, при снежной пурге, под двумя-тремя веслами не были унесены в море...»

Северный ветер быстро гнал лед в Берингово море, наперегонки с ним спешил и «Красный Октябрь». «Казалось, что льды эти были каким-то живым существом, поставившим себе целью во что бы то ни стало становиться поперек нашего пути»,—пишет Давыдов.

Когда корабль вошел в бухту Провидения, на нем совсем не было пресной воды, а топлива оставалось двадцать пудов—этого едва хватило бы на двадцать пять минут хода.

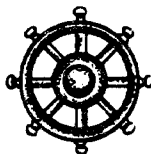
Через месяц во Владивостоке весь состав экспедиции был выстроен на палубе канонерки. Комиссар Дальневосточного флота Батис огласил указ Советского правительства:

«За героизм и мужество, проявленные участниками экспедиции при выполнении правительственного задания в тяжелых условиях плавания на остров Врангеля, канонерская лодка «Красный Октябрь» награждается орденом Красного Знамени».

Вскоре после возвращения из экспедиции Борис Владимирович простудился, слег. Подорвав здоровье в плавании, он не смог побороть болезнь.

Незадолго до смерти Бориса Владимировича Академия наук решила ходатайствовать о переименовании острова Врангеля в остров Давыдова. Но сам он решительно воспротивился этому. Одна из его заповедей—«Никогда не менять названий на старых картах».

ГЛАВА ПЯТАЯ



ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ УЭРИНГА

Природа не бывает некрасивой. Повсюду, во всякое время, при любой погоде она несет в себе ту стихийную, порой сокрушительную, но чаще целебную и очищающую силу сотворения, которая испытывает, связует и меняет жизнь.

На Земле нет одинаковых мест. Но есть среди них настоящие шедевры, «памятники природы», в которых художественный гений ее выразился с особенной силой. На эти места нужно выдавать «охранную грамоту» независимо от их практической пользы, единственно из чувства прекрасного.

Таков мыс Уэринг. К нему невозможно привыкнуть. Помню, когда я впервые его увидел, он просто ошеломил меня своим диким величием—нацеленными в облака пиками и гребнями, нависшими над головой кручами и глыбами, осыпями, камнепадами и свергающимися с высоты ручьями с крошечными радугами, арками, гротами, пещерами, отпрянувшими в море останцами и кекурами, но больше всего оглушительным шумом жизни—слитыми воедино голосами десятков тысяч гнездящихся на скалах птиц. Первородная

красота и мощь явлены здесь так победно, что поначалу теряешь ощущение реальности происходящего—как если бы вдруг попал на Землю до появления человека...

Однажды я побывал на Уэринге в ту пору, когда он еще не оттаял, не отошел после полярной ночи, стоял безжизненный, заснеженный, стиснутый кольцом торосов, повитый метелью. Это было время, когда медведицы уже покинули берлоги, а птицы еще не прилетели. Мы наблюдали тогда, как первые пернатые достигли острова и начали обживать прибрежные скалы.

И вот новая встреча с Уэрингом. Разгар лета. Вездеход пересек остров с юга на север и выполз из гор на плоскую бурю равнину Тундры Академии. Я намеренно устроился на крыше, несмотря на резкий ветер и взлетающие иногда из-под радиатора тучи брызг. Несколько часов Уэринг покачивался перед глазами, постепенно вырастая и заслоняя собой горизонт, становясь все отчетливее и подробнее—скалистая каменная громада, вздыбившаяся навстречу ветрам, льдам и волнам океана, подобно застывшему допотопному существу. Здесь, на крайнем восточном рубеже острова, выходят наружу древние породы, слагающие его «костяк»,—высокая отвесная стена тянется на несколько километров вдоль береговой черты. Мощные толщи пестрых сланцев, известняков и песчаников смяты в причудливые складки, надвинуты друг на друга, разорваны сбросами, пронизаны кварцевыми и кальцитовыми жилами. Среди хаоса камней внимательный взгляд заметит сверкнувшую друзу хрусталя, сине-зеленые пятна яшмовых и малахитовых выходов. Настоящая природная лаборатория для геолога!..

Едва вездеход, свернув с галечного берега, вполз в распадок между мысом Уэринг и куполообразной горой Замковой, небо пересекла зеленая ракета—нас заметили, поздравляют с прибытием. Лагерь—жилой балок и две подсобные палатки—стоит в Красной долине. Так ее окрестили потому, что по меньшей мере три обитателя долины—белый медведь, Бэрдов песочник (куличок размером чуть больше воробья) и сердечник пурпуровый (растение, встречающееся в СССР только на острове Врангеля)—занесены в Красную книгу.

Здесь сейчас работают орнитолог Василий Придатко и лесотехник Игорь Олейников. С Василием мы старые друзья, вместе участвовали в «медвежьей» экспедиции, но давно не виделись. Из переписки я знал, что он все последние годы занимался изучением птичьих базаров острова. Лучше него Уэринг не знает никто. Сразу после вечерней радиосвязи отправляются они с Игорем на базар, а спать ложатся утром. Какая разница, если светло круглые сутки, а для наблюдений удобнее: многие птицы днем улетают на кормежку в море, к ночи же возвращаются на скалы.

Балок не только жилье, это и рабочий кабинет, и библиотечка, и походная лаборатория—на полках и в ящиках под нарами книги, оттиски статей, картотека, рукописи, инструменты для препарирования—всему свое место, все под рукой.

— Ваш десант очень кстати,—улыбается Василий, оглядывая приехавших сотрудников заповедника.—Работы много, можете...

Подойти к Уэрингу по морскому льду нам не удалось, помешал водяной заберег, пришлось лезть на скалы и спускаться на берег по распадку, цепляясь за камни. Все это время базар давал о себе знать—то нарастающим, то стихающим, как прибой, гулом. А когда наконец ступили на припай: справа—темные, закрывающие полнеба скалы, слева—бесформенные нагромождения торосов, впереди—узкая полоса льда, еще проходимого, но уже испещренного трещинами, изрытого лужами и глубокими промоинами,—птичий гай, отраженный эхом, возрос многократно, заполнил пространство, дошел до фортиссимо...

Птицы всюду—сидят рядами на скалах, кружат стаями и поодиночке, планируют на льдины. Свист и хлопанье крыльев, резкое краканье кайр, истерические визги чаек-моевок, вскрики чистиков, бурчание бакланов, важные возгласы бургомистров... В нос бьет острый запах—подножие гор густо покрыто гуано.

Не просто разобратся в этом гомонящем, хлопотливом царстве. И все же можно. Постепенно, привыкнув, начинаешь различать в жизни базара свой ритм, свою иерархию. Прежде всего замечаешь, что «жилплощадь» здесь при всей толчее и мельтешении разделена довольно четко, похозяйски: верхние позиции на скалах захвачены крупными хищниками—бургомистрами, чуть ниже поселились бакланы, в узких расщелинах и нишах прячутся чистики, все ровные карнизы и выступы сверху донизу принадлежат кайрам, а между их скоплениями, на совсем уже отвесных стенках, цепляясь за трещины и неровности, лепятся гнезда белосерых моевок. Ни одно удобное местечко не ускользнуло от внимания птиц, они примостились даже за водопадом, отгороженные от света струей летящей влаги.

Да и движение птиц только на первый взгляд кажется беспорядочным, в нем есть свой смысл и согласованность. Одни сидят на гнездах, насиживают яйца, другие «мotaются» на кормежку к полыньям и разводьям, иные борются за место под солнцем: покушаются на чужое гнездо или, наоборот, отгоняют агрессивного соседа.

— Ты, наверно, удивляешься, как они живут в таком бедламе?—спрашивает Василий.—А ведь шум им необходим, они просто не могут без него. Тишина была бы для них убийственна. Каждая птица чутко реагирует на любое изме-

нение в звуковой партитуре базара, и это помогает ей определиться. Я составляю сейчас карту шумового поля базара, ребята из Киева прислали прибор для записи уровня звуковых колебаний. Посмотрим, что получится!

Как-то я слышал магнитофонную запись воя волков с параллельным комментарием зоолога и... музыковеда. Последний доказывал, что волчий голос не такой уж примитивный набор звуков, в них есть даже зачатки гармонии. Советую теперь в шутку Василию показать свои пленки музыканту:

— А что, любопытно!—вставляет он свое любимое словечко.—Обязательно покажу. У нас в зоологии такое положение: много накопителей знаний и мало анализаторов. Пора выходить на другой уровень исследования. Обобщения нужны! На универсальной основе, с привлечением всех наук! Мне, например, археологи помогли определить возраст базаров. Они нашли на древнеэскимосской стоянке у Чертова оврага кости кайр—значит, уже тогда, три с половиной тысячи лет назад, эти птицы здесь гнездились. Потом возраст базаров пришлось отодвинуть еще дальше, ко времени возникновения острова. Это уже область палеогеографии. Или другой пример: мы решили сделать горизонтальные аэрофотосъемки базаров, обратились за помощью к топографам и летчикам. И благодаря им увидели привычное другими глазами!

— Но знаешь, что меня больше всего поразило тогда?—добавляет он минуту спустя.—Поведение пилотов. Однажды самолет попал в стаю чистиков, не меньше тысячи,—так летчики не за себя испугались, птиц было жалко...

Дорогу нам преграждает мыс с зияющей аркой, уткнувшийся прямо в гряду торосов наподобие носорога. Первые из трех ворот Уэринга. Пока мы огибаем их, карабкаясь по льдинам—пройти под аркой мешает разлившаяся вода,—охраняющий ворота бургомистр, недовольно покрикивая: «Так... Так... Так...», зорко наблюдает за нами, а потом вдруг, сорвавшись, бросается в атаку. Выбирает он меня, с Василием, должно быть, свяксы, проносится над самой головой, окатив воздушной волной от своих двухметровых крыльев. Мало ему, заходит во второй раз и пикирует еще ближе: иди, мол, отсюда подальше, а то хуже будет! Я здесь хозяин! Смешно, а все же холодок внутри—клюв у него увесистый и когти здоровые...

Бургомистр давно уже отстал, а Василий все посмеивался в бороду:

— Не понравился ты ему. А представь, нападет такой, а ты на скале висишь. И отмахнуться нечем! Или когда припай разнесет, тут непропуск, плывешь на резинке, а он сверху—бац! Нельзя расслабляться. Арктика... Вообще жизнь базара полна скрытого напряжения и опасностей,—переходит он на

серьезный тон.—Здесь все очень спешат—за считанные дни надо совершить брачный ритуал и вывести потомство. И все начеку. Чуть зазевался—и конец. Никакой дружбы—жестокий закон выживаемости. Слабый обречен.

Драки на базаре действительно явление обычное. Особенно неуживчивы моевки—то и дело схватываются в воздухе, долбят друг друга клювами, сшибают ударами крыльев.

— Если моевка садится на гнездо, как бабочка,—объясняет Василий,—значит, одно из двух: спаривание или драка. Бьются беспощадно, не на жизнь, а на смерть...

— Вот еще одна жертва естественного отбора,—он поднимает со льда окоченевшую моевку.—Исследователю здесь, чтобы добыть экземпляр, не надо убивать птиц, и так хватает. А добывать подранков пришлось научиться. В университете этого не проходят. И каждую такую птицу нужно вскрыть и изучить по десяткам признаков. Чем больше, тем лучше. Скажешь, чистая статистика, для чего это нужно? Видишь ли, я всерьез занялся фенетикой, наукой о внешних признаках птиц, пытаюсь распутать вопрос об эндемиках острова. Ты что-нибудь слышал о чистике Таяна и кайре Геккера?

Признаться, я имел лишь самое смутное представление об этих подвидах. Знал, что их впервые открыл и назвал зоолог Леонид Александрович Портенко еще до войны и что с тех пор никто этим не занимался. Вспомнил и статью Василия о моевках, в которой он доказывал, что врангелевские птицы заметно отличаются по внешности от «номинала», приведенного в определителях, и что изменчивость эта—следствие длительной привязанности к острову, изоляции... Меня поразило другое: чтобы написать статью в неполные четыре страницы, Василию пришлось осмотреть двести пятьдесят тушек чаек, сделать полторы тысячи промеров. Дублирование данных исключалось—все птицы выносились с припая на берег и там закапывались.

— Так вот, любой чистик на Уэринге—это чистик Таяна и любая кайра—кайра Геккера,—просвещает меня Василий,—то есть это особые формы, возникшие в процессе эволюции. У них и крылья чуть длиннее, и по окраске здешнюю птицу можно отличить сразу. Я-то, положим, это знаю, но надо еще научно доказать. Тут без статистики не обойтись. И без этого!—Он заворачивает моевку в полиэтиленовый пакет и укладывает в рюкзак.

Впереди уже показались вторые ворота Уэринга, когда мы услышали грохот—здоровенная глыба, высоко подпрыгивая, прокатилась по скалам и тяжело врезалась в лед. Туча птиц одним махом взвилась в воздух.

— Отойди подальше!—предупредил Василий, и вовремя: потревоженный падением глыбы щербистый склон приходит

в движение, полосы мягкого сланца ползут вниз, увлекая за собой большие и мелкие камни, сметая все на своем пути.

Обвал давно затих, а птицы не могут уgomониться, должно быть, обсуждают происшедшее или успокаивают друг друга. Испугались не зря: случается, птиц, сидящих в гнездах, особенно неповоротливых кайр, убивает при камнепаде.

Вторые, центральные, ворота Уэринга еще называют Хоботом—они и впрямь издалека пхожи на хобот мамонта или слона, вмержший в лед. Несмотря на постоянные удары моря, хобот этот удивительно долговечен, его можно видеть на старых фотографиях, сделанных первыми островитянами, и с тех пор он совсем не изменился.

Над самым входом в ворота мы замечаем двух сидящих рядышком необычных, экзотического вида птиц: размером с утку, черно-белые, с огромными треугольными красно-желтыми клювами и темными полосками у глаз, они кажутся разрисованными и очень напоминают попугаев. Ипатки! Я видел этих птиц только раз, неподалеку отсюда, на острове Геральд, но хорошо запомнил. На Врангеле они редкие гости, гнездятся не каждый год.

А чуть в стороне от неподвижных, словно позирующих в профиль ипаток из глубокой расщелины беспомощно свисает клюв третьей, такой же, но мертвой птицы.

— Что с ней приключилось?—раздумывает Василий.—А знаешь, это редкая возможность. В коллекции заповедника ипатки нет. Будем доставать!

— Как?—недоумеваю я.

Погибшая птица метрах в пятнадцати над головой, на нависшей скале.

— Достанем,—упрямо повторяет Василий.—Ты мне помо- жешь? Завтра же начнем.

Еще в начале пути я обратил внимание на отдельные, разрозненные стайки, которые держались особняком, в стороне от скал, на ледяных полях между торосами. На фоне напряженного, пульсирующего ритма и неустанной озабоченности базара эти лениво и без всякой видимой цели разгуливающие птицы выглядят довольно-таки странно. Что за отщепенцы? Открытой воды поблизости нет, значит, нет и кормежки. Может быть, просто отдыхают? Или выбыли из игры, потеряли свое гнездо, пару?

— Интересный вопрос,—размышляет Василий.—Я еще не разгадал до конца. Отдыхать им сейчас некогда, надо насиживать яйца и добывать корм. Вполне возможно, что эти птицы и в самом деле не смогли по какой-то причине совершить брачный ритуал, где важен каждый момент, не прощается ни одна ошибка... Отсев в естественном отборе? Школа для неудачников, которые пока еще только учатся жить в базаре? Не утверждаю—предполагаю, ведь мы еще так мало знаем о птицах!

Как ни странно, чем больше человек узнает о животных, тем загадочнее они кажутся.

Почему морские птицы живут колониями? Какой коллек- тивный «разум», внешне стихийный, на деле математически точный, управляет базаром? А загадки миграций?

Вот пролетела мимо полярная крачка—вертлявая кри- кунья с длинным хвостом, мелькнула и скрылась. Вроде бы мы неплохо ее знаем, она есть в наших музеях, в определите- лях, монографиях, энциклопедиях—и все же ускользнула от полного понимания, осталась чудом.

Эта небольшая птица дважды в году, весной и осенью, совершает предельный по протяженности на Земле путь— гнездится в Арктике, а зимует в Антарктиде! Стартовав здесь, крачка устремляется вдоль берегов Евразии на запад и только потом, огибая побережья Атлантики, спускается к югу, покрывая в общей сложности десятки тысяч километ- ров. Прекрасный символ единства жизни на планете—от полюса до полюса! Причем такие сверхдальние полеты совершают не только взрослые птицы, но и молодняк, впервые вставший на крыло, который проделывает свой путь на зимовку раньше и независимо от родителей, без всякого опыта и примера.

Каким образом рассчитывают птицы воздушную трассу над океанами и материками? Как угадывают время прибытия с точностью до дней? Все это пока для нас область неведомого.

Чувство географической ориентации у птиц невозможно объяснить ни зрительной, ни двигательной памятью, возмож- но, это «шестое чувство», как-то связано с магнитным полем Земли, так как трудно представить себе какой-нибудь другой универсальный механизм, внутренний навигационный прибор, который бы регистрировал положение в простран- стве. Вот почему так важно сберечь каждый вид жизни на планете—он несет в себе свою, неповторимую возможность существования, биологические способности, пока что недо- ступные нам. Да, человеку есть чему поучиться и у птиц!

Каждый настоящий профессионал имеет свою рабочую философию. Труд исследователя—это не только преодоле- ние внешних препятствий, но и постоянная борьба с собой: чтобы дойти до истины, надо вооружиться знаниями, накоп- ленными предшественниками, и в то же время не стать рабом этих знаний. Естествоиспытатель должен смотреть на природу как бы впервые, без шор на глазах, с ненасытным детским любопытством. И тут может помешать груз устояв- шихся и не всегда верных представлений, под гипнозом которых, если слепо принимать их, можно пребывать долгие годы.

Как часто в описаниях птичьих базаров встречаются слова «несметное», «бесчисленное»... Это о количестве птиц.

А почему, собственно, бесчисленное? Можно сосчитать. Василий разделил Уэринг на шесть участков и ежегодно проводит более или менее точный учет пернатого населения. И данные эти имеют не только научный, но и сугубо практический смысл: во-первых, мы знаем теперь, каким живым богатством в действительности здесь обладаем, и, во-вторых, можем по колебанию численности судить о состоянии видов птиц и о пользе наших природоохранных мер. В том-то и дело, что богатства природы не «бесчисленны»! Неточное слово выдает устаревший и ложный взгляд на природу, из-за которого мы успели натворить столько бед, а в конечном счете ограбили себя, свое настоящее и будущее.

В труде зоолога скрыт удивительный парадокс: наблюдая за поведением животных, ему постоянно приходится бороться со своей «человечностью». Как от нее избавиться? Мы на свой лад то слишком упрощаем жизнь животных, то слишком усложняем ее, а главное—невольно наделяем дикого зверя своими чувствами. Это очень понятное очеловечивание животных даже вошло в науку под названием «антропоморфизм»...

Помню, когда мы работали на медвежьих берлогах, изучали жизнь «царя Арктики», Стас, начальник нашей экспедиции, частенько слишком увлекался, шел на рискованное сближение со зверем. В ответ на наши предупреждения он приводил такой убийственный аргумент: «Понимаете, медведь просто не имеет права меня тронуть! Я ведь для него стараюсь...»

И вот теперь Василий признается:

— Никак не могу смириться с отсутствием гуманизма у птиц. Каждая только за себя. На чужом яйце могут построить свое счастье!

Замечательное признание. Опять неистребимый антропоморфизм! Думаю все же, пока человек остается человеком, ему, сколько ни борись с собой, от этого не избавиться.

Уэринг замыкает с юга третьи, самые высокие ворота и громадная обвалившаяся скала.

И опять приходится карабкаться по грязно-серому скользкому льду, сгрудившемуся здесь на высоту трехэтажного дома, поддерживая друг друга, перепрыгивать через трещины, осторожно переходить по коварным снежным мостам-перемычкам, нависшим над провалами между торосами.

Рев базара остается за спиной, берег впереди резко понижается, простираясь вдаль черным сланцевым выступом без единого признака жизни. Многоводный ручей, падая в море, широко разлился у берега, припай подтаял, растрескался, покрылся черными зияющими промоинами—дунь отжимной ветер и, пожалуй, не устоит, разломается окончательно.

Не сразу, лишь основательно поблуждав по предательскому, будто не желающему отпускать нас льду, выбрались мы наконец на прибрежную гальку. Осталось последнее препятствие—подняться по крутому каменистому склону. И на это ушло не меньше часа. Под тонким слоем сыпучего сланца все тот же лед, ноги скользят, зацепиться не за что, шагнешь несколько раз—и съезжаешь в исходную точку вместе со щепнем. Жди, пока остановится осыпь, и снова вверх—«шаг вперед, два шага назад»... Хорошо, что Василий взял в дорогу ледоруб—с его помощью, метр за метром, вырубая ступеньки, мы и взобрались наверх.

Привал! Теперь можно отдышаться и обтереть пот. И хорошо же было посидеть тут на камне, прислушиваясь к накачивающему волнами гулу базара, поглядывая с высоты на горизонт, заставленный льдами—всеми этими, вот уж действительно бесчисленными торосами, ропаками и несьяками,—посидеть рядом с человеком, посвятившим себя птицам, и подумать о его неистребимой, «вредной для науки» человечности...

Пять веков назад жил один великий любитель пернатых, автор знаменитой «Джоконды» и менее знаменитого «Трактата о птицах»—Леонардо да Винчи. Биографы рассказывают, что еще в детстве он любил ходить со своим дядей Франческо в луга, собирать яйца чибисов. Дядя однажды спросил племянника, не различает ли тот в птичьем крике слова и даже целые фразы. Не спрашивают ли, мол, птицы, что они за люди и что им здесь нужно? «Да, именно это я слышу»,—ответил Леонардо. В следующее их путешествие Франческо спросил: «А не кажется ли тебе, что птицы кричат: «Пошли вон, негодяи!»?» Племянник ответил, что не только кажется, но что он совершенно отчетливо различает именно эти слова. Так они соревновались в изобретательности, угадывая смысл в птичьих голосах и удивляясь своему пониманию...

— А не кажется ли тебе, что птицы кричат: «Пошли вон, негодяи!»?—спросил я Василия.

— Нет,—засмеялся он,—они кричат: «Приходите еще!»

И я подумал, что это, пожалуй, вернее. Ведь чибисы посылали дядю и племянника «подальше», потому что те отбирали у них яйца. А мы чем провинились?

Другой отряд нашего «десанта» уже дома. Ходили они под скалами семь часов и не устали, натянули между столбами веревку и пробуют горное снаряжение. Докладывают Василию: задание выполнено—собрали и притащили к балку всех погибших птиц, обнаружили несколько песцовых нор, видели кречета и канадского журавля.

Заползаю в спальник. Гудят ноги, разламывает тело, в ушах еще стоит птичий галдеж. Последнее, что различаю,—голос Большой земли из радиоприемника:

— Для вас поет Татьяна Шмыга!

Спасибо. Что она поет, уже не слышу. Проваливаюсь в сон и там летаю над скалами Уэринга вместе с птицами. Рядом—все мои спутники. Крылья—птичьи, голоса—человечьи...

На следующий день выходим на операцию «Ипатка». Погода пока благоприятствует: по-прежнему сияет солнце, веет легкий ветерок, не будь его, при таком обильном таянии все вокруг тотчас бы заволочло туманом.

Маршрут начинаем с вершины Уэринга. Теперь мы поменялись местами с птицами; они роятся внизу, в глубокой пропасти под нами, мы наблюдаем за ними сверху. И ор базара отсюда уже иной, не такой резкий, отражаясь ото льда, доходит до нас слитным приглушенным эхом.

В укромном месте между камнями у Василия устроен склад снаряжения; отбираем и укладываем в рюкзаки толстые связки веревок, карабины, крючья—все, что может понадобиться сегодня.

Потом начинаем спуск по гребню горы, на Хобот. Это только издалека скалы кажутся голыми. В малейших выбоинах и ложбинках встречаются изумрудные лужайки мха, покачивают желтыми, почти прозрачными лепестками полярные маки, стелются белые соцветия камнеломки и нежно пахнущей, похожей на кашку ложечной травы.

Жители верхнего этажа базара—беринговы бакланы—встречают нас подозрительно. Эти осторожные, молчаливые птицы грациозного вида—стройные, хохлатые, с длинными шеями и хвостами, крючковатыми клювами и черным, отливающим металлическим блеском оперением—выбирают для гнездования самые недоступные места. Изучены бакланы еще слабо, в картотеке Василия раздел, посвященный им, самый тощий, и ему мало наблюдать за птицами со стороны, надо заглянуть в их гнезда, подсчитать яйца и птенцов, если они вывелись.

Подвешена веревка, я стою на страховке, оранжевая каска Василия, подрагивая, как поплавок, медленно скользит по пологой скале. Ему удастся спуститься метров на тридцать, он уже добирается до крайнего, нависшего над пропастью козырька, зависает на фоне белеющего далеко внизу припая... Слышу грохот падающих камней, козырек ненадежен, а как раз под ним-то и расположились бакланы. Веревка вибрирует, ходит из стороны в сторону—Василий еще и еще раз пытается подобраться к гнездам. Потом замирает.

— Иду наверх!—доносится его голос.

На этот раз неудача. Бакланы недосыгаемы.

— Ничего,—утешаю я Василия.—Главное—ипатка.

И вот гребень позади, мы на Хоботе. С узкого обрывистого пятачка на его вершине базар открывается во всей

красе—от северных до южных ворот, в обычном своем неумолчном гвалте, с кипящей на стенах жизнью, воздухом, густо расчерченным снующими птицами. Видим мы внизу и наших товарищей, вторую группу, фигурки их кажутся игрушечными, меньше оловянных солдатиков.

Однако место, на которое мы попали, уже занято, конечно же не кем иным, как его величеством бургомистром. Правда, этот базарный староста не в пример другим своим сородичам миролюбивого нрава, он только парит над нами с тревожным криком и держит под прицелом, не упускает из виду. А тревожиться ему есть о чем: на пятачке, рядом с нами, в неглубокой, небрежной кучке мха, ползает и тычется по сторонам беспомощный серенький пуховичок, быть может, первенец базара—птенцы пока вывелись только у бургомистров. Пока Василий обвязывает веревкой торчащий каменный зубец, мне приходится «пасти» птенца за родителей—он все время выползает из гнезда, рискуя свалиться с обрыва.

Через несколько минут мы оставляем семейство в покое. Полдела позади: веревка укреплена и сброшена на лед. Остальная работа ждет нас внизу, на припае. Но это уже завтра.

По маленькому плато на вершине Уэринга держим путь к балку. Дорогой подкрепляемся шоколадом. Внезапный порыв ветра вырвал обертку из рук, бумажка, кружась, улетела на несколько метров вниз и застряла между камнями. Василий не поленился, спустился за ней и, вернувшись, вздохнул:

— Не люблю, когда бросают... Здесь должно быть чисто.

Сверху хорошо просматривается выгнутая подковой бухта Драги с ее чистой, крупной, словно отборной галькой, залитая нежными акварельными красками низко висящего солнца, а за ней—желтый монолит мыса Литке.

И в голове возникает замысел еще одной «операции», о которой уже столько думано в Москве. Эта бухта, сейчас такая светлая, уютная, притихшая, стала однажды свидетельницей трагедии и отчаянной борьбы за жизнь. И совсем иначе, чем мы, увидели ее люди, гибнущие здесь...

Тоже июльские дни. 1914 год. На галечнике бухты две белесые, истерзанные ветром палатки. В одной из них склонился над записями исхудалый, бородатый человек в изорванной одежде. Он строчит по-английски: «В нашей жизни есть только одно светлое пятно—полночное солнце. Время не играет роли, темноты нет, и ночь ничего не значит... Всё—против нас. Вокруг мясо, но оно добывается необычайно дорогой ценой. Июль оказался самым тяжелым в наших испытаниях, и мы часто доходили до голодовок. Мы ели хвосты и плавники, которые валялись вокруг нашей стоянки так долго, что сгнили и разложились, временами вынуждены были жевать кожу... Все мои внутренние органы

перестали работать. В туманные дни я пытался чинить одежду, но она сгнила и не держит стежков. Мои силы все убывают, каждый шаг дается большим усилием воли. Что больше всего мучает кроме истощения—это все нарастающее чувство одиночества. У меня нет ничего общего со спутниками, кроме отчаяния. Когда мы бодрствуем, единственная мысль: придет ли помощь? Упаси нас Бог зимовать здесь. Это безнадежно.

Будущее не в моих руках. Да свершится воля Твоя!»
Как попали сюда эти люди?

«Карлук»—судно Канадской арктической экспедиции—отправился в Ледовитый океан для открытия новых земель. Ему с самого начала не повезло: попал в дрейф и льды унесли его от побережья Аляски к острову Врангеля. Корабль не выдержал сжатия и затонул, а люди выбрались на лед и затем с большим трудом достигли берегов острова, в то время необитаемого. Но не все—восемь человек погибли во льдах. Капитан «Карлука» Бартлетт сделал героическую попытку спасти оставшихся: он в сопровождении эскимоса отправился на собаках через пролив Лонга за помощью. Тогда же по просьбе Канады шел на спасение и наш ледокол «Вайгач», но вынужден был вернуться из-за поломки винта.

О походе своем Бартлетт расскажет в книге «Последнее плавание «Карлука»». А вот о том, как жили оставшиеся на острове спутники капитана, до сих пор мало что было известно. И лишь в 1975 году один из робинзонов, восьмидесятивосьмилетний учитель из Глазго Вильям Маккинли, поведал миру об этом в своей книге ««Карлук»—неизвестная история одной арктической экспедиции». Тогда, на острове, он—совсем еще молодой метеоролог экспедиции—день за днем вел подробный дневник.

Их осталось здесь пятнадцать душ: канадцы, американцы, шотландец, норвежец, эскимосская семья с двумя маленькими детьми и еще несколько собак и черный кот по кличке Негритос. Сборный интернациональный экипаж, почти все встретились с Арктикой впервые. Без самых необходимых запасов продовольствия, оружия и снаряжения прожили они здесь полгода—с марта по сентябрь,—доверясь судьбе.

Самым большим лишением Маккинли считает «отсутствие товарищества, душевного тепла»: «Среди нас царило настроение «каждый сам за себя». В нормальной обстановке мы были бы самыми обыкновенными людьми, наши странности и уязвимые места замечали бы только близкие. Хороший руководитель мог проявить лучшие черты каждого—капитан Бартлетт был таким,—но без вожака крайнее положение и болезни умножили в каждом все слабости, все отклонения, все недостатки в тысячу раз».

Книга пестрит случаями обмана, симуляции, воровства,

вражды, даже само слово «Врангель» ассоциируется у автора с английским «wrangle»—раздор, ссора (одна из глав так и называется «Wrangles on Wrangel Island»—«Раздоры на острове Врангеля»). Друг другу не доверяли, зорко следили, кто сколько съел, утаивали пищу. Исключением были одни эскимосы, они просто работали не покладая рук, без жалоб, упреков и раздражения, видно, такая жизнь не была для них чем-то необыкновенным. Охотник Куралук не только обеспечивал свою семью, но был и главным добытчиком пищи для всех.

Не мудрено, что остров показался этим людям адом.

Перед поездкой сюда я еще раз перечитал эту книгу. Фотографии, опубликованные в ней, сейчас отчетливо встали перед глазами. На них хорошо видны и лагерь, и мыс Уэринг, и мыс Литке—точная привязка к местности. Можно искать! Вася не только согласился помочь мне, но и сам загорелся этой идеей. И в тот же день, после короткого отдыха, мы отправились в бухту Драги.

Находки начались сразу же. На том месте, где, судя по фотографиям, стоял лагерь, вблизи от мыса Литке, в русле обмелевшего ручья, мы обнаружили под бревном плавника и нанесенным сверху слоем гальки череп моржа с хорошо сохранившимися бивнями. Вокруг валялось много разнесенных водой костей. (Маккинли: «20 июля Куралук добыл своего первого моржа и—так случилось—единственного. Мы с огромным трудом вытянули громоздкое тело на кромку берега. Таким голодным, как мы, любое мясо показалось бы восхитительным».)

Стали искать кострище и наткнулись на него—тут же, на берегу ручья. Множество углей, обгорелых деревяшек и одно большое дерево с торчащим корневищем, тоже обугленное сбоку (это дерево есть на фотографиях в книге). Сдвинув его, мы увидели под ним с десяток старых деревянных колышков для палаток. А поодаль—следы еще одного кострища и множество разбросанных по тундре старых, наспех сделанных колышков. (Маккинли: «Мы передвинули палатки вдоль берега, чтобы вокруг было чисто».)

Попадались нам различные деревянные со следами обработки, и среди них—два бруска с рядом сделанных вручную отверстий, из которых торчали обрывки продетой жилки—остаток какой-то снасти, возможно, для ловли птиц. (Маккинли: «Куралуку пришла в голову блестящая идея: почему бы не попробовать ловить кайр сетью? С большой осторожностью мы, держа сеть в руках, подобрались к полынье, в которой плавали птицы, и одним махом накиннули ее. Ни одной не удалось улететь. Это была неожиданная удача. Наше настроение поднялось...»)

Мы с Васей обошли и тщательно осмотрели весь берег бухты—и нигде больше не обнаружили никаких признаков

возможной стоянки. Для проверки решили поставить себя на место потерпевших кораблекрушение: где бы мы тогда разбили лагерь? И сошлись на том, что именно здесь. Прежде всего нам нужен был бы хороший наблюдательный пункт — спасение могло прийти только с моря, — чтобы вовремя увидеть корабль и дать знать о себе выстрелами и огнем костра. Такое место — легкодоступная вершина мыса Литке, рядом, дальше по берегу, обзор закрывает мощный массив Уэринга. Нам нужна вода — ручей на всем берегу бухты только здесь.

Итак, и фотографии, и находки, и анализ по принципу «я сделал бы так» не оставляли сомнений: мы нашли стоянку людей с «Карлука».

В такие вот июльские дни, как теперь, даже в такую погоду, их положение достигло критической точки. К тому времени уже произошла трагедия в отделившейся от основного лагеря, поселившейся в бухте Роджерса группе: двое умерли от болезней и недоедания, третий сошел с ума... У оставшихся же почти исчезла надежда на спасение, взамен ей приходило ясное понимание, что грядущей зимы не пережить. Маккинли неутомимо пишет дневник:

«Я проснулся от выстрела и услышал крик Вильямссона: «Бредди застрелился!» Бредди был мертв. Он лежал в своей палатке, маузер — рядом. Был это несчастный случай или он просто не мог выдержать перспективы зимовки на острове? Мы никогда не получим ответа. В присутствии всех Вильямссон разобрал его имущество. Все вещи, пропавшие из моего мешка, оказались там, включая мой компас, который был спрятан в носок.

Целый день Куралук и я, как могли, копали могилу на вершине маленького холма за лагерем... Я провел и следующий день в рытье и в конце концов смог положить Бредди на покой, покрыв его грудой плавника, над которой мы положили шкуры и сложили дерн, чтобы сохранить от зверей.

Жизнь продолжалась...»

«Маленький холм» над лагерем был, и мы его осмотрели. Наверху среди мха выделялось продолговатое поросшее травой возвышение, и валялось несколько полуистлевших обломков плавника — тут-то, по всей видимости, и была могила несчастного Бредди.

К тому времени, когда капитан Бартлетт, благополучно перебравшийся через пролив Лонга на материк, привел на остров спасательное судно, оставшиеся там люди уже были на грани гибели.

«Наконец вся история «Карлука» рассказана, — заканчивает Маккинли свою книгу. — Я никогда не устану благодарить Господа за то, что он пронес меня через кошмары острова Врангеля.»

Здесь, на берегу бухты Драги, мы с Василием прочитали еще одну страницу истории острова. Теперь осталось только сдать наши находки в музей заповедника.

...С каждым днем ходить под скалами становится все труднее. Солнце и море на глазах плавят и расшатывают припай, снег просел, лед посинел, больше трещин, шире разводья. Уже у самого подножия Уэринга выглядывает из промоины любопытная нерпа. И птицам теперь не надо летать далеко за кормом, он приплыл к ним сам — вода кишит мириадами желтеньких рачков-бокоплавов.

Операция «Ипатка» продолжается. Наш приятель бургомистр, сидя на Хоботе, с интересом наблюдает, как мы, подняв раструбы бахил, расхаживаем по лужам на льду припая, гадая, как подступиться к красному клюву на скале. Прежде всего обдергиваем веревкой торчащие камни, чтобы проверить, насколько они крепки — если уж полетят, то хоть не на голову... Затем, подтащив большой каменный обломок, привязываем свисающую веревку, к ней прикрепляем дугую, потоньше, так, чтобы при ее натяжении на основной веревке не сползали узлы «ступенек». Моя задача — выбрав более или менее безопасное место под скалой, держать «ступеньку», упершись в лед, натягивать тонкую веревку.

Начинается восхождение. Метр за метром, подтягиваясь на руках и переставляя карабин, Василий «шагает» вверх, сначала сравнительно легко, потом все медленнее и медленнее... И мне держать «ступеньку» становится тяжело, ноги скользят, разъезжаются — хорошо, подвернулся рядом каменный выступ, цепляю за него свою веревку, эта опора помогает устоять. И вот Василий зависает против желанного гнезда. Сняв с пояса приготовленную заранее палку, он, раскачиваясь, как маятник, пытается извлечь птицу на свет. Не тут-то было: и палкой в гнездо не сразу попадаешь, и птица, как выяснилось, застряла в щели с оттопыренным крылом. Не потому ли она и погибла?

Эта неожиданная помеха чуть не сорвала всю нашу операцию. Однако Василий не хочет отступать, изловчившись, он все же сумел достать птицу. Теперь ипатка в наших руках!

Перед уходом я решил осмотреть давно манившую меня пещеру у Хобота, что-то неудержимо тянуло меня туда. И не пожалел: я увидел редкостное зрелище.

Представьте себя внутри огромного шара, стены которого сплошь заросли ледяными кристаллами и снежными звездами, мерцающими отраженным холодным светом; под ногами — гладкая отполированная дорожка с вашим собственным отражением, а впереди — ослепительно белое возвышение, этакий ледяной алтарь или трон, трон — чей же? Да уж не иначе как самой Снежной Королевы. Жаль только, хозяйки

пещеры нет на месте — должно быть, именно отсюда переселилась она в детские сказки и сны... Так я нафантазировал вначале, но тут заметил у подножия трона здоровенную суковатую дубинку, вылизанную морем, взял ее, взвесил в руке — точь-в-точь орудие неандертальца, прямо музейный экспонат! — и грезы улетучились. Вот и угадай, чья это обитель!

Как люди попадают в Арктику?

Кого-то позвало дело, кто-то оказался здесь случайно, по воле судьбы, сделавшей выбор за него, а кто-то рвется сознательно, неудержимо, преодолевая все преграды и барьеры, как будто на Севере и впрямь свет клином сошелся. Бродягу по натуре толкает вдаль охота к перемене мест, иному тесно и душно в больших городах, и он жаждет жизненного пространства, простора, тот потерпел крах и решает начать все с нуля. Одни ищут дело, другие — себя, некоторые — всего-навсего гоняются за «длинным рублем». Каждый идет сюда своим путем и со своей целью. Открывая новое, человек открывает и себя. «Северное притяжение» — не миф, а давно доказанная реальность. Племя несправимых романтиков тоже, слава богу, еще не перевелось, что бы ни говорили иные чересчур трезвые и унылые мудрецы. Но романтика романтике рознь. Любителей дешевых приключений и экзотики быстро сдувает с макушки Земли студеным ветром, остается другая романтика, она делается людьми и делает людей, но и дорого стоит, за нее порой платят жизнью. Это о ней сказано: «На свете всегда будет существовать романтика для тех, кто ее достоин...»

Василий Придатко окончил биофак Киевского университета. На распределении его спросили: «Куда хотите поехать?» — «На Север». У председателя комиссии сползли на нос очки: «Это же далеко! А куда именно на Север?» — «В Арктику». — «Но это же совсем далеко!..»

Киев в Арктику не распределял, и Придатко получил престижное место в Институте зоологии Академии наук Украины. Однако Север продолжал мучить и звать. Однажды Василию попала в руки книга известного полярного зоолога Успенского «Родина белых медведей», в которой тот приглашал молодых специалистов поработать на острове Врангеля. Василий поймал автора на слове, послал письмо: приглашаете — я готов! Успенский посодействовал, связал с управлением, которому подчиняется заповедник. Пришлось поломать голову, как убедить главк, и, вконец измучившись, Василий взял да и перекатал на бумагу строки из письма Георгия Алексеевича Ушакова, в котором знаменитый открыватель нехоженых земель более полувека назад тоже убеждал начальство послать его на остров Врангеля.

Ответ был такой: заповедник только встает на ноги, в

научном отделе всего два человека, ждите, при случае окажем помощь... Лед тронулся, надо было его подтолкнуть. Василий полетел в Москву. И добился-таки!

Его ждала еще бюрократическая волокита в институте — никак не хотели увольнять. Отказываться от места, которого другие домогаются годами, о котором мечтают всю жизнь? Да в здравом ли он уме? Пришлось подавать специальное заявление в президиум Академии наук, в том, что он, Придатко, в случае возвращения претендовать на оставляемую должность не будет. Теперь копия этого документа хранится у Василия как реликвия.

Когда он пришел брать билет в агентстве Аэрофлота, молоденькие кассирши битый час теребили справочники и телефоны, выясняя, как попасть на остров Врангеля. Помогла карта, висящая в зале ожидания, Василий отыскал на ней ближайший к острову населенный пункт материка и попросил: «Ну, раз на остров нельзя, дайте до Шмидта. Оттуда как-нибудь доберусь...»

Так он попал на остров Врангеля. Было это в августе 1978 года.

Спустя год мы вместе изучали белых медведей на Дрем-Хеде. Круг научных интересов Василия определился не сразу, поначалу он разбрасывался — хотелось заниматься слишком многим, но постепенно удалось, как он мне писал, «осознать главное и отбросить второстепенное»: темой его изысканий стали птицы острова, точнее, морские колониальные птицы, или птичьи базары, почти совсем еще не исследованные.

Письма приходили нерегулярно, но каждый раз содержали какое-то событие. Можно сказать, Василия на острове преследовали удачи. Начались они со встречи на мысе Блоссом с невероятной по числу саей розовых чаек — Василий с товарищами насчитали тогда близ мыса около шести тысяч этих птиц, кормящихся в прибрежной шуге (вся мировая популяция розовых чаек — это каких-нибудь двадцать тысяч птиц, даже встреча с одной из них — счастливый случай...). Должно быть, такое скопление было связано с ледовой обстановкой, вызвавшей массовую миграцию чаек в полярном бассейне. Что-то необычное творилось с этими птицами в ту осень — через месяц в США, в штате Иллинойс, тоже наблюдали фантастическое скопление розовых чаек (об этом сообщали газеты), так что невольно приходило на ум: уж не наша ли, с Врангеля, стая достигла Америки?

Несколько лет подряд Придатко обследовал совершенно не изученные еще птичьи базары западного берега. «Бессилен одним взмахом авторучки показать западное побережье, — писал мне Василий. — Жил в одиночку на скале, в палатке, целых два с половиной месяца. Днем — на базаре, вечером писал этюды, акварели, размышлял о смысле жизни

у бивня мамонта, выбеленного полярным солнцем, ветрами и дождями. Все, что созрело в голове, наверно, оформится рукописью «Мой дом на скалах»... Хлопотливой была и осень, ибо случилось приключение, а их следует избегать в наших широтах. Зажало льдами, катер пришлось вытащить на берег, море стало. Продукты на исходе, по рации нас плохо слышат. Выбрались чудом...»

В другом письме: «Судьба дала мне возможность взять в руки экземпляра чрезвычайно редкой птицы (была найдена мертвой в бухте Сомнительной)—миртового певуна, представителя американской залетной фауны. В отечественной фауне был обнаружен ровно сто лет назад единственный экземпляр (!) экспедицией Норденшельда и с тех пор не встречался. Сие сообщение войдет в одно из фаунистических обобщений».

Закончив изучение западного побережья, Придатко переместился на восточное, на мыс Уэринг, и даже дальше—провел первое подробное орнитологическое обследование острова Геральд. Одна за другой появлялись в печати статьи, еще больше лежало в рукописях, дожидалось своего часа. Созрела диссертация, и давно можно было защищаться, но все не хотелось подводить итог—каждое «поле» давало простор для продолжения работы. Кандидатская по обилию материала уже больше смахивала на докторскую...

Удачи... Нет, труд, труд, да такой, что и жизни на него не хватит, столько задумано. Потому что и хочется ставить точку в диссертации. Ну, и остров, конечно, виноват—дает возможность и сегодня быть пионером науки, первооткрывателем.

Сидим с Василием на вершине Уэринга. Только что мы обнаружили на подтаявших, осевших снежниках остатки двух медвежьих берлог, не замеченных при весеннем учете. Там же подобрали ветхий медвежий череп с дыркой от пули.

Василий внимательно рассматривает его.

— Наследие прошлого. Теперь на острове совсем другая эпоха...

И, оглядевшись, добавляет:

— Ощущаешь величие? Плейстоценовый пейзаж! Какие толщи!

— Неужели не привык?—спрашиваю я.

— Не привык. Самому не верится—я здесь...

Невозмутимо сияет полночное солнце. Снизу накатывает неумолчным прибоем птичий гомон. На горизонте, за ледяным проливом, отчетливо проступает черный гранитный массив острова Геральд—часть заповедной земли, зона абсолютного покоя.

— Счастливые мы с тобой люди,—говорю я Василию,—мы еще видели необитаемые острова...

Когда вернемся в балок, Василий возьмет гитару и споет

свою песню о Дрем-Хеде, сочиненную в память о друзьях и о пройденных маршрутах.

Сказкой сегодня гавань Дрем-Хеда,
дружба матросов старого брига.
Многое было—снега и победы,
грохот пурги и музыка Грига.

Выдумка брига не кажется шуткой.
Гавань Дрем-Хед—далеко не Кейптаун.
Солнце служило нам боцманской дудкой,
дом же когда-то поставил Нанаун...

Я увезу пленку с этой песней в Москву и там, когда будет одолевать тоска по острову, снова услышу негромкий голос Уэринга:

Дочка рисует в тетради обычной
дом человеку и дикому зверю,
чертит окошки рукою привычной—
это для солнца, для солнца, я верю.

Снова вернутся сюда медвежата!
Встретятся люди и добрые гномы.
Если же крыша сугробом прижата,
мы откопаем и будем как дома...

Как трудно поставить точку в рассказе о сегодняшних днях! Все это уже было написано, когда я получил письмо от Васи Придатко: «Лето я опять провел на Уэринге, вместе с женой. Она—свидетель всех событий и основной помощник. Памятуя твою просьбу и наш план, мы установили на берегу бухты Драги небольшой столбик с надписью: «В 1914 году здесь был лагерь группы Р. Бартлетта с корабля «Карлук», затонувшего у берегов острова Врангеля». Его наличие может подтвердить медведь, который появился там через пятнадцать минут после нашего ухода. Он все внимательно прочел и проверил. Может, это был дух бедного Бредди. Его могила, несомненно, имеется неподалеку—холмик с обильной растительностью и остатками бревен, которые жег Маккинли, чтобы разогреть мерзлую землю...»

Примерно в то же время, когда пришло это письмо, включив как-то вечером приемник, я услышал знакомые слова: Врангель, «Карлук», Бартлетт... Канадское радио на русском языке вспоминало о судьбе той трагической экспедиции. Но что я слышу? «Сейчас на острове Врангеля находится один из самых жестоких советских лагерей. Об этом свидетельствует некто Табулевич, который побывал там... Правда ли это, мы никогда не узнаем...»

Вот как это делается! Остров Врангеля далеко, выдумывай сколько угодно—кто-нибудь да поверит! Что тут скажешь?!

А еще недавно я узнал, что на то место, где я держал веревку во время операции «Ипатка», обвалилась скала.

Выяснилась и причина гибели ипатки, которую мы достали: внутри птицы был обнаружен кусок пластмассы...

«Я люблю Уэринг, мне больно, когда его калечат,— писал Василий.— Да, неприступный старина Уэринг нуждается в защите. На берегу бухты Драги встречаемость пластиковых предметов уже превышает десять на километр. И море несет не только пластик. С этим необходимо бороться. Я занялся новой проблемой всерьез».

Заканчивает письмо Василий на мажорной ноте: «Были на Уэринге и медведи, огромное количество. Все объясняется годом «открытого моря». Оно действительно открылось до горизонта, подарив нам серых китов, белух, моржей и розовых чаек. Я видел сто восемнадцать птиц...»

ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ



— Хок! Хок!—упряжка мчится по припаю, огибая торосы, пересекая трещины в голубых, зеленых и белых льдах. Полярная весна. Но в этом скованном стужей, оцепеневшем мире живым пока кажется только солнце—набирая силу и высоту, оно незаметно обгоняет нас по безоблачному небу.

Езда на собаках—это работа: то и дело вскакиваешь и бежишь рядом с нартой, помогая упряжке в трудных местах, а заодно и греешься. Но вот выдалось ровное поле, и Нанаун, сидящий впереди, оборачивается. Смотрит он, как всегда, исподлобья, чуть насмешливо.

— Хоть ты и полярник, я тебя учить буду. Соль взял? Знаешь, как по-эскимосски «соль»? Та-а-гью. Так звали моего отца—Тагью. Понял? Люблю пересоленное! Хок!

Он швыряет остол в заднюю, заленившуюся лайку, подхватывает его на ходу и надолго умолкает, втянув шею в ворот кухлянки. Мой спутник невелик ростом, но скроен крепко и ладно, весь, как говорится, из жил и костей. Пышная шапка волос, когда-то угольно-черная, уже посветлела от паутинок седины, лицо—смуглое, обветренное, с глубокими морщинами и редкой щетиной тундровика—

поначалу кажется мрачным, даже угрюмым. А улыбка—какая-то смущенная, беззащитная, по-детски открытая.

Нанаун—мой старинный друг. Когда я впервые попал на зимовку на остров Врангеля, он был тут своего рода достопримечательностью. Кто лучший охотник? Нанаун. У кого лучшая упряжка? У Нанауна. Кто лучше всех знает остров? Опять же Нанаун. И вот еще почему тянуло меня к этому человеку: Нанаун—один из первых робинзонов острова Врангеля, один из тех, кто в 1926 году основал здесь постоянное поселение и остался жить навсегда. То, что для меня—история, для него—жизнь.

Сотни верст проехали мы на собаках после нашего знакомства, много ночей скоротали в его охотничьей избушке. Вот и сейчас, оставив за спиной людный поселок в бухте Роджерс со всеми доступными ему благами цивилизации, мчимся туда, где на пустынном берегу тонет в снегах одинокое зимовье.

И с каждой встречей я узнаю о судьбе Нанауна все больше и больше...

Родился он в древнем селении Урелики (бухта Провиденция). Всесильные боги неба, моря и земли не жаловали иннуитов—так называли себя эскимосы—и часто посылали им голод. Духов было много—еды мало. Долгой полярной ночью, когда истощались запасы, ели и собак. Случалось, Айнана, мать мальчика, крошила и варила в котле жесткие, как резина, кожаные ремни. Бывало, на исходе зимы кончался жир для светильника, пламя гасло. Нанаун, свернувшись калачиком между братьями и сестрами, ждал, за кем из них придет Тугныгак—хитрый, злой дух, проклятый черт, который крадет у человека тень и потом, как на ремне, уводит его в смерть. За тонкой кожаной стеной яранги раненый медведем ревела пурга, и страх сжимал маленькое сердечко Нанауна.

Летом было хорошо: льды оживали, начиналась охота. Отец Нанауна промышлял морского зверя, и мальчик помогал ему, мечтая стать таким же охотником, как отец, как отец отца, а еще лучше, как Йерок—самый удачливый в селении зверобой. Для сородичей Нанауна мир замыкался недалеко от грядкой сопок, из-за которых приезжали за товарами оленные чукчи, и морем-кормильцем, по которому приплывали иногда большие корабли из неведомых стран. На этом краешке земли рождались и умирали предки Нанауна, здесь и он думал прожить. Но случилось иначе.

Он хорошо запомнил тот летний день, когда в бухту вошел русский пароход «Ставрополь». К берегу причалила шлюпка, из нее выпрыгнул высокий усатый человек. И в эту самую минуту раздался отчаянный детский крик: из яранги

Йерока выскочили голышом, с громким плачем две его дочки, а за ними—пьяный отец с гарпуном в руке. Он уже догонял их, уже занес свое оружие и, наверно, метнул бы, если бы усатый не подставил ему ногу. Старик со всего маху полетел в песок. Потом, мгновенно вскочив, замахнулся гарпуном на чужака. Но тот человек был спокоен, ноги его, решительно расставленные, не двигались, а глаза прямо смотрели в мутные стариковские. Под этим взглядом Йерок обмяк, закашлялся и, сплюнув, спросил тихо:

— Ты всегда так делаешь?

— Всегда,—ответил усатый.

— Наверно, ты хорошо делаешь,—Йерок, понурившись, побрел назад, к яранге.

Ушаков—так звали усатого—целый день ходил по жилищам эскимосов, знакомился с ними и уговаривал ехать с собой, на остров Врангеля, где, по его рассказам, хорошая охота, но нет пока ни одного человека. Советская власть, говорил Ушаков, решила обжить остров, и вы будете его полными хозяевами...

Охотники внимательно слушали, качали головами—эти доводы их не убеждали. Ведь по древним заветам, эскимос не должен покидать своей земли, покинувший свою землю никогда не вернется обратно. Да и уж больно молод был тот, кто звал их за собой.

Так ни с чем и отбыл Ушаков на корабль. А на следующее утро к борту подошла байдара. Из нее вылез Йерок; поднявшись по трапу, он попросил провести его к умильцу—старшему.

— Спасибо, дочка спас,—сказал он, увидев Ушакова.— Я убить тебя хотел, совсем дурной был, голову потерял. Потом пошел домой, спал, потом думал, много думал... Говоришь, всегда так делаешь? Ты хорошо делаешь! Мне сказали, ты зовешь нас куда-то на остров. Но видел, как мы живем, у нас мало ружей и патронов, совсем нет запасов...

— Об этом не беспокойтесь, все нужное для охоты вы получите,—ответил Ушаков.

Йерок помолчал, потом улыбнулся и протянул руку:

— Я не знаю, где остров, я знаю, что ты хороший человек. Кончил думать. Еду.

Авторитет Йерока среди эскимосов был так велик, что вслед за ним отправиться на остров решили и Тагью, и его братья Кмо и Етуи, и еще несколько семей. Среди них был и шаман Аналько, этот хоть и согласился ехать, но сразу предупредил охотников, что как раз в северной стороне, и, возможно, именно на острове Врангеля, обитает коварный дух Тугныгак, насылающий на людей холод, голод, пургу и смерть. Может быть, я сговорюсь с ним, пообещал Аналько, может быть, сумею его задобрить...

Когда пароход пробился сквозь льды к южной оконечно-

сти острова и бросил якорь в бухте Роджерса, Нанаун стоял рядом с отцом на палубе. Ушаков не обманул, вокруг острова кипела жизнь: на льдинах грелись большие стада моржей, из воды то и дело выскакивали блестящие головы нерп, по небу с шумом носились птичьи стаи. Но берег был пустынен. За полосой тундры громоздились горы, уходящие на запад и на восток, на самых высоких белел снег. Тревога была в глазах эскимосов: что ждет их здесь?

Началась высадка. Воздух огласился лаем собак, роко-том вельботов. Скоро на берегу встали палатки и яранги, задымили костры. Остров перестал быть необитаемым.

— Та-та! Та! — Нанаун резко тормозит. — Слышишь, нарта кричит. Жалуется, смазать просит.

Он переворачивает нарту, достает из-под кухлянки флягу и клок медвежьей шкуры. Набрал в рот воды, брызгает на шкуру, потом водит ею по полозьям. Повойдав нарту, хвастается:

— Мои собачки не устают. Сами везут, знают дорогу.

Упряжка — его любимая тема, начав рассказывать о ней, Нанаун не скоро кончит.

— О собаки, они лучше всех нас! Вот только стариков у меня много, молодняк нужен. Дома уже подрастают три щенка, видел? Хорошие будут лайки! Поехали?

Разбежавшись, мы снова прыгаем в нарту.

— Хок! Хок! Остатка, не ленись, вон полярник видит, что ты плохо работаешь. Уголек! Много бегал Уголек, еще Анакуля возил. Помнишь Анакуля? Друг был, вместе с ним на остров приехали. А когда умер Анакуль, я с горя напился, ногу о столб повредил. Там, где дом Ушакова стоял. Теперь нога болит к непогоде... Якуклюку! — вдруг сердится он. — Не так быстро. Далеко ехать!

Нанаун тоже помогал строить первый на острове дом. Правда, проку от него было мало, ведь он до этого ни разу не держал в руках плотницкий инструмент. Учись, говорил отец, мужчина должен все уметь! «Мужчине» исполнилось тогда столько лет, сколько пальцев на обеих руках и одной ногой.

Ушел пароход, на острове остались шестьдесят человек — три русские семьи и эскимосы. И первая же полярная ночь чуть не стала последней для переселенцев. Рано похолодало, установились жестокие морозы. Штормовые бураны тянулись неделями, сменяя друг друга почти без передышки. Ветер бил по крышам яранг, и от этого они гудели, как бубен шамана. Охотиться в такую темень и пургу нельзя, а заготовить мяса успели немного — запасы его быстро таяли. Собак кормили вареным рисом, они от непривычной пищи теряли силы и умирали одна за другой.

Остров будто решил испытать пришельцев. Начались болезни и среди людей. В январе — «месяце инея в ярангах», — сильно простудившись, слег Йерок, и тут доктор оказался бессилем, изношенный организм не смог побороть недуга. Это была огромная потеря: эскимосы лишились своего вождя, а Ушаков — самого опытного и преданного товарища.

Нанаун помнит, как хоронили старика. По команде Тагью (он как-то само собой стал теперь верховодить среди эскимосов) покойника заботливо одели в меховую одежду, уложили на оленью шкуру и, прижав сверху длинным деревянным брусом, увязали ремнями — будто спеленали ребенка. Все сели вокруг покойника, поставили на него блюдо с мясом, молча ели и пили чай.

После этого тело Йерока вынесли из яранги и завели «разговор» с ним. Покойник знал только два слова: «да» и «нет». Етуи и Кмо поднимали тело за концы бруска, и, если оно тяжело отрывалось от земли, значит, Йерок отвечал отрицательно, если легко — соглашался.

Спрашивал Тагью.

— Отчего ты умер? Не зашаманил ли тебя кто?

Етуи и Кмо с трудом подняли покойника: нет.

— А после тебя никто не умрет?

— Нет.

— Будет ли у нас мясо?

— Да.

— Закапывать ли тебя?

— Нет.

— Ты, наверно, пойдешь туда, где твоя жена?

— Да.

Йерок кончил говорить.

Пока собаки везли умершего на сопку, Нанаун, как и другие, несколько раз подходил и терся о него то боком, то плечом — чтобы Йерок забрал с собой все болезни. На месте погребения с покойного сняли верхнюю одежду, разрезали ее ножом, разломали на несколько частей нарту и, свалив все в кучу, придавили камнями.

— Теперь Йерок не придет за нами, — шепнул Нанауну отец, — пока он будет все это чинить, забудет дорогу.

Простившись со стариком, они долго петляли по снегу, чтобы запутать следы, а дома разожгли костер и хорошенько потрясли над ним одежду: пусть огонь очистит их от смерти.

Но беда, как известно, не приходит одна. Вскоре тяжело заболел и Георгий Алексеевич Ушаков — острое воспаление почек. Среди эскимосов началась паника: это Тугныгак, сам Тугныгак мстит за непрошеное вторжение! Никто не ехал на охоту, вместо этого все собирались в яранге Аналько, который беспрестанно шаманил, да, видно, зря — упрямый дух никак не хотел брать его под свое покровительство.

Наконец шаман сдался:

— Где живет черт, человеку не место!

Пошли разговоры о бегстве. Не пора ли, пока не поздно, покинуть остров и перебраться через пролив Лонга на материк, на родную землю?

Узнав об этих настроениях эскимосов, Ушаков понял: необходим какой-то решительный шаг. И он пригласил их к себе. Дом, где жили русские, по самую крышу утопал в снегу и напоминал сейчас берлогу; эскимосы еле уместились в комнате начальника, уставленной книгами, ружьями и какими-то блестящими загадочными приборами.

Георгий Алексеевич лежал в постели, бледный, похудевший, обросший бородой. Он спросил:

— Почему вы не едете на охоту?

За всех отвечал Тагью:

— Зачем ехать, умилык? Все равно черт не даст никого убить. Вот Йерок поехал на север и умер, ты поехал—и заболел. Так будет со всеми нами, если мы не уйдем с острова...

— Ну, а со мной вы поедете на охоту?

Эскимосы пошептались, и Тагью сказал:

— Нет, умилык, теперь мы и с тобой не пойдём.

— Почему? Вы же говорили, что я большевик и черт большевиков боится.

— Верно, умилык, мы это говорили. Но ты тогда был здоров, а теперь слаб, и хозяин острова тебя не боится. Он убьет всех нас...

— Раз так, я поеду один,—твердо сказал Ушаков.

Он приказал запрячь собак, с трудом оделся и, взяв карабин и патроны, вышел.

Эскимосы обступили его.

— Ты куда, умилык?

— Драться с вашим тугныгаком!

— Ты слаб. Он убьет тебя!

— Неправда! Его не существует! Я привезу мясо. И вам будет стыдно. Женщины будут над вами смеяться!

Страх охватил эскимосов. Кто победит в этом поединке—злбный дух или умилык? «Плохо!—причитал Аналько, трясая головой,—очень плохо! Сильно рассердился Тугныгак. Пропал начальник совсем».

Через несколько часов, уже в темноте, собаки привезли Ушакова домой. Рядом с ним на нарте лежала медвежья шкура и большой кусок свежего мяса. Эскимосы были потрясены: вот ведь как—даже больной, умилык смог выследить, убить и освежевать зверя. И Тугныгак не помешал!

Все так и было: за перевалом Ушакову удалось добыть медведя. Но тут силы покинули его. Теряя сознание, Георгий Алексеевич, чтобы не выпасть из нарты, привязался к ней

ремнями. Счастье, что на обратном пути собаки не напали на след другого медведя...

Так была подорвана вера эскимосов во всемогущество хозяина острова—Тугныгака. Ушаков вскоре поправился, а летом началась большая охота: островитяне заготовили много моржового и тюленьего мяса, песцовых и медвежьих шкур. Кризис миновал.

Яркий, в полнеба, закат. Навстречу нам задула поземка, и упряжка, сбавив ход, еле тащится сейчас против течения в стремительной оранжевой реке снега. Окрепший мороз кусает щеки, приходится растирать их рукавицей. Нанаун завел какую-то длинную, протяжную песню, от которой клонит ко сну. Тереблю его за плечо:

— Нанаун, о чем шаманишь?

— Там перевал Скурухина,—показывает он во мглу.—О, там всегда ветер! Самый сильный—северяк. Вот я и говорю ветру: погоди, мы проедем, тогда и дуй на здоровье...

Он усмехается, гикает на собак, но через минуту снова поворачивается ко мне.

— Я не шаман, я охотник. Вот дедушка мой был настоящий шаман. Он слышал какие-то голоса и видел сны, даже когда не спал. Лечил, разговаривал с мертвыми и духами... Он знал то, чего не знают другие. Понимаешь? И отец шаманил, но уже мало. Последний шаман на острове был Аналько.

— Ну и что, Аналько и вправду имел дело с чертом?—допытываюсь я.

— Не знаю. Но он тоже делал то, чего не могут другие. Я сам видел, как он отрезал свой язык. Кай!—Нанаун вдруг делает страшное лицо, выхватывает из ножен, висящих на поясе, большой нож и чиркает им у самых губ.—Вот так—раз!—отрезал свой язык и бросал собакам. И они что-то ели. Я сам видел! Гипноз, что ли, какой-то? Не знаю...

Нанаун возвращает нож на пояс и заканчивает с улыбкой:

— А я не шаманю, я просто пою. Быстрее ехать!

На второй год своего пребывания на острове эскимосы для более успешного промысла расселились по разным участкам. Семья Тагью обосновалась на северном берегу, сюда же переехал и Аналько, при этом он сообщил, что наконец-то договорился с Тугныгаком и теперь может защитить эскимосов. Русскому доктору они пока что не очень доверяли и тайком от умилыка частенько навещались к шаману.

Однажды Аналько лечил младшую сестру Нанауна—Кейвуткак. На камлание собралось много народу, в полутемной яранге стало жарко, все разделись до пояса. Гремел бубен, глухой, властный голос шамана то уносился куда-то,

будто под землю, то возвращался, нарастая до крика,—это шаман ловил сбегавшую тень Кейвуткак, а сама больная по его приказу сидела рядом, сняв и положив перед собой меховые чулки. Наконец после долгих усилий Аналько поймал тень, выплюнул ее в чулки, и те на глазах у всех сами поползли к больной, которая мигом схватила их и быстренько, пока тень не упорхнула, натянула на ноги. Все громче рокотал, бил бубен, Аналько, мокрый от пота, выкрикивал заклинания...

И тут вдруг действительно случилось чудо: что-то сильно ударило в стенку яранги. Воцарилась тишина. Но стоило шаману запеть, как что-то опять, еще сильнее застучало по яранге. Все перепугались: сам Тугныгак явился, не иначе! Аналько стал пересказывать волю черта... Как же все удивились, когда в ярангу влез... Ушаков. Эскимосы подняли Аналько на смех. После этой истории колдовские чары шамана заметно пошли на убыль, и вскоре он и сам сложил свои «полномочия»: публично покаялся и попросил Ушакова отрезать ему прядь волос в знак отречения от шаманства.

Авторитет улылика с тех пор стал незыблемым. И больше всего нравилось охотникам то, что этот русский начальник не командует, а на равных делит с ними труды и невзгоды, ест их пищу, учит их язык. «Он все делает, как эскимос!»—говорили охотники, а это в их устах—высшая похвала.

К тому времени Нанаун уже умел ловить капканом песца, выслеживать в торосах нерпу, разделявать моржа. Но настоящим охотником он все же не мог себя считать—ведь его пуля ни разу не повалила нанука—белого медведя, царя зверей.

Как-то Тагью, вернувшись из тундры, рассказал, что видел на береговом откосе берлогу. И Нанаун решил: на другой же день запряг собак, будто бы для объезда капканов, а сам отправился на то место, про которое говорил отец. Берлогу он заметил сразу—темное отверстие ее четко выделялось на белоснежном склоне. Нанаун крепко привязал упряжку к большому камню, спустил вожака, и пес, обнюхав берлогу, истошно залаял, дав понять, что зверь здесь. Держа наготове винчестер, Нанаун осторожно подошел к отверстию. Все решилось в одно мгновение: собака отскочила, прямо перед собой Нанаун увидел сердитую морду зверя. Грохнул выстрел. Медведь дернулся и тяжело осел в снегу.

Дрожащими от волнения руками Нанаун разделал тушу, но не забыл при этом об обычае: извлек сердце и, разрезав его, кусок за куском побросал через плечо:

— Не сердись на меня, нанук! Иди, гуляй на свободе! Обрастай новым мясом.

Этот день в семье Нанауна стал праздником. Шкуру убитого зверя расстелили на полу, начался пир. Угощали и

медведя—дали ему еду, горячий чай и даже зажженную трубку. Отец взял бубен, запел, и все родные и соседи подпевали ему и танцевали, взбадривая друг друга криками. «Гак! Гак! Гак! Приходите к нам чаще, звери тундры! Приплывайте, морские звери! Прилетайте, птицы! Мы всегда встретим вас по заветам отцов и дедов...»

Много песен спел Тагью, и одна была посвящена сыну.

Когда Нанаун рассказывал о своем первом медведе, я стал уговаривать его вспомнить эту песню. Он долго отнекивался, но все же пересказал, смущаясь и посмеиваясь.

Иянга-а-а... Янга-а-а... Анга-а-а...

Слушай, небо, слушайте, горы, слушай, море!

Слушайте, звери, и ты, бог мира Киягак!

Люди, выходите из яранг и тоже слушайте!

У кого меткий глаз, ловкая рука и быстрые ноги?

Кто умеет читать по снегу и по звездам?

Кто это мчится там, обгоняя ветер?

Это едет Нанаун, победивший нанука!

Пусть солнце долго стоит на небе

И дарит нам свет и тепло,

Пусть море кормит и одевает нас,

Как прежде...

Смотрите все—

Вот едет Нанаун, победивший нанука!

Три года обживали эскимосы вместе с Ушаковым остров Врангеля. Когда пароход доставил сюда новую смену русских зимовщиков и настала пора проститься с Ушаковым, охотники не скрывали печали. Он был не только начальником, но и другом, многих из них научил говорить по-русски, от него они узнали о большом мире Земли, других народах и странах. И главное—он помог им понять: здесь, на этом острове, есть все, что нужно для жизни. Как признавался Нанаун, с тех пор он всех людей сравнивал с человеком, которого его сородичи приняли в свою семью, дав имя «умылик»—вожак, старший в роде.

За эти три года Нанаун стал мужчиной, охотником. Жизнь его вся еще была впереди. И случилось в ней всякое.

Были еще тяжелые зимовки. После отъезда Ушакова льды пять лет подряд не пропускали к острову пароход, и новому начальнику Арефу Ивановичу Минееву пришлось проявлять чудеса экономии и изобретательности, чтобы продержаться без привозного топлива до следующей смены. Плавник собирали со всего побережья. Но все это время станция не прекращала научной работы, а охотники—промысла.

Была на острове и черная година, когда на должность начальника попал Семенчук—«Вечно покрытый тучей», как прозвали его эскимосы. Этот случайно оказавшийся на зимовке человек пытался играть роль диктатора в масштабах острова, меньше года продержался, но бед принес много.

Терроризировал зимовщиков и охотников, требуя беспрекословного выполнения своих нелепых приказов, не остановился даже перед убийством. Тогда-то и появилась на острове могила, на которой стоит обелиск с надписью: «Непартийному большевику, погибшему от руки убийц в борьбе за советские принципы освоения Арктики, доктору Н. Л. Вульфсону». Семенчук был вывезен с острова, суд признал его действия тягчайшим преступлением и приговорил к высшей мере наказания.

Не раз вспоминали эскимосы в ту мрачную пору своего умилька. И может быть, именно тогда окончательно поняли, что не злые духи управляют жизнью, а сами люди.

Спроси Нанауна, как он жил, что делал в те годы и после,—ответит одним словом: охотился. Правда, поработал немного мотористом на полярной станции—обнаружил немалые способности к технике,—но все же тянуло в тундру, и он снова вернулся к зверобойному и звероловному промыслу. Да как охотился—меньше сотни песцов за сезон не добывал! После Йерока лучшим охотником был Таян, а после Таяна стал Нанаун.

На Большой земле в те годы шла большая война. Чем мог помочь фронту далекий полярный остров? Ясно чем—добычей драгоценных мехов. Чтобы лучше организовать охоту, на острове была создана промысловая артель, ее главой эскимосы единодушно избрали Нанауна.

На то собрание приехали из своих становищ все охотники. И едва председатель спросил, кто хочет выступить, откликнулось сразу несколько голосов:

— Хуанга! Я!

Эскимосы говорили о том, что Нанаун знает остров, как свой дом, и горные ущелья, и перевалы, и реки. Очень большая семья у Нанауна, но всегда все сыты, обуты, одеты. И еще говорили о том, что Нанаун помогает старикам и детям и что по ночам сидит у лампы в своей избушке и читает по книжке.

Выступил и Нанаун. Речь его была короткой.

— В детстве я плохо жил, часто болел, голодал, поэтому еле рос. Но тут, на острове, стал быстрее расти, поправился... Мы все видим, что стали другими: перебрались из яранг в дома, ходим в баню, лечимся только у врача, чисто моем посуду, умеем печь хлеб. Мы уже не инородцы, как нас называли до революции, а граждане, как все на нашей земле. Я все сказал!

Миновали десятилетия. На берегу бухты Роджерс вырос целый поселок—полярная станция, усадьба совхоза, в который приехали с Чукотки новые семьи эскимосов и чукчей. Поселок этот, в память о первом начальнике острова, был назван Ушаковским. И еще одно название появилось здесь—лагуна Нанауна—в честь известного на всю Чукотку промыс-

ловика. На карте острова два этих человека—великий путешественник и великий охотник—оставили свой след навсегда.

Уже больше десяти часов мы в дороге. Давно стемнело, ветер утих, на небе высypали крупные, чистые звезды, и, как солнце днем, лишь они кажутся сейчас живыми в ледяном, застывшем мире. Одни и те же звезды светили и светят всем людям Земли, подумал я, только называют их по-разному. Вот этот знакомый с детства ковш Большой Медведицы Нанаун зовет Оленями, Кассиопея для него—Медвежий След. Прямо перед нами сияет и склоняется к черной линии окоема Венера, большая, как несколько звезд, сцепившихся вместе, колючая, как застывший взрыв, за нею торопится и не может догнать мутный красный Марс. Это наши путеводные светила—между Венерой и Марсом и гонит упряжку мой спутник.

— Я не шаман, я охотник,—повторяет он, видно, мои слова его задела.—Не было войны—охотился, была война—охотился, опять не было войны—опять охотился. Это все, что я умею... Для чего живем?—внезапно спрашивает он. И отвечает сам себе:

— Мы живем для наших детей... Стариком стал, хочу посмотреть, какими они вырастут. Мы не всегда хорошо жили, иногда пили спирт, иногда много... дети будут лучше нас!

Поведав мне о своих ребятах—у него две дочки и два сына,—Нанаун усмехается:

— Ты дом мой знаешь—всегда шум, как на птичьем базаре. Из Анадыря молодежь приезжает—куда идти? К Нанауну. Едят, пластинку заводят, танцуют. Нанаун всех примет, всех накормит, Нанаун знает: жизнь—это люди. Там, откуда уехал, меня жена Мария ждет, там, куда еду, меня сын Саша ждет... А думаешь, умер, значит, тебя нет? Не так! Все равно есть! Вон оттуда,—Нанаун поднимает руку к небу,—оттуда мой отец смотрит. Вон оттуда мой брат смотрит...

Светло от звезд на дорогах памяти.

Собаки выскакивают на гладкий, ровный лед лагуны и, сбросив усталость, бегут еще быстрее, чем в начале пути. Рядом с Венерой, уже зацепившейся за горизонт, появилась новая звезда и начинает расти на глазах—там, впереди, огонь человеческого жилья, зимовье Нанауна.

Через час мы лежим на шкурах, разомлев от тепла и горячей еды. Сладко болит тело, слипаются глаза. Суетится только Саша, сын Нанауна,—он уже накормил собак, истопил печку и устроил в нашу честь иллюминацию—зажег сразу три керосиновые лампы. Лицо этого парня с черной, до плеч, гривой волос тоже сияет от радости, как лампа.

— Медведь растащил приманку,—сообщает он отцу.
Нанаун не отвечает. Тогда, не гася улыбки, Саша переключается на меня:

— Вот отец не хочет, чтобы я был охотником. Иди, говорит, в оленеводы. А я охоту люблю...

Нанаун важно молчит.

— Говорит, оленеводу легче. Работы меньше—зарплата такая же, и живешь дома, в поселке. А я охоту люблю...

— Охоту люблю!—не выдерживает Нанаун.— Не видишь дальше носа. Слышал новости—на острове теперь будет заповедник. Не охота, а охрана!

— Хорошая новость,—вступаю я.—Такого острова на всем Севере не сыщешь. Если его не охранять, всю живность перебьют и тундру вытопчут.

Нанаун соглашается:

— Ну да, правильная политика. Теперь надо по-новому жить, природу спасать. А ты не хочешь!—сердится он на сына.

И, повернувшись ко мне, по своему обыкновению неожиданно спрашивает:

— А зачем ты про ныфкурак сказал? Зачем, когда приехали, сказал: «Ныфкурак есть?»

— Так есть ныфкурак?—повторяю я.

Нанаун грозит пальцем:

— Это Ушакова слова, он, когда приезжал, всегда так спрашивал.

— Вот потому и сказал,—хохочу я,—проверял твою память.

Ныфкурак—высушенное на солнце и на ветру мясо лахтака—очень любил Ушаков, когда жил на острове.

— Расскажи, как Ушаков мне письмо писал. Ну, когда ты в первый раз с острова уехал,—просит Нанаун.

Он похож сейчас на мальчишку, который ждет сказку,—волосы всклокочены, глаза горят любопытством...

Вышло так, что я познакомился с Георгием Алексеевичем в последний год его жизни.

Москва. Отпуск после зимовки. Отчитавшись в управлении Главсевморпути, я вышел на улицу и позвонил из ближайшей телефонной будки...

— Это квартира Ушакова?

— Да.

— Георгий Алексеевич?

— Он самый.

— Вам привет с острова Врангеля, от Нанауна...

Пауза.

— Слушайте, а вы можете ко мне приехать?

— Когда?

— Сейчас!..

Признаться, мне было не по себе, когда я переступал порог квартиры Ушакова на Суворовском бульваре,—образ этого человека жил для меня как бы вне времени и пространства, вне реальности.

Дверь отворил сам Георгий Алексеевич—веселый, приветливый. И никакой не старик, подумал я,—высокая, прямая фигура, выбритая до блеска голова, ясный взгляд, сильное рукопожатие. Видимо, он понял мое состояние и сразу нашел такой тон общения, от которого стало легко. Пригласил в кабинет, усадил в кресло, предложил кофе.

Письменный стол Георгия Алексеевича был завален рукописями, как раз в это время он работал над книгой об острове Врангеля.

— Решил вот на склоне жизни вернуться к ее началу,—объяснил он.—Как вам нравится название—«Остров мете-лей»?

Вспоминая эпизоды первой зимовки, Георгий Алексеевич признался:

— Знаете, что больше всего помогло мне тогда выжить? Доверие эскимосов. Они поверили мне, и я не мог их обмануть. Это чистые, искренние люди, и даже хитрят—то простодушно, без корысти. Жаль, что в цивилизованном обществе такие качества давно утеряны. Однажды, когда я заболел, кто-то из них, кажется, Махлютай, сынишка Кивьяна, принес и положил мне на грудь щенка... Как еще мог он помочь? Но вот это душевное участие и было лучшим лекарством. Честно говоря, я крепко привязался к эскимосам и потом, когда уехал, долго скучал по ним. Ведь это они научили меня жизни на Севере!

В кабинете на видном месте стоял огромный глобус, рельефный, старинный, с загадочными надписями на чужом языке—такой глобус, мне кажется, мог украшать каюту капитана Немо. Когда я сказал об этом хозяину, он пошутил в ответ, что, мол, из всех его игрушек эта—лучшая и что его любимое занятие теперь—раскрутить глобус, ткнуть наобум в какую-нибудь точку и почти всякий раз окажется, есть что вспомнить об этом месте...

Встреча наша затянулась допоздна. И о чем бы мы ни говорили, разговор неизменно возвращался к острову Врангеля. Узнав, что я после отпуска снова возвращусь туда, Георгий Алексеевич заметил:

— А ведь мне на острове было примерно столько лет, сколько вам... Двадцать пять... Вот бы уехать вместе! Да куда там, эскулапы не пустят. Правда, я тут один раз,—он скосил глаза на дверь и понизил голос,—тайком от домашних слетал в Среднюю Азию... Потом попало!

Особенно подробно Георгий Алексеевич расспрашивал меня о Нанауне, слушал волнуясь, расхаживая по комнате, а потом сел к столу и начал писать.

Осенью того же 1962 года я привез на остров письмо.

— Подожди!—Нанаун вскакивает с постели и роется в большом деревянном ящике на стене.

— Вот, почитай вслух!—протягивает он пожелтевший листок.

Я медленно читаю письмо и снова переношусь в памяти в кабинет-каюту Георгия Алексеевича, вижу его самого, как он сидит за столом, глубоко задумавшись, чуть склонив голову, и неторопливо, без помарок пишет...

«Здравствуй, Нанаун! Здравствуй, дорогой друг! Ко мне зашел товарищ перед своим отъездом на остров Врангеля, и я пользуюсь случаем, чтобы послать тебе привет.

Делаю это с большой охотой, так как, по его словам, ты все еще помнишь меня. А ведь всякому приятно, что где-то на краю земли есть друг, который тебя иногда вспоминает, и что есть чем вспомнить далекие годы. Вместе с тем мне грустно, потому что из всех переселенцев, уехавших со мной на остров Врангеля, остался ты один. И сейчас, когда я мысленно разговариваю с тобой, передо мной, как живые, стоят образы всех друзей, с которыми пришлось делить радости и печали в первые годы жизни на острове. А остров Врангеля и годы, проведенные на нем, хорошо запомнились.

И теперь мне часто кажется, что я отчетливо слышу голоса всех друзей, когда вспоминаю нашу жизнь.

Время летит. Прошло много лет. Я состарился. Да и ты уже не молодой. Жизнь и моя, и твоя прошла в борьбе за Арктику, и мне кажется, что оба мы можем быть довольны результатами, так как трудились честно и делали все, что могли. Теперь идут новые, молодые люди. Они с новыми силами и новыми средствами продолжают то, что мы начали много лет назад. Можно пожелать им только успеха...

Больше всего мне хотелось бы снова побывать на Врангеле, посмотреть на знакомые картины, а потом сесть с тобой рядом и поговорить о прожитом и о тех друзьях, которые ушли из жизни, но в моей памяти все еще остаются живыми. Может быть, это еще и сбудется. Посылаю тебе свою книгу о Северной Земле (для меня это тоже дорогие воспоминания), и, если ты, читая ее, лишний раз вспомнишь об Ушакове, он будет счастлив.

Крепко жму твою руку. Желаю здоровья и хорошей охоты.

Привет всем жителям нашего острова».

...Не стыдясь слез, плачет Нанаун. Потому что это слезы любви, слезы сильного человека. И еще потому плачет он, что уже никогда больше не увидит улылика.

Мы засыпаем в ночи, полной мудрого молчания звезд. За окном через все небо полыхает полярное сияние, волны

света свиваются, расходятся арками и веерами, рассыпаются белым песком неведомых побережий...

— Завтра поедем на капканы,—говорит Нанаун.— Будет ветер—солнце село на хвост. Но это ничего. Звезды не обманут. Дорогу знаю.

Спустя несколько лет в составе экспедиции по изучению белых медведей я вновь отправился на остров Врангеля. Заранее мечтал о встрече с моим старым другом, вез ему подарки—светозащитные очки и книгу Ушакова «Остров метелей»...

Путь дальний, было время перечитать книгу, сравнить прошлое и настоящее острова. За последние годы жизнь там сильно изменилась: заповедник окреп, стал крупнейшей в Восточной Арктике научно-исследовательской базой. И кто бы ни приезжал туда—зоологи или ботаники, этнографы или археологи,—все добрым словом вспоминали Нанауна—он был надежным проводником и помощником ученых в их работах на острове. Вот и теперь наверняка поможет нашей экспедиции, укажет самые берложные места...

Самолет парил над торосами и разводьями пролива Лонга, вдали, размытые дымкой, уже проступили синие вершины острова. Вспомнилась последняя встреча с Нанауном. Сидим с ним над картой, отмечаем места, где жили и охотились первопоселенцы острова. Состарился все же Нанаун: голова совсем белая, и высох как-то, хрупкость появилась стариковская... Жалуеться: работать трудно стало, а все тянет в тундру, не сидится в поселке. Дети что—встали на ноги, сами взрослые, внуки растут. Младший сын Лева гоняет не на упряжке, а на вездеходе. Но в тот же вечер, в клубе—было Восьмое марта, праздник—как лихо танцевал Нанаун «Танец Ворона», легкий, красивый—все загляделись! И прощальные слова его в тот раз, у самолета: «Когда приедешь еще?»

Под крылом проплыл лед бухты Роджерс, домики поселка. Самолет приземлился. Как обычно, его встречала целая толпа островитян. Отброшен трап...

И тут я узнал горькую новость: Нанауна больше нет в живых.

После мне сообщили подробности. Незадолго до нашего приезда Нанаун резко сдал: испортилось зрение, одолели болезни. Жить так—в тягость себе и ближним—он не захотел, предпочел добровольную смерть: ушел из жизни с помощью ремня...

Есть в эскимосском языке такое слово—«укуюгак»—«желающий умереть». Этот обычай смерти по собственной воле был когда-то широко распространен у самого северного в мире народа; переход в небытие воспринимался спокойно, эскимосы считали, что человек бессмертен и что, умирая

здесь, он переселяется в другие края. Тот же, кто уходит из этой жизни «через ремень», попадает на небо, в страну вечного дня, где просто еще одна жизнь, подобная нашей.

Ночью не спалось. Побродив по поселку, я вышел к мысу Пролетарскому и там, недалеко от мачты Государственного флага, отыскал свежую могилу Нанауна. Красное деревянное надгробие. Проволочный заиндеветший венчик...

Я снял шапку, поднял голову к старому и вечно молодому небу, откуда, как верил Нанаун, смотрят глазами звезд ушедшие с земли люди. И припомнил: «Думаешь, умер, значит, тебя нет? Все равно есть!.. Звезды не обманут. Дорогу знаю...»

На другой день наш экспедиционный отряд выехал на запад. След вездехода прочертил снега острова от Ушаковского до лагуны Нанауна, близ которой нам и предстояло работать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ



ДОМ ЧЕЛОВЕКУ И ДИКОМУ ЗВЕРЮ

ЧИБИСЫ И ПУМЫ

— Чибис-два, Чибис-два! Я Чибис-один. Как слышите? Прием.

Чибис-два слышит хорошо. Это бухта Сомнительная. Там сейчас прильнула к наушникам лесник Марина (лесник на острове Врангеля, где нет ни одного дерева)...

— Марина, был борт. Привезли свежую капусту и абрикосы. Сколько отправить с оказией?

Вслед за Чибисом-два на связь одна за другой выходят Пумы.

— На гнездовье все спокойно,—сообщает Пума-один, орнитолог, ведущий наблюдения за белыми гусями на реке Тундровой.

— Выхожу в двухдневный маршрут,—подает голос Пума-два, геоботаник,—его палатка стоит на реке Неожиданной.—Обнаружил новый для нашей флоры вид...

Каждый вечер в двадцать три ноль-ноль эфир заповедного острова наполняется голосами. Вслушиваясь в них, я представляю себе всю эту землю с высоты—заснеженные пики и темные ущелья, длинные галечниковые косы, окру-

женные барьерами льда, и бликующие озерами тундры, отвесные береговые утесы и разлившиеся, гремящие на перекатах реки.

Коротким полярным летом, когда в Арктике вспыхивает жизнь, в разные уголки острова устремляются исследователи. Ежедневные маршруты, наблюдения, все новые записи в дневниках—свежие вести из мира природы. А вечером уютно гудит печка в палатке или в балке, закипает чай, и ближе к полуночи, как теперь, все собираются вместе—в эфире: делятся информацией, решают неотложные дела, справляются о погоде.

Из множества новостей, которыми меня встретил остров теперь, в 1985 году, именно эта—ежедневная радиосвязь—была самой впечатляющей. Раньше островитяне и экспедиционники, отправляясь в «поле», зачастую работали на свой страх и риск, без постоянной связи с поселком. Заботясь об охране природы, забывали порой о безопасности самого человека. Случалось всякое...

— Чибис-один, я Пума-шестьнадцать!—на связь вышел директор заповедника Леонид Федорович Сташкевич. Он тоже сейчас в «поле», в северо-западной части острова.

— Ждем вас здесь,—сообщает он мне.—Завтра из поселка выйдет вездеход. Не забудьте спальный мешок.

Полночь. Над горами стоит незаходящее июньское солнце, освещающая южный горизонт, крепко спаянный белым ледяным панцирем, бухту Роджерс—в ней лед уже посерел и сдвинулся, появились аквамариновые забереги и разводья, высокую стелу—памятник с барельефом первого начальника острова Георгия Алексеевича Ушакова, тесно сгрудившиеся на высоком берегу домики. В яркой, прозрачной, какой-то нереальной тишине поселок кажется вымершим, лишь изредка гремят цепью и перелаиваются собаки, да со щебетом стригут воздух пуночки. В оврагах лежит снег, а пригорки пестрят цветами—желтыми лепестками маков и лютиков, белыми звездочками камнеломок, сиреневыми подушками парии и проломника, лиловыми головками мытника,—будто это само солнце, достигнув земли, рассыпалось по ней радужными осколками.

Оно еще долго будет плавать над головой, не ныряя за горизонт, перемешивая краски неба, земли и моря, и синхронно тени гор будут кружиться, совершая за сутки полный оборот, подобно стрелкам часов. А мне опять жить заботами и тревогами острова. Встретить старых друзей и обрести новых. И снова убедиться в том, что открытие далекой полярной земли продолжается.

НАНАУН—СЫН НАНАУНА

Деловито урча, вездеход ползет по старой разбитой колее, залитой водой. Тундра насквозь пропитана влагой, а

сверху... сверху моросит холодный дождь, солнце, побаловав нас немного, скрылось за низкими, тяжелыми тучами, затянувшими все небо.

Одолев Вьючный перевал, попадаем в центральную, гористую часть острова. Пейзаж на глазах суровеет—здесь еще не наступило лето, много снега, почти нет цветов, бурлит весеннее половодье. Потеряв след, двигаемся дальше по каменистым руслам ручьев, петляем по снежным наносам, делая порой невероятные зигзаги. Удлиняем себе путь, зато не раним нежный покров тундры. Временами машина резко сбавляет ход, а то и вовсе замирает: впереди мечется растерявшийся лемминг или бежит куличиха, с тревожным криком стараясь увести нас подальше от гнезда.

Все это—и строгие правила передвижения по острову, и бережное внимание ко всякой живности—мне в новинку. Еще совсем недавно островитяне не были столь щепетильны. А уж когда здесь был совхоз, то вообще колесили как хотели, стреляя направо и налево для промысла, а то и просто из праздной забавы. Оставшиеся шрамы и раны, как и другие следы неразумного, беспощадного отношения к природе, достались в наследство заповеднику, и никто не может знать, сколько времени потребуется, чтобы они зарубцевались.

Наш водитель—молодой эскимос Лева Нанаун—молчалив и деловит, держится с большим достоинством, должно быть, дорожит честью своего знатного рода. И глядя, как ловко, с лихой небрежностью настоящего профессионала орудует Лева рычагами, я невольно вспоминаю его отца—знаменитого охотника, наши поездки с ним на собаках...

И вот я опять еду по острову с Нанауном... сыном Нанауна. На моих глазах произошла смена поколений у постоянных жителей Врангеля—эскимосов и чукчей. Что изменилось? Вчера вечером я зашел к Лева домой. Чисто, просторно, современная мебель, телевизор, на стене—ковер. В полутьме мягко стрекочет кинопроектор—смотрят «мультики». Не нужно уже беспрестанно долбить и таскать уголь для печки, в поселке теперь водяное отопление. В магазине—все необходимое, есть даже деликатесы, которые не купишь и в Москве. Да и сам Лева—вполне современный, грамотный парень, влюбленный в технику—он и в тундру не забыл прихватить «кассетник» с итальянцами и Хазановым...

Как далеко все это от старых, экзотических представлений об эскимосах—аборигенах Севера!

И все же со сменой поколений ушло в прошлое и такое, о чем стоит пожалеть. Почти исчезли на острове собачьи упряжки—хлопотно с ними, тяжело, а ведь для тундры этот вид транспорта куда безвреднее трактора или вездехода и надежнее «Бурана». Но сколько ни подбивает директор островитян завести упряжку, желающих что-то не видно.

Проблемой стала меховая одежда—лучший вариант полярной экипировки. И дело даже не в сырье—олений в заповеднике хватает, и каждый год с целью регулирования численности производится их забой,—нет умелых, опытных, не боящихся черного труда рук, способных превратить шкуру в куклянку или торбаса. Вот и щеголяют островитяне в синтетике. Оно, может, красиво и хорошо в поселке, но в тундре, особенно зимой, да если еще пурга грянет...

Еще совсем недавно, у северных народов широко бытовала такая традиция: каждый охотник или оленевод имел свою, «личную» песню, которую он сам сочинял и исполнял. Слова «петь» и «дышать» в эскимосском языке сливаются в единое слово, буквально—«дышать песней». Да и как было не петь на вольном воздухе, в долгих пеших переходах или в поездках на байдаре, на собаках или оленях? Теперь в основном ездят на моторах. Мотор не перекричишь...

Впрочем, это уже проблемы не северные, а общие. И все же, глядя на молодого эскимоса, развлекающегося у телевизора, думаешь: а не забыл ли он «Танец Ворона», который танцевал его отец? И главное, будет ли он, воспитанник интерната, так близко и хорошо знать природу, в которой ему жить, как его предки, выросшие в тундре?

Борьба с природой долго была лозунгом людей, идущих на Север. Миновали десятилетия, и лозунг покорения безнадежно устарел, стал вреден. Ведь кое-где «допокорялись» до необратимых последствий, так что и спасать уже нечего.

Сама жизнь заставила нас строить отношения с природой на основе внимательной осмотрительности и бережного доверия. Вспомнили наконец люди, что они—дети природы и что, стало быть, покоряя ее, боролись с собственной матерью,—и она, природа-мать, преподала суровый урок, еще раз научила уму-разуму и тем самым сделала нас человечнее.

На острове, где девственная природа, слава богу, еще не «покорена» до конца и не сменилась подозрительно неопределенным понятием «окружающая среда», такой поворот в сознании сказался особенно резко и отчетливо. Из шестидесяти лет, за которые осваивалась эта земля, лет сорок прошли под знаком покорения, добычи, охоты, эксплуатации природных богатств. Потом наступил период отрезвления, раздумий, стало ясно, что если так пойдет дальше, то и здесь природа быстро оскудеет, а от этого проиграет и сам человек. Появились и стали действовать строгие государственные законы, ограничивающие добычу некоторых, наиболее редких и пострадавших северных животных, набирая силу Красная книга, на Врангеле был организован заказник. И наконец, последние десять лет острова можно назвать Эрой Заповедания.

Эта резкая перемена коснулась каждого человека и

воспринималась иногда остро и болезненно. И дело даже не в отдельных варварских, оголтелых замашках: летит—стреляй, бежит—дави, край света, все равно никто не узнает! Такие дикари если и попадали сюда, то недолго удерживались. Тут надо было отказаться от привычного потребительского отношения к природе, от сиюминутной личной выгоды—ради высшего и общего блага. Во время весенних птичьих перелетов, когда над поселком проносились тысячи гусей, руки по инерции тянулись за ружьем. Случалось браконьерство, которое еще и не осознавалось за таковое: подумаешь, преступление—подстрелил гагу или оленя, поймал песца! Не все перестроились, некоторые, в том числе и из местных жителей—чукчей и эскимосов, уехали на материк, в поисках жизни повольтоннее. Остались те, кто породнился с островом, врос в эту землю, не представлял себе жизни вне ее. Кто понял: заповедник—это необходимость, и необходимость лучшая. И постепенно на смену уехавшим сюда хлынул поток других людей, самим смыслом работы для которых было сохранить и умножить богатства природы. Изменился даже словарь островитянина: потеряли смысл привычные выражения—охотничий участок, фактория, появились и укоренились в сознании новые—кордон, рекреационная зона, зона абсолютного покоя.

Нанаун-отец всю жизнь охотился, его отношение к природе диктовалось необходимостью промысла, добычи зверя. Нанаун-сын природу охраняет...

Такие мысли одолевали меня, пока вездеход отмеривал километры, пересекая срединную часть острова.

Тем временем небо еще больше потемнело, дождь перешел в снег, и скоро вся тундра вокруг стала белой. За один день мы, таким образом, побывали сразу в трех сезонах года: выехали летом, миновали весну, а сейчас оказались в самой настоящей зиме.

Внезапная остановка. Можно размять ноги и оглядеться. Хотя смотреть, собственно, и не на что: видимость минимальная, от белизны больно глазам, в тишине слышен только шорох падающих снежинок.

Заблудились, думаю я и вытаскиваю карту. Но Лева на карту не смотрит.

— Мы у ручья Бурлуцкого,—спокойно говорит он.— Перекурим?

Насколько я знаю, такого названия на карте острова нет.

— Какого Бурлуцкого? Уж не Саши ли?

— Ну да, его, Александра Михайловича. Это место известное...

Ничего себе! Интересно, знает ли сам Саша, что его именем назван ручей, к которому мы сейчас приехали? Я хорошо знаком с этим одержимым человеком, первым главным лесничим заповедника, немало сделавшим для его

становления. Вот ведь как случается: он уже давно на материке, а память о нем живет и даже сама собой, без всяких формальностей, закрепились в местной топонимике.

Такое я замечал и раньше: на острове до сих пор возникают подобные, незаконные, географические наименования—есть еще что называть! И пусть ручей Бурлуцкого не зарегистрирован официально, мы его сейчас на свою походную карту с удовольствием нанесем. Там уже есть перевал Беликова—сколько раз карабкались мы по нему с бессменным начальником экспедиции «Умка» в поисках берлог! Есть ручей Сыроечковского—Евгений Сыроечковский много лет изучал белых гусей и боролся за их спасение. И если имена этих людей не забылись, значит, добрую память оставили они после себя.

Своя история у долины Гномов. В этой небольшой долинке, когда она еще не имела названия, стояла избушка—база наших «медвежьих» экспедиций. Самое неприятное было вылезать по утрам из спального мешка на холод. Полежать бы еще, время до подъема есть, но... вчера вечером, как обычно, «чай гоняли». И вот кто-то ворочается, ворочается, а потом не выдерживает—и вон из спальника, за дверь. Ему и печку затапливать. Называлось это—«гномики позвали»...

Спустя несколько лет долина Гномов не только прочно вошла в словесный обиход островитян, но даже попала на страницы серьезных научных трудов. Вряд ли авторы подозревали, откуда взялось это романтическое название...

Еще час пути по ручьям и распадкам, и впереди сквозь снегопад проступает высокая гора со знакомыми очертаниями. Это Тундровая, по-местному просто Пик. У его подножия и должна быть сейчас Пума-шестнадцать—директор заповедника. Вынырнул из-за пригорка аккуратный балок на полозьях, над трубой вьется дым, обещающая отдых и горячую пищу. И надпись над дверью крупными буквами: «Природа умнее нас».

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ СПУСТЯ

— А Гёте говорил: «Природа всегда права»,—комментирует надпись Сташкевич.—Для того мы здесь и «бичуем», чтобы у нее поучиться...

Тепло и уютно, все разместились вокруг стола, один директор на ногах, он на правах хозяина кашеварит—кормит нас дымящимся борщом и макаронами с тушенкой, заваривает крепчайший индийский чай «со слонем».

Здесь, у Пика, находится сейчас походный штаб заповедника. В ближайших окрестностях—целое семейство Пум. К востоку, на реке Неизвестной, териолог изучает жизнь леммингов, к северу, в низовьях реки Тундровой, московский

зоолог исследует песцов, а в верхнем течении этой реки, совсем неподалеку от нас, стоит палатка орнитологов, наблюдающих за гусиным гнездовьем.

Только что к нам в балок ввалилась Пума-четыренадцать—Володя Казьмин, загорелый, обветренный бородач богатырского телосложения, по виду—образцовый полевик. Так оно и есть, Володя бывает в тундре едва ли не больше всех. Он специалист по копытным—овцебыкам и оленям, а чтобы уследить за ними, нужны хорошие легкие, крепкие ноги и соответствующая закалка.

Казьмин пришел сюда со своего стационара на Дрем-Хеде, где с мая вел наблюдения за овцебыками. Дорога тяжелая, очень устал, но рад такому большому обществу.

— Вашей избушки в долине Гномов уже нет,—сообщает он мне.—Развалилась окончательно. Мы на ее месте поставили новое жилье, даже маленькую баньку соорудили. Жить можно. Дрем-Хед теперь—родильный дом не только белых медведей, но и овцебыков тоже. Основное стадо почти круглый год пасется там вместе с телятами, при нас еще два народились.

— Значит, прижились. А сколько их всего?—спрашиваю я.

— Да уже за сорок. Вдвое больше, чем завезли. Тревоги, конечно, были. Когда их доставили с Аляски, они сначала разбрелись в разные стороны и «потерялись», были случаи гибели. Но уже через два года адаптировались, дали приплод. С тех пор численность все время растет, смертность ничтожна. Прижились, это точно. Новая популяция на острове!

— Ну, ты так расписываешь, будто они на необитаемый остров попали и мы здесь ни при чем,—иронизирует кто-то.

— Да нет, «при чем», конечно. Мы их из поля зрения не отпускаем: запретили технике приближаться к стаду, отстреливали волков—иногда появляются здесь эти «охотники»... Теперь не только овцебыки освоились, но и мы лучше знаем их. Ведь вернулись прямо из ледникового периода, десять тысяч лет спустя! А зверь этот—замечательнейший, идеально приспособленный к Арктике.

— Вот нас упрекают в убыточности,—продолжает разговор Сташкевич,—говорят, что заповедник в тягость экономике. Это близорукость! Заповедник охраняет природу не для абстрактных целей, а для общественного блага. Он работает на будущее! Это ли не польза? Но мы готовы и на сиюминутную отдачу. И пример этому—овцебыки. Мы предложили, используя наш генофонд, организовать в ближайшие годы на Чукотке научно-экспериментальную ферму этих животных. Уверен, что и там они приживутся. Как, Володя?

— Должны,—откликается Казьмин.—Живут же на Таймыре...

— Заповедник не может и не должен замыкаться в себе,— горячо доказывает директор.— Большинство наших зверей и птиц—кочевники, скитальцы, они не признают границ, установленных людьми. Вот, положим, белый гусь. Если его быт на пролете, все наши усилия по существу сводятся на нет. Удалось договориться с американцами—они ограничили отстрел белого гуся. И что же? Сразу резко возросло количество прилетающих на остров птиц. Но и этого мало. Мы изучаем миграционные пути гусей и добиваемся создания охранных территорий в местах пролета... Овцебыки перешагнут в двадцать первый век. Надо, чтобы и белый гусь перелетел!

БЕЛЫЙ ГЕРОЙ КРАСНОЙ КНИГИ

Встречи с белым гусем я ждал с особым интересом. Судьба этих редких птиц, занесенных в Красную книгу РСФСР, поистине драматична. Человек взялся за спасение белого гуся с опозданием, когда численность его была сильно подорвана. Из-за неумеренной охоты было нарушено экологическое равновесие, ослаблена жизнеспособность островной популяции, в результате чего она оказалась уязвимой перед лицом беспощадной арктической стихии и перед хищниками, главным образом песцами.

Меры охраны, конечно, сказались на состоянии здешнего гнездовья—единственного в нашей стране. И все же положение оставалось неустойчивым и сильно менялось год от года, в зависимости от погоды и условий гнездования. Гнездовье как бы «пульсировало», количество птиц на нем то возрастало, то падало, продолжая держать исследователей в тревоге. Выживет ли оно? Как спасти? Наметились точки зрения—оптимисты и пессимисты, сторонники радикальных мер (отстреливать песцов, уничтожать оленей!) и умеренные (не надо вмешиваться, гуси сами справятся!). Столкновения мнений, яростные споры о судьбе этих птиц не утихают до сих пор.

За период с 1969 по 1979 год количество гусей на острове сократилось почти втрое. Затем вроде бы наступил перелом (следствие заповедания!): численность птиц стала постепенно расти, достигнув рекордной за последние десять лет цифры—около ста тысяч. В отчетах появилась долгожданная запись: «Популяция в удовлетворительном состоянии». Оптимисты брали верх.

Однако в 1983 году случилась настоящая катастрофа.

Как всегда, в двадцатых числах мая гуси возвращались на остров из дальних странствий, летели тысячами стаями, такого их количества даже старожилы не видели давно. Но гнездиться им было негде. Глубокий снег лежал в долинах, покрывал сплошной пеленой место гнездования. На редких

проталинах сумели устроиться лишь немногие пары, остальные с криком носились вокруг, откладывая яйца прямо на снег или в чужие гнезда, которые быстро переполнялись и из-за этого покидались хозяевами. В таких «бросовых кучах» наблюдатели насчитывали порой до сорока пяти яиц, большей частью треснувших от холода. Несчастьем птиц не замедлили воспользоваться песцы, поморники, бургомистры—они попиروвали всласть...

Затяжная, суровая зима сменилась холодным летом, свирепствовали метели, заноса гнезда снегом, температура воздуха падала до минус пятнадцати. Люди видели, как гибнет гусиное потомство, но были бессильны помочь.

В начале июля на гнездовье оставалось только 96 гнезд, а птенцы вывелись лишь у тех гусей, которые смогли выдержать постоянные, яростные атаки песцов. Для этого и гусак, и гусыня должны были неотлучно находиться около гнезда, потому что бороться с песцами в одиночку не под силу.

В то печальное для гусей лето на всем острове вывелось около двухсот птенцов, а до осеннего перелета дожили единицы. Урон популяции был нанесен страшный и, казалось, непоправимый. Сбывались самые мрачные предсказания пессимистов...

И все же последнее слово в споре сказали сами птицы. Миновал еще год, и гнездовье снова ожило—ученые насчитали здесь двадцать одну тысячу гнезд. И погода на сей раз смилостивилась, насиживание прошло успешно.

Очутившись рядом с многострадальным гнездовьем, я, конечно, хотел собственными глазами убедиться в его целостности и сохранности.

— Рветесь к гусям?—разгадал мое намерение Сташкевич.—Да у них все в порядке, гусей нынче не меньше прошлогоднего. Окончательный итог подведем, когда появится потомство. Там сейчас самый ответственный период—насиживание, лучше их не беспокоить.

И заметив мое огорчение, добавил:

— А гнездовье вы все-таки увидите. Но другое...

Долго не могу заснуть. За окошком все падает и падает косой, мокрый снег. Мысли невольно возвращаются к гусиному племени. Как они там? Не повредит ли им снежное ненастье? И что это за гнездовье обещают мне?

Утро развеяло все тревоги. Снова победно сияет солнце, унося последние островки снега. Мы перекочевали с места ночлега южнее, в обширную долину реки Мамонтовой. Здесь-то, в теплой, укрытой от всех ветров межгорной котловине, и разъяснилась фраза, брошенная директором.

Прямо передо мной открывается величавая панорама: с запада обступили горизонт бурые, пологие Безымянные и Мамонтовые горы, на юге взметнулись купола Черной и

Инkáли, на востоке хмуро проглядывают издалека Берри и Советская—самые высокие на острове, никогда, даже перед солнцем, не снимающие свои ледяные шапки. А позади, за спиной, замыкая это исполинское шествие, подпирает небо четкая, геометрически правильная пирамида горы Маяк. То ли из-за испарений, исходящих от отогревшейся земли, то ли из-за быстро несущихся курчавых облаков горы кажутся живыми—они будто слегка дышат, колышутся, покачивают вершинами. В низкой ложбине бурлит ручей Веселый. Собирая с позеленевших склонов мелкие струйки и ручейки, сверкая солнечными искрами, звонко и вольготно, как играющий жеребенок, бежит он вприпрыжку по накатанной дороге от истока до устья, к реке Мамонтовой.

И весь противоположный берег ручья, выгнувшийся подковой, усеян большими белыми птицами с черными кончиками крыльев. Легкий ветерок доносит их домовитый, мирный гогот и хлопанье крыльев. Есть они и на нашей стороне, и здесь можно рассмотреть их получше, без бинокля.

Гуси держатся дружными парами. Самка большей частью сидит на гнезде, и если отходит иногда пощипать траву, то лишь недалеко и ненадолго, не упуская из внимания драгоценную кладку—кучку белых яиц на сухой пуховой подстилке. В заботах о будущих гусятах мать не жалеет себя—этот пух она надергала с собственного живота. Задача гусака—охрана гнездового участка. Стоит соседу в поисках корма перелететь или забрести на чужую территорию, как сразу начинается потасовка—хозяин, угрожающе шипя, нападает на него и выдворяет вон.

У гусей «браки» заключаются на всю жизнь, их супружеская верность, как и у лебедей, вошла в легенды. Однажды на острове во время перелета была убита гусыня (тогда охотиться здесь еще разрешалось). Гусак долго не покидал подругу, призывая ее с неба, и потом в течение нескольких дней снова и снова возвращался на это место.

Охотник запомнил птицу—клюв у нее был необычный, с каким-то приметным наростом. Прошел год. Охотник опять устроился на прежней засидке. И вот от одной из пролетающих стай отделился гусь и с криком стал кружить над человеком. Это был тот самый, с необычным клювом. У охотника, как он рассказывал, не поднялась рука на выстрел...

ЦЕПОЧКА ЖИЗНИ

Гнездовья именуют еще колониями, а первые поселенцы острова даже называли их «деревнями»—что ж, раз есть семьи, почему бы не быть и деревням? Так или иначе, гуси селятся вместе не случайно: так они вольно или невольно учатся друг у друга борьбе за жизнь. И главное, только сообща могут они отстоять себя, оборониться от хищников.

Песец, например, не рискнет забраться в середину гнездовья, там ему не сдобровать.

Большим коллективам вроде того, что обитает на Тундровой, защищаться, естественно, легче. А как выживает «деревня» поменьше, такая, как эта?

Тут стратегия обороны иная. Наблюдая за гусями, я заметил среди них полярную сову—она сразу бросалась в глаза своими широкими крыльями и большой круглой головой. Держалась она постоянно на одном месте, на возвышенном мыске, видимо, возле своего гнезда. В ней-то и была вся разгадка гусяной стратегии.

Сова как бы сдает в аренду гусям свой гнездовой участок. Это мирное сожительство крайне выгодно для них—сова, сильный и свирепый хищник, нападающий порой даже на человека, надежно охраняет их от извечных врагов—прожорливых песцов и от других разбойников—нахального поморника и коварного бургомистра, самих же гусей при этом рассматривает как «своих» и не трогает.

Но зачем такие соседи сове? И ей сожительство идет на пользу: при появлении полярной лисы гуси своим криком сигнализируют ей об опасном вторжении. Этот выработанный в процессе эволюции альянс основан на межвидовой солидарности.

Замечено, что размножение сов на острове целиком зависит от наличия здесь их основной добычи—леммингов: много грызунов—и сов много, и, наоборот, в годы спада численности леммингов совы практически здесь не гнездятся. Гуси связаны с совой, та зависит от леммингов, а лемминги?.. От кого или от чего зависят благополучие и рост поголовья этих маленьких зверьков?

Спады и подъемы в размножении леммингов повторяются периодически, примерно раз в четыре года, причем численность изменяется в очень больших пределах—в несколько тысяч раз! Бывает, что остров буквально кишит зверьками, а случается, они исчезают почти совсем. В чем причина такой цикличности? На это, увы, пока не может ответить ни один зоолог.

Гипотез было много. Немецкий ученый XVI века Цейглер, например, совершенно серьезно утверждал, что зверьки падают из туч во время сильных бурь. Всеведущие скандинавские саги объясняли феномен их внезапного исчезновения... самоубийством. В наше время высказано много предположений о причинах лемминговых циклов: изменения погодных условий, воздействие хищников, истощение кормовой базы, заразные заболевания, нарушения функции желез внутренней секреции, периодичность солнечной активности—и ни одно из них не дает исчерпывающего объяснения механизма этого интересного явления. Тайна саморегуляции численности леммингов до сих пор не разгадана.

Маленький, незаметный зверек оказывается едва ли не самым важным среди животных тундры, от него зависит благополучие не только сов и гусей, но и многих других птиц и зверей Севера, он — центр переплетения сложных взаимоотношений животных, населяющих полярные страны. Как пошутил английский зоолог Элтон, «единственное, что есть в шкурке лемминга ценного, так это сам ее хозяин».

Вернемся же теперь к нашим пернатым героям с другой стороны зоологической цепочки — через песцов. Для них, как и для сов, лемминги — основная пищевая база, при спаде их численности «пресс хищников» на гусиное гнездовье сразу резко усиливается, почти все песцовое население скапливается вокруг колоний гусей, обескровливая их.

Так все гибко и тесно взаимосвязано в тундре, целый комплекс «дружбы» и «вражды» держит в неустойчивом равновесии природный зоологический ансамбль. Здесь единая, неразрывная цепочка жизни, нарушишь одно звено — рассыплется вся цепь. И человеку опасно вторгаться в этот целостный и в то же время хрупкий мир.

Поучительный пример неразумного вмешательства людей в природу — как раз гнездовье, за жизнью которого я сейчас наблюдаю. Всего несколько десятилетий назад сюда, в долину Мамонтовой, впервые пришел человек. Что он увидел? Геолог Громов, работавший здесь в середине тридцатых годов, рассказывал мне:

— Я поднялся на сопку и не поверил глазам. Вся долина в десяток квадратных километров была сплошь усеяна гусями и их гнездами. Это было какое-то фантастическое зрелище. Настоящий пир жизни!

А спустя двадцать лет после Громова на Мамонтовую пришли другие геологи, целый механизированный отряд. Они разбили лагерь прямо в центре гнездовья, рассчитывая, по-видимому, на легкую добычу и дармовую пищу. И гнездовье, самое крупное тогда на острове, на котором веками, а может быть, и тысячелетиями кипела жизнь, опустело, оставшиеся в живых гуси покинули его.

Так было до 1980 года, когда гнездовье на Тундровой изменило конфигурацию и сместилось к югу, перехлестнув водораздел, отделяющий эту реку от Мамонтовой. И вот в поселок пришла добрая весть: в долине, близ устья Веселого — полтысячи гусиных гнезд. В следующем году количество птиц здесь удвоилось, образовалось компактное, хорошо выраженное гнездовье, которое с тех пор сохраняется, хотя и не может пока жить без высокого покровительства совы.

Возрождение этого гнездовья — явление, безусловно, чрезвычайной важности. Что с ним будет — покажет время, но уже сам факт появления его — показатель эффективности заповедания и свидетельствует того, что беда поправима. Люди уничтожили, но люди могут и возродить.

Судьба гнездовья зависит от нас самих и... от гусей. Поживем — увидим.

КРАСНАЯ ПАЛАТКА

Сколько ни приезжай на остров, каждый раз он открывается с новой, неожиданной стороны. И загадывает новые загадки! Достая свою карту, чтобы нанести туда контур гусиной «деревни», и вижу, что место уже занято: долину реки Мамонтовой перебегают надпись: «Тундростепь», со знаком вопроса.

Тундростепь... Доисторический ландшафт. Еще одна современница мамонтов!

Эту надпись я сделал в Москве, перед отлетом на остров. Тогда же выписал в блокнот несколько цитат к «истории вопроса». Блокнот при мне, можно перечитать.

«...Одна из замечательных загадок тундростепи — исчезновение ее как природного явления с лица земли» (Гатри, Берингия в кайнозое, 1976).

«В юго-западной и центральной частях острова найдены реликтовые тундростепные сообщества, уцелевшие от тундростепи Берингии с содоминированием осоки притупленной и осоки скальной, с овсяницей ленской, прострелом многонадрезанным, смолькой ползучей...» (Проект организации государственного заповедника Остров Врангеля, 1977).

И еще одна запись, сделанная уже на острове:

«Разнотравно-осочковая, солифлюкционно-пятнистая тундростепь — на южном склоне вблизи устья ручья Веселого» (Летопись природы заповедника, 1983).

Занятная получается картина! С одной стороны, по утверждению ученых, тундростепь исчезла с лица земли, а с другой — она существует, указан даже точный адрес.

По этому адресу я сейчас и явился, но как определить, дома ли хозяйка?

Передо мной лежит, безусловно, очень древний ландшафт. Мамонтовая — одна из самых красивых и старых рек острова — протекает здесь в широкой котловине в меридиональном направлении. Бросается в глаза несоответствие ширины реки и ее долины — свидетельство того, что когда-то на месте Мамонтовой была куда более мощная водная артерия. Это долина реликтовая, она есть не что иное, как обрывок какой-то большой долины, существовавшей в те времена, когда остров Врангеля соединялся с материком. В ней геологи обнаружили разрезы древних речных отложений, по которым можно восстановить четвертичную историю острова. Все это мысленно возвращает наблюдателя к Берингии, мамонтовому материку.

И вот выясняется, что на острове сохранились не только многочисленные представители фауны и флоры ледникового

периода, но и целые участки древнейшего, совершенно необычного для наших дней ландшафта! И был этот ландшафт, несмотря на существование ледников, вовсе не мертвой пустыней, а скорее напоминал прерии — необозримые и пышные травяные пастбища.

Итак, все у меня теперь есть: и точный адрес тундростепи, и подсобный «научный аппарат», и само «живое ископаемое» должно быть где-то здесь, перед глазами, но, сколько я ни оглядываю просторную, повеселевшую после пасмурных, ненастных дней долину Мамонтовой, при всем желании не могу отыскать в ней никаких прерий — обычная тундра... Придется признать свое поражение — тут нужен не дилетантский взгляд, а просвещенный глаз специалиста.

Свернем карту, захлопнем блокнот. Оставим загадку тундростепи до встречи с Пумой-два. Без ботаника здесь не обойтись...

В тот день, когда мы приехали на Неожиданную, дул ветер, холодный и резкий. Услышав шум вездехода, Пуляев выскочил из палатки в одной майке, стремительный, поджарый, длинноногий.

— Суровяк? — с улыбкой спрашивает он, кивнув на ветер. — Такое уж место, открыто со всех сторон. Зато интересное!

Красный купол палатки виден издалека. Но когда возвращаешься из маршрута, волоча ноги по вязкой глине, податливому мху, хлюпающим болотцам, он будто не приближается, а отступает. А тут еще ветер дул почти без перерыва, с постоянством вентилятора, меняя направления, толкая то в грудь, то в спину все время, пока люди здесь работали. Однажды даже чуть не снесло вместе с жильем в реку — пришлось срочно завалить края палатки гравием.

Тундра жила своей размеренной жизнью. Пролетали птицы, шнырял песец, проверяя, нельзя ли чем поживиться, а как-то пришли олени... Был среди них теленок-инвалид — задние ноги раза в полтора короче передних. Так бедняга и прыгал, пытаясь угнаться за взрослыми. Погоревали над судьбой малыша (хорошо хоть, что волков сейчас на острове нет!) и решили назвать его именем ближний безымянный ручей...

На моей карте появилось еще одно «незаконное», совсем уж свежее название — ручей Хромоножки.

Пуляев сразу начинает толковать о своем деле, о последних находках, о растениях, ради которых и поставлена в этом неудобном уголке острова красная палатка. Результаты работы Пумы-два налицо: целая гора гербарных листов в связках, заложенных сверху и снизу сетчатыми рамками, покоится на столе внутри палатки, в оранжевом отсвете от купола. Похоже на древние буддийские книги. Мудрость природы.

— Пожить бы здесь... годик! — мечтательно и лукаво говорит Сташкевич, для которого тундра не только работа, но и отдохновение от директорского кабинета и поселковой круговерти.

— Как идет пятая, трудовая четверть? — спрашивает он напарника Пуляева, пятнадцатилетнего Колю Тымкувгье.

Тот стесняется, молчит, только улыбается, и Пуляев отвечает за него:

— Работает на совесть. Но ботаника из него не получится. Не интересуют его растения...

— Такой задачи и не ставилось, — говорит Сташкевич. — Нечего молодежи в поселке сидеть, собакам хвосты крутить. Пусть к тундре привыкают. А заодно и заработают.

Пуляев продолжает свое:

— И никакая здесь не пятнистая щепнисто-мелкокустарничковая тундра, как считали раньше, а пятнистая злаково... словом, более сложное образование. Наши предшественники слишком упростили. А стоило копнуть глубже — другая картина...

«Копнуть глубже» — в этих словах, пожалуй, вся суть научной работы на острове сегодня. Пионеры исследования его сняли только самый верхний пласт знаний о заповедной земле, отдельные, разрозненные и разновременные экспедиции преследовали специальные, часто узкие цели. Заповедник впервые изучает природу в сложной взаимосвязи всех компонентов и явлений, сводя данные различных наук в единый круг знания. Нынешнее поколение ученых как бы вторично открывает остров — на другом уровне и со свежими силами.

Это относится и к животному миру, и к той, менее заметной ипостаси многоликой природы, которая называется флорой. Каждый полевой сезон Пуляев находит в разных уголках острова все новые и новые виды растений, доселе здесь неизвестные. Вот и в это лето, на Неожиданной, встретил еще одного незнакомца. Тонкий стебелек, улегшийся между гербарными листами, перекочует теперь в научный фонд заповедника, станет неотъемлемой крупницей наших знаний об этой земле. Всего одна строка, может быть, часть строки в «Летописи природы» — но сколько за ней стоит!

Предмет особых интересов Пуляева — геоботаническое картирование местности и изучение растительных сообществ — фитоценозов. В различных точках острова им заложены пробные ботанические площади — своего рода испытательные полигоны, которые позволяют подробно изучать жизнь растений год от года и посезонно, в зависимости от климатических изменений, воздействия человека и животных.

Мне, конечно, повезло, что с флорой острова меня знакомил такой фанатик своего дела. О чем с ним ни

толкуешь— неизменно сворачивает на излюбленную тему и говорит о ней с таким жаром, что и тебе начинает казаться: нет на земле более важного и интересного занятия, чем ботаника!

Дорогой Пуляев устраивается не внутри, а на крыше вездехода— так больше увидишь, не теряет времени на остановах, делает небольшие пробежки, рассматривает растения. Заодно просвещает и меня и даже потчует. Это нордосмия, эскимосы собирают и употребляют ее в пищу. А вот пожуйте-ка этот листик— на что похоже? Совершенно верно, на ботву моркови...

На мой вопрос о тундростепи Пуляев ответил не раздумывая:

— Конечно, есть! А то, что вы ничего не увидели, немудрено— ведь и мы наткнулись на тундростепь не сразу. Это явление очень редкое и важное— оно раскрывает секрет происхождения нашей флоры.

Пуляев так заразил меня ботаникой, что я решил, вернувшись в поселок, продолжить свое знакомство с растениями и докопаться наконец до тайн тундростепи.

Такой случай мне скоро представился.

РОДИНА АРКТИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ

Густой туман непроницаемой завесой окутывает остров, поездки отменены, взамен их Сташкевич выдает мне толстые тома «Летописи природы»— путешествуй пока по бумаге!— вручает торжественно, постучав по переплету пальцем:

— Основной документ наш. Тут— все... Вернуть в целости и сохранности!

Щедрость директора я оценил в полной мере, когда часами напролет просиживал над этими машинописными фолиантами: «Летопись природы» действительно кладезь знаний, результат всей научной работы заповедника. И открывается она словами благодарности, данью памяти предшественникам: «Посвящается первым труженикам Заполярья, положившим начало освоению и сохранению арктического острова»...

Раскрыл я «Летопись» на том, что интересовало сейчас больше всего— на разделе «Флора». Штудирую, а для практики с удовольствием хожу в постоянный фенологический маршрут— вдоль ряда колышков, прямой линией расположенных по тундре, заглядываю во врытые под ними банки из-под сгущенки для ловли насекомых, знакомлюсь с новыми травами и цветами, многие из которых уже знаю по имени, вникаю в бурную череду событий в их жизни: почти каждый день какие-то растения зацветают, какие-то отцветают, а что-то уже и плодоносит. Полярное лето коротко, дорог каждый час, вот они и спешат осуществить себя, без отдыха,

без устали трудятся над жизнью. А выспаться будет время— впереди полярная ночь.

И ботанические «штудии» не прошли даром— в эти туманные дни мне приоткрылась малоизвестная до сих пор область живой природы, я увидел, как ученые упорно, шаг за шагом и все же стремительно— ведь еще в прошлом веке люди знали об острове не больше, чем о Луне,— шли к открытию мира растений.

Первый исследователь растительности острова Борис Николаевич Городков отнес его к зоне полярных пустынь. Он насчитал в здешней флоре всего 160 видов растений. Но Городков работал на восточной, более суровой стороне острова, ему не довелось побывать в теплых долинах центрального межгорья. В середине шестидесятих годов эстафету исследований приняли сотрудники БИНа— Ботанического института Академии наук. За десятилетие они увеличили список местных растений вдвое, доведя его до 325 видов. Прошло еще десять лет, наш знакомый Анатолий Пуляев начал повторную инвентаризацию флоры— и что же?— новая волна открытий: список растений увеличился до 389! Стало быть, тот стебелек, который Пуляев нашел на Неожиданной,— 390-й, замыкающий, но, очевидно, далеко не последний в списке.

Какая уж тут «пустыня»!

Прежние представления пришлось пересмотреть. Остров «перекочевал» из зоны пустынь в зону тундр, составив в ней особую, врангелевскую подпровинцию.

Оказалось, что флора острова богаче, чем на противоположном материковом побережье Чукотки, и даже самая богатая в Арктике. Многие причины— горный рельеф, различия в микроклимате и почвенных условиях— определяют это разнообразие растительности, от «оазисов» в долинах, где заросли ивняка, достигающие метровой высоты, образуют сплошные покрытия, до верхнего яруса гор, где все цветы исчезают, остаются только лишайники и скальные мхи. Остров буквально насыщен редкими, исчезающими, сокращающимися свой ареал видами, реликтами, уцелевшими от прежних эпох, и эндемиками, то есть растениями, которые, кроме острова, не встречаются больше нигде. Таковы, к примеру, мак лапландский (он занесен в Красную книгу СССР), мятлик врангелевский, мак Ушакова, лапчатка врангелевская... И состав этих сокровищ выявлен еще далеко не полностью.

Когда узнаешь такое, то невольно проникаешься любопытством и уважением к каждому встречному цветку, ступаешь по тундре с большей осторожностью, боясь придавить невзначай какой-нибудь эндемик или реликт или, пуще того, вовсе не известное науке растительное существо. Чем не фантастическая Земля Санникова в реальности, наяву?!

Неожиданной оказалась и географическая привязка растений. На острове сравнительно мало видов, имеющих циркумполярное распространение. Но зато пограничное положение его — стык двух материков и близость двух океанов — дало удивительный флористический букет: здесь есть растения, которые встречаются на Аляске, но отсутствуют в Азии и, наоборот, растут на Чукотке и в Сибири, но не обнаружены в полярной Америке, а примерно половина — жители обоих континентов. И что уж совсем удивительно, часть врангелевских видов встречается кроме острова только в Канадской Арктике и в Гренландии. Такой парадокс пока не находит объяснения...

Чем же вызван этот уникальный взрыв жизни в Арктике? Ученые пришли к выводу, что главная причина — в родословной острова, в его берингийском происхождении. Флора Врангеля — это древний, хорошо сохранившийся комплекс, который в недалеком прошлом, еще в четвертичное время, составлял единое целое с растительностью обширной гипотетической суши. Такое положение обеспечило насыщение его, с одной стороны, чукотскими и сибирскими видами, а с другой — «американцами» и «гренландцами». В ледниковый период острову «повезло» — он если и подвергся оледенению, то незначительному, а затем морская изоляция помешала переселению сюда новых организмов с суши, что в конечном счете и привело к созданию растительного облика, не имеющего себе подобий.

Многие биогеографы считают Берингию родиной арктической флоры и фауны, расселившихся впоследствии далеко в стороны, а остров Врангеля — чудом сохранившимся ее реликтом, позволяющим проследить историю мамонтового материка. Вот почему такую первостепенную важность имело открытие здесь «живого ископаемого» — тундростепи.

Ботанические бдения позволили мне еще раз окунуться в прошлое и увидеть последнюю сцену той драмы, которую испытала природа острова за последние десять тысяч лет...

Итак, ледниковая эпоха. Четыре месяца, как и сейчас, длится полярный день с незаходящим солнцем. Но небо над островом не похоже на наше, скорее на марсианское: красноватая пыльная мгла затягивает его — мириады пылинок, которые сдувает с осушившегося шельфа арктический сухой. Лёсс покрывает льды — почва необычайно плодородная, если есть влага. Для деревьев и кустов глубина летнего оттаивания мерзлоты слишком мала, зато для роста трав этого вполне хватает. И в Арктике изобилует растительность тундростепи, способная прокормить многочисленные стада мамонтов, шерстистых носорогов, лошадей, оленей, овцебыков, сайгаков. Даже зимой из-за необычайной сухости климата снег не заваливает землю, сухая трава стоит на корню и служит пищей животным в долгую полярную ночь.

Мамонтов погубил холод, думали раньше. Мамонтов погубило тепло — к такому выводу пришли современные исследователи. Начавшийся период потепления повлек за собой грандиозные изменения. Зимой снегопады укрывали траву мощным покровом, болотные мхи «выживали» эту траву летом. И огромная, кормившая миллионы животных тундростепь стала гибнуть.

Гибель мамонтова материка длилась не одно тысячелетие, она наблюдается и по сей день.

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ

В эти дни случилось событие, которое называли на острове одним словом — «Громов»... Спустя ровно полстолетия после первой экспедиции на берег бухты Роджерс опять ступил геолог Леонид Васильевич Громов. Необычайный подарок он сделал себе к восьмидесятилетию!

Летели мы вместе, и я видел, как волновался, как ждал встречи с островом Леонид Васильевич.

— Еду работать! — показывал он на связку старых карт и фотографий. — Надо помочь с организацией музея. Дам консультацию по геологии, расскажу, как все начиналось. Пройти бы с молотком по старым маршрутам!

И нырял в воспоминания, свободно пересекая пространство жизни, — память его не подводила.

На остров он попал молодым, но не начинающим геологом. Позади уже были тяжелейшие разведки на совершенно диком в ту пору Таймыре, открытие молибдена в Забайкалье... И после острова жизнь не шла под уклон. В войну — начальник штаба прославленного партизанского соединения Бати на Смоленщине. Затем снова Главсевморпуть, Госплан, Академия наук, длительные командировки за границу. Открыл еще несколько месторождений, вырастил целый отряд учеников разных поколений. Почетный полярник, кандидат наук, автор нескольких книг. Ранения, ордена, дети и внуки... И сейчас ходит на службу, возвращается поздно: ведет научную тему в одном институте, преподает в другом.

На мысе Шмидта нас атаковал какой-то гладкий, энергичный здоровяк в летной форме. Держался он важно.

— Вы на остров? — спросил он Громова. — Вот что. Я крупный коллекционер камней. Мне надо хорошую дружбу хрустала. Привезите и оставьте у начальника аэропорта на мое имя. В долгу не останусь.

— Вы крупный коллекционер, а я простой геолог. Любый камень на острове — собственность заповедника, я там не распоряжаюсь.

— Леонид Васильевич, больно уж вы с ним вежливо, — сказал я потом.

— Может быть,— задумался он. И добавил:— Видите ли, мы тоже воспитаны на слове «надо», только в другом значении. «Надо» не мне—людям...

А горный хрусталь на острове, конечно, есть. И отличный—пьезокварц, без которого не обходится ни один радиоприемник. И открыл его Леонид Васильевич.

Где только не довелось ему бывать, но никуда так не тянуло, как на остров. Сбылось—после путешествия длиной в жизнь геолог возвращался в свою молодость.

Вот что рассказывал он о том, самом первом «поле» на Врангеле:

— В начале августа тысяча девятьсот тридцать пятого года ледокол «Красин» подошел к мысу Литке, я высадившись на берег, поставил палатку и остался один. Помню, опытный уже полярный летчик Фарих, бывший на ледоколе, покачал головой на прощание: «Ну, наплачешься ты, Громов. Держись!»

Первый раз в Арктике, острова не знаю, полярная станция—за сотню верст, и снабженцы меня подвели: не дали мясных консервов, только крупу и концентраты—как их сварить в маршруте? Я просто не представлял, что меня ждет, потому и ни в чем не сомневался. Это теперь удивляюсь: неужели такое возможно?

Длилось это мое «поле» сорок дней. Задача—первая геологическая съемка территории, нанесенная на карту... которой еще не было. Да, предстояло одновременно со съемкой составлять и карту-миллионку, такая сверхзадача.

Первый маршрут на острове оказался и самым трудным, и самым интересным. Выручали только молодость и энтузиазм. Ну и эскимосы помогли—Таян и Анакуль, они охотились рядом. И все же, пожалуй, многовато было стрессовых моментов—рассчитывать-то ведь приходилось только на себя. Однажды повис на скале—ни вверх, ни вниз, изодрал руки в кровь, поранился здорово. В другой раз видел с мыса Уэринг японский эсминец, совсем близко—а что сделаешь? У меня карабин, а у него—пушки. Пальнет—как сдунет. Попытался как-то на байдарке обойти Уэринг с моря и попал в водоворот. Несколько часов выгребал против течения в ледяной каше. Промок, промерз до костей, а в голове стучит: «Нет, нет! Не может быть! Это еще не все!...» Когда добрался до берега, свалился, выпался, и потом такая радость жизни обуяла—пел, сочинил нечто вроде гимна, благодарность дедушке-океану за спасение.

Но самое тяжелое было еще впереди—добраться к людям. Продукты кончились, обувь износилась, ступни—сплошной волдырь. Сначала шел, потом полз... Начиная с мыса Гаваи, уже видна была впереди полярная станция, и я пытался дать знать о себе: стрелял, разводил огонь, авось увидят...

Спасла меня старая эскимоска Инкали, ее всевидящие глаза. Пришла к начальнику станции Петрову: «Там человек идет. Плохо идет...» Никто больше ничего не увидел, но поверили, послали людей—и подобрали меня, лежащего в нескольких километрах, уже без сил. Мы потом с Инкали стали большими друзьями.

Таким было начало. Отлежался, пришел в себя. И с ноября возобновил походы—уже на собаках, определяя по всему острову опорные точки для глазомерной съемки, устраивал продовольственные базы для летних работ.

Летом начал геологическую съемку совместно с глазомерной, привязывал ее к опорным точкам. Пешком. Иногда один, иногда с помощниками—эскимосами. Следующей зимой снова на упряжке—опорные точки в других местах... Словом, уезжал я в тридцать седьмом с первой топографической и геологической картой острова. И уже прирос к нему, грустно было расставаться. Зашла Инкали:

«Уезжаешь?»—«Ничего, еще увидимся»,—я знал, что приеду опять. «Да нет, я ведь уже старая, меня, наверное, уже не будет...»—«Ты еще долго проживешь! Ну что ты! До смерти далеко...»—«Как далеко—все равно близко...»

Когда через год я вернулся на остров, Инкали уже не было в живых. И я назвал ее именем гору. Теперь Инкали стала природой...

Громов осуществил свою «хрустальную мечту»—снова проехал по старым маршрутам. Были встречи, много встреч.

Была встреча с Инкали—как с человеком, разговаривал Громов с красивой, видной издали горой. В бухте Сомнительной вспоминал с Марией Степановной Нанаун, как когда-то играл с ней и с другими детьми в прятки, шутил—вот как хорошо спрятались, на пятьдесят лет, и все равно нашлись...

У могилы друга, «геолога, поэта и плотника» Евстифеева, погибшего в маршруте, читал стихи из его «Поэмы о космосе»: «Прекрасна Земля и при солнечном свете, и в тихом сиянии бледной Луны, и там, где лианы сплетаются в сети, и в ракете грозном полярной волны»...

— Ну, здравствуй, дорогой Иван Николаевич! Вот ведь как пришлось встретиться...

Были встречи с зимовщиками полярной станции, с работниками заповедника, с детьми острова—эти ходили за Громовым по пятам.

На крыльце магазина, когда Леонид Васильевич улыбнулся двум пацанам, один из них вдруг, подбоченившись, спросил: «Ты что, меня любишь, что ли?»—«Конечно, люблю»,—сказал Громов. «А почему?»—«Потому что ты хороший парень». «А меня?»—высунулся еще один.—«И тебя тоже!»

Мальчишки засияли.

И потом, когда Громова уже не было на острове, они все донимали вопросами:

— А где ветеран? Где Громов?

Улетая на Большую землю, перед тем как сесть в вертолет, Леонид Васильевич снял шапку:

— Прощай, мой остров!

В ТУНДРЕ АКАДЕМИИ

Просыпаюсь... от жары. Оленья постель—кукуль, как печка, но вылезать пока не хочется: легкий ветерок освежающе гладит лицо, в ушах, баюкая, катится многозвучный и ровный шум реки. Не сразу понимаю, где я—на Тундровой, Мамонтовой, Неожиданной?..

Открыв глаза, вижу перед собой ослепительно белый китовый позвонок, за ним—зелено-ржавую плоскую равнину без единого выступа, убегающую до самого горизонта, над которым эмалевой синей сферой взмывает небо.

Тундра Академии!

Чтобы попасть сюда, мы пересекли остров с юга на север, от моря до моря, часами петляли по снежникам и сланцевым россыпям Восточного плато, форсировали всплывшие после дождей и съедающих снег туманов ручьи и реки. Труднее всего далась переправа через Клер. Высокие снежные обрывы по обоим берегам, между ними, в провале, клокочущая стремнина—такой предстала перед нами эта река, одна из самых больших на острове. Временами вездеход замедлял движение, полз словно на ощупь, рискуя угодить в пропитанную талой водой глубокою снежницу или свалиться с береговой кручи. Лишь после нескольких попыток Лева Нанаун наконец нашел брод и через эту преграду...

И вот горы позади. С последнего перевала перед нами распахнулось, захватывая дух, громадное, в половину земного окоема, пространство—Тундра Академии. Она простиралась на несколько десятков километров, сверкающая под косыми лучами низкого солнца бесчисленными брызгами озер и болот, окаймленная по дальнему краю серебристой кромкой океана, как некая безмятежная, спрятанная от людей страна. Стремительная речка Насхок, с ревом вылетая из гор рядом с нами, там, на ровном просторе, смиряла свой характер, успокаивалась, замедляла бег, ширилась, дробилась на рукава и заводи. Долина этой реки, синей извилистой лентой перепоясавшей Тундру Академии, и была теперь нашей дорогой.

На Насхоке меня ожидала счастливая находка: на галечниковой отмели я подобрал камень со следами древней жизни—ископаемыми ракушками. Эти существа обитали здесь сотни миллионов лет назад, в ту эпоху, когда самого острова еще и не было и на его месте простирался бескрайний океан. Стало быть, я держал в руке ни больше

ни меньше, как след самого начала зарождения острова, его утробного периода... Гораздо позднее, в ледниковое время, Тундра Академии была излюбленным пастбищем мамонтов: по пути нам не раз попадались потрескавшиеся и расщепившиеся куски их бивней, похожие издали на простые обломки бревен.

Кусок бивня вместе с разными деревянными поделками висел и в балке близ устья Насхока, куда мы рано утром наконец прибыли. Избушка, которой с нашим появлением суждено было обрести радиоголос, стать Пумой-шесть, выглядела так, будто только и ждала нас, чтобы дать уют: идеально чисто, на полке—аварийный запас продуктов.

В раскрытой тетради, лежащей на столе,—записи, сделанные разными почерками и в разное время: каждый, кто здесь побывал, оставил после себя краткий отчет о работе, советы и предостережения будущим жильцам. Такие памятные журналы ведутся сейчас во всех «домах для бродяг» на острове и читаются с большим интересом, чем иные книги.

«Балок доставлен из Ушаковского на Ми-8. Стационар для летнего учета песка. Картирование песцовых нор на участке Насхок, наблюдения за поведением... Осторожно! Капельница заправлена...»

«Капельница»—это железная печка, в которую по трубочке сочится горючее. Название—лучше не придумаешь: в холодную пору она и впрямь спасает жизнь.

«Подогнали стадо оленей, одну тысячу голов. Гон у оленей продолжается. Пасли стадо. Выезжаем на четырех «Буранах» с прицепами для перегона оленей к нижнему течению Клер.

P.S. У балка остались белый медведь и белый песец...»

Последнюю интригующую фразу мне тут же расшифровал помощник лесничего Паша Марюхнич:

— Это мы здесь оленей пасли, собирали к забою. Ну, и наткнулись на одного павшего. Только приволокли его к балку, и тут же, неведь откуда, появился этот мишка, унюхал, бродяга, что есть чем поживиться. Сколько мы его ни отгоняли ракетами—бесполезно, так и жил рядом, поест и отсыпается себе у реки. Вы ведь знаете, как медведи нас атакуют...

Действительно, медведи теперь стали чаще приходить к людям в гости. Должно быть, знают: единственное, что им угрожает,—это ракетница. Не раз приходилось отлавливать зверей в специально сделанные для этого ловушки и отвозить от греха подальше, обычно за мыс Блоссом. И не всегда встречи с ними заканчиваются идиллически, как на Насхоке.

Апрельской ночью на кордоне в бухте Сомнительной появилась медведица. Она бесцеремонно вломила в дом старого чукчи Ульвелькота, убила нескольких упряжных

собак, потом, вытащив из сеней кусок оленины, принялась за ужин. Хозяин дома не растерялся, схватил подвернувшееся под руку копые и дважды крепко ударил незваную гостью — в шею и в лопатку. Та убежала на берег и стала там тереться о лед, залечивать раны.

От такого зверя можно было ожидать чего угодно — медведица бросалась и на людей, которые пытались отогнать ее выстрелами из ракетницы. В Москву полетела радиogramма: просим дать разрешение на отстрел...

На следующий день с помощью вертолета и снегоходов островитяне отогнали медведицу чуть дальше, в торосы. Она была не одна, рядом паслись два здоровых двухгодовалых пестуна, каждый ростом с мамашу. Главк отреагировал не сразу (там были выходные дни, потом начались неизбежные обсуждения и согласования), когда же наконец — через десять дней! — разрешение пришло, дело решилось само собой — медвежьего семейства и след простыл.

...Пора, однако, и честь знать. Не дело уподобляться медведям. Свернув кукуль и окатившись студеной речной водой, присоединяюсь к Павлу, который уже готовится к первому разведочному маршруту. Он посвящен полярной лилице — песцу.

ЧАС ПЕСЦА

В тундре нынче весело. Разгар лета — не только пора цветения растений, но и время наибольшего оживления в мире пернатых. Воздух напоен душистым теплом и звенит разноголосыми птичьими криками и песнями. Чаще всего встречаются кулики, они хорошо различимы в полете, но, когда садятся, совершенно пропадают из виду, сливаются с землей. Такая пестрая окраска, конечно, не случайность, а единственное средство защиты от врагов; бывает, подойдешь вплотную, почти наступишь, но заметишь не раньше, чем вспорхнет.

— Тули-и... Тули-и... — плачет тулес, быстро перебегая с места на место и тревожно поглядывая на нас. Жалобный голос этого крупного кулика, просто, но изящно «одетого» — светлая шапочка, черная рубашка, рябая накидка, — не спутаешь ни с каким другим, столько в нем щемящей, почти человеческой тоски. Некоторых нервных людей он быстро утомляет и даже начинает раздражать, а жаль: если он и призывает нас к чему-то, так это к доброте и участию.

Впрочем, всякая птица замечательна по-своему, у каждой своя повадка и статья, своя партия в общем хоре. Вот кувыркается в воздухе исландский песочник, ярко-рыжий, с «чешуйчатой» спинкой, нас он, кажется, вовсе не боится и, пролетая мимо, даже здоровается безмятежным посвистом: «Фьюви, фьюви, фьюви...» У камнешарки — ее легко распоз-

нать по черным полоскам на крыльях и хвосте — крик резкий и громкий, с непрерывной дробью в конце — «тр-тр-тр...». Этой шустрой небольшой птичке, неутомимо снующей по тундре, вроде бы и вообще ни до кого нет дела, так самозабвенно занята она своей ежедневной съестной заботой. В упорных поисках корма она буквально обшаривает всю землю, даже переворачивает камешки, отчего и получила свое имя. А попадись камень побольше, одной не справиться — зовет на помощь друга, трудятся сообща.

Вдруг послышался вдали сердитый, грубый клекот: «Кав-кав-кав!..» — над тундрой завис на бреющем полете сизобелый бургомистр, и сразу воздух пустеет, все затихает. Такому лучше не показываться...

Шагая по Тундре Академии, то и дело наступаешь на птичьи перья и пух, можно подумать, что здесь произошло какое-то грандиозное побоище. Все, однако, проще — Тундра Академии известна как место линьки белых гусей. Вот и сейчас у водоемов и морских заливов мы заметили несколько сторожких белых стай. Пока их немного — только молодежь, «холостяки». Скоро их будет куда больше. Когда у гусей выведется потомство, они покинут гнездовье в глубине острова и пешком, через горы и перевалы, и вплавь, по рекам, отправятся вместе с пуховичками сюда, на открытые, обильные травами и водой пространства. Здесь они сменяют маховые перья, поставят на крыло птенцов и наберутся сил для дальнего перелета на зимовку в Америку.

И тут гусиному племени приходится вести жестокую борьбу за существование. Ведь линяющая птица теряет способность летать, она беззащитна перед хищниками. Одно спасение — вода. Песцы, которые неотступно преследуют гуся, хорошо это знают. Неслучайно именно в Тундре Академии находятся основные очаги их размножения.

Охотничья тактика песца хитра и вероломна. Пока гусиная стая мирно пасется в какой-нибудь заболоченной низинке на берегу одного из озер, нападать на нее бесполезно — под боком у птиц спасительная водная гладь. Но вот трава выщипана, кормовое угодье иссякло, и они снимаются с места, отправляются к другому водоему. Тут-то и настает час песца. Внезапно выскочив из засады и вихрем налетев на птиц, он обращает их в паническое бегство и на ходу расправляется, азартно и беспощадно, преследуя до тех пор, пока они не добегут до воды и опять не окажутся в безопасности. Гибнут и взрослые гуси, и больше всего совершенно беспомощные еще птенцы.

Признаться, этот пронырливый, коварный зверь у меня никакой симпатии не вызывает. Вероятно, он тоже нужен природе (регулирует естественный отбор, санитар тундры), но уж больно бессовестно себя ведет: и за медведем ходит, как прихвостень, подбирая его объедки, и на помойках

роется, и вообще ничем не брезгует, ворует у сильного, добывая слабого, проникая всюду, жируя на чужой беде. Даже многочисленные капканы, расставленные по всему арктическому побережью, кажется, ничуть не убавили его прожорливого поголовья, даже так называемый антропогенный пресс, придавивший живую природу, его вроде бы не коснулся—он сумел извлечь выгоду и от соседства с людьми—получил еще одну возможность подкормки. Скоро, пожалуй, песец станет (если уже не стал) таким же постоянным спутником человека, как и белого медведя. Этаким образ неистребимого потребителя: «Хочешь жить—умей вертеться».

Конечно, природа не знает наших «хорошо» и «плохо», у нее свои резоны, и все же не могу отделаться от мысли, что, нарушив извечные естественные связи и равновесия в первозданном мире, мы дали большую волю каким-то жестоким, истребительным силам внутри его. И появляются в отравленной сточными водами речке уродливые рыбешки, почти несъедобные, но пожирающие мальков «чистой» рыбы. Вдруг начинают размножаться со скоростью взрыва где-нибудь в океане ядовитые морские звезды, сея смерть вокруг себя и повергая в изумление ученых... И радужные нефтяные разливы им нипочем. А может, как раз это и есть ответ океана на нефтяные инъекции?

Теперь, после организации заповедника, добыча песка на острове запрещена. Вот уж кому здесь рай! И беда не в том, что песка на острове много, а в том, что он наносит ощутимый урон другим, куда более редким и потому ценным животным, в первую очередь белому гусю.

Голод властно гонит зверя с места на место, превращает в вечного бродягу. Песцы не меньшие скитальцы, чем белые медведи: они свободно кочуют вдоль всего арктического побережья, заходят и далеко на юг, к верховьям сибирских рек, вплоть до Амура, и в дрейфующие льды, до самого Северного полюса. Один песец-рекордсмен, окольцованный на Таймыре, в том же году был пойман за пять тысяч километров оттуда—на Аляске!

И только летом, на время рождения потомства, этот зверь переходит к оседлому образу жизни. Тогда же он линяет и выглядит совсем не так, как на пушных аукционах,—это неприглядный, полублезлый зверь, шерсть висит серыми клоچьями. Он будто и сам знает, что в эту пору не имеет никакой товарной ценности,—запросто заходит в поселки и подпускает к себе совсем близко.

Однажды я набрел на лежащего в тундре песка. Он не поднялся даже тогда, когда я подошел к нему почти вплотную, только глядел, не мигая, каким-то прицельным, остекленевшим взглядом. Стало не по себе: может, бешеный, дикует? Несколько минут мы в упор изучали друг друга,

и, только когда я достал фотоаппарат и щелкнул затвором, песец вдруг сделал молниеносный прыжок в сторону и как-то боком, зигзагами стал улепетывать, то и дело останавливаясь и озираясь, как в детской игре «Замри!»...

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО... РОЖДЕНИЯ

Первое песцовое убежище мы с Павлом обнаружили уже в самом начале пути, неподалеку от балка. Сухой песчаный бугор, заросший высокой полынью, весь изрыт десятками зияющих темных отверстий—отнорков, которые, уходя в глубину, соединяются там в сложный подземный лабиринт с множеством ходов и выводковой камерой. Это—норище, а не просто нора, и, должно быть, не одному поколению песцов послужило оно родным домом. В сырой и мягкой тундре мест, пригодных для устройства подземных убежищ, очень мало, все они у песцов на счету, вот и используют их звери из года в год, на протяжении веков, а может быть, и тысячелетий, постоянно расширяя и перестраивая. Небольшой холмик или возвышение на речной террасе превращается в капитальную подземную крепость.

Норище, увы, оказалось необитаемым, никаких свежих следов жизни мы здесь не обнаружили. Но представить себе эту жизнь не так уж трудно. Всего несколько дней назад, на южном побережье, я стоял возле бугра, очень похожего на этот, и над ним, на фоне неба, четко вырисовывались три неподвижных силуэта, один побольше—взрослого зверя и два маленьких—песчат. Они, кажется, разглядывали людей с не меньшим любопытством, чем мы их, и, только когда расстояние между нами сократилось метров до пятнадцати, разом спрятались, но не совсем—еще несколько раз высывались столбиками то один, то другой, пока совсем не исчезли. Мы насчитали в том норище восемьдесят одно выходное отверстие!

Пока Павел считает отнорки здесь и фотографирует, вспоминаю рассказы «песчатников», работавших на острове. Оказывается, здешние песцы отличаются от материковых: они чуть мельче и черепа их пошире. Выявлены привязанность их к «родине» и крепость семейных связей—многие пары из года в год размножаются в одних и тех же норищах. Нередко самки воспитывают кроме своих щенят по несколько приемышей (бывает, даже воруют чужих), а в некоторых обширных убежищах могут соединяться две пары, образуя целые коммунальные квартиры.

Детство песка протекает стремительно, от рождения до самостоятельной жизни его отделяют считанные месяцы. В июне, за неделю-две до родов, самка подыскивает нору и начинает ее чистить и обновлять. В это время норы еще могут быть забиты снегом или залиты водой, тогда она

щенится снаружи, в неглубокой ямке или старом птичьем гнезде. Щенки—их бывает в среднем по восемь-девять штук—рождаются такими крохотными, что каждого можно уместить на ладони.

Но вот нора обсохла, и семейство переселяется в нее. Пока родители рыскают в поисках корма—у каждой семейной пары свой охотничий участок в радиусе нескольких километров от норы,—детеныши проводят время в шумных играх и борьбе, а выглянет солнышко—лезут наружу погреться. С возвращением родителей начинается дележ добычи—леммингов, птиц, яиц, возникают неминуемые ссоры и потасовки.

Окрепнув, щенята отходят от норы все дальше и дальше, обживают тундру. Уже через месяц после рождения они вместе с отцом и матерью совершают коллективные охотничьи походы, гоняются за птицами, подкарауливают леммингов. На этом, собственно, воспитание и заканчивается. В конце августа семейство распадается, щенки начинают взрослую жизнь, повторяющую жизнь родителей. На следующий год они уже могут размножаться и в свою очередь становятся родителями. Цикл завершен.

Не занято и второе нориче, которое мы с Павлом находим, и третье... Похоже, что нынешним летом песцы плодятся плохо. В этом нет ничего удивительного: спад в размножении синхронен с очередным падением численности леммингов. В прошлом году на участке из двадцати обследованных норич пустовали все.

Впрочем, пока делать выводы еще рано, учет только начался, а участок большой—сто с лишним квадратных километров. Павел вместе со своей невестой Верой Кетьху и смешным щенком Вайгачем останется здесь надолго. О себе он говорит скупно. Приехал с Байкала—поманили неизвестные края и, кажется, нашел себя. Работа такая, что приходится делать все понемногу. Это и хорошо, для начала. Самое интересное, конечно, в тундре—с одинаковым любопытством и готовностью занимается он и овцебыками, и оленями, и песцами. А недавно обзавелся фоторужьем, увлекся съемкой.

На обратном пути опять встречаем нашего знакомого тулеса. По тому, как он ведет себя—отбегает в сторону, но недалеко, потом возвращается и снова семенит ножками, словно приглашает за собой—уводит, можно догадаться, что где-то рядом гнездо. Не наступить бы!

Вдруг птица меняет тактику: уже не убегает от нас, а наскაკивает, растопырив крылья, совершенно беззвучно... и замирает в нескольких шагах, припав к земле. Пугает!

— Не умещается в объектив!—жалуется Павел.

Рядом с тулесом на аккуратной травяной подстилке круглятся четыре светлых пятнистых яичка. Обходим их

стороной, и долго еще за спиной разносится прощально и тоскливо:

— Тули-и... Тули-и... Тули-и...

Песцовые бугры—хорошие наблюдательные пункты. С них Тундра Академии открывалась перед нами вся—от горы Кит на западе до мыса Уэринг на востоке. Видны были и места обитания наших ближайших соседей: Пумы-пять—домик под приземистым береговым знаком на косе Муштакова и Пумы-восемь—в укромной долинке возле Уэринга.

И мы не только видим их, но и слышим, хотя нас разделяют многие километры. Перед отъездом—очередной сеанс радиосвязи. В разговоре кроме нас участвуют четыре пумы: Александр Денисенко, Василий Придатко, Константин Литвин, Михаил Стишов.

Денисенко. Обнаружили еще одно гнездо гаги около балка, на краю территории песца.

Придатко. Как реагирует зверь?

Денисенко. Никак.

Придатко. Любопытно. Сам не рассекречивай это гнездо. Если благополучно выведет птенцов, пожелаем им счастливого пути.

Денисенко. Я передам им это...

Литвин. Около гнездовья показались олени, с тысячу голов. Ведем наблюдения, чтоб не потревожили гусей—они еще здесь, появились первые выводки... Приглашаем всех на блины.

Денисенко. А у нас тоже блины.

Литвин. Принесите попробовать. Для нас ваш приход—праздник.

Стишов. У меня птиц привалило. Большой песочник появился, выглядит как черт-те что! И дутыши. Тундра ожила.

Придатко. И здесь светит солнышко. Объявились поморники. Жду появления птенцов у бакланов.

Марюхнич. К общему сведению. В поселке стрижа видели раза три и молодую розовую чайку...

Придатко. Спасибо. Розовая чайка навестила и меня. Это хорошая примета. Между прочим, у нас сегодня—блины...

ЗАГАДКИ СТАРОГО ТОМАСА

Директор заповедника Леонид Федорович Сташкевич не доверяет нашей братии—писателям и журналистам. Бывало так, что, когда я доставал записную книжку, он, в разговоре, машинально ее закрывал и отодвигал в сторону. Меня это всякий раз ужасно смешило.

— Не обижайся,—извинялся он (мы к тому времени уже перешли на «ты»),—чего только не сочиняют об острове! Не

посоветуются, не покажут — и сразу в печать! А печать — это политика, так я понимаю...

Небольшого роста, очень подвижный, крепкий, азартный в деле, он меньше всего похож на кабинетного руководителя: целый день на ногах, успевал всюду и не оставался в стороне ни от какой работы, какой бы «черной» она ни была, и не командовал, а, как говорится, «вкалывал» на равных со всеми. Может, это покажется и излишним для директора, но не на острове, где каждый на счету.

Этот решительный человек с колючим бойцовским характером и должность свою понимает как борьбу — борьбу за заповедник на всех уровнях, на самом острове и вне его. «Надо уметь драться!» — любит повторять он. Или, разговаривая с кем-нибудь, кто, по его мнению, вредит делу или носит камень за пазухой, многозначительно произносит: «Когда я вступаю на тропу войны...» — и умолкает, давая собеседнику самому решить, что в таких случаях бывает.

Поначалу я слишком «упростил» для себя директора: он показался мне жестковатым, слишком прямолинейным и резким, неделикатным, что ли. Смуцал и значок мастера спорта по тяжелой атлетике на груди...

Ближе я узнал его в дороге, когда мы, превратившись в Пуму-шестнадцать, отправились вдвоем в поездку по юго-западному побережью. Вездеход был старенький, новый Сташкевич оставил в поселке на случай какого-нибудь ЧП, и мы изрядно помучились. Ломались и чинились, ссорились и мирились, но в конце концов сделали все, что задумали, и вернулись в поселок товарищами.

У нашей поездки были две цели: первая — осмотреть кордоны, забросить людей в бухту Сомнительную и вывезти с реки Неожиданной, другая касалась истории острова (но об этом — позже).

Два дня из-за поломки вездехода просидели на мысе Блоссом. До нас в домике похозяйничал медведь: высадил окно в кладовке, забрался внутрь, все перевернул и переворшил, ничего интересного для себя, как видно, не нашел и тем же путем убрался восвояси... Забот хватало: возились с вездеходом, собирали плавник для печки, по очереди кашеварили, выбрасывали антенну в час радиосвязи, кроме того, успели осмотреть косу, на которой залегают моржи, и отыскали остатки стойбища первопоселенцев острова, заехавших сюда еще с Ушаковым. Неподалеку от дома, во льдах, грелись на солнышке нерпы, приходил знакомиться песец, на угольной куче мирно насиживала яйца молчаливая гага.

Ночью сидим у огня, варим ужин, курим...

— Эх, — вздыхает Леонид Федорович, — пожить бы здесь годик! Ну хотя бы месяц! Как когда-то, возьмешь собаку — и в тайгу...

Он вспоминает о Сибири, где родился, о бывлой охотничьей страсти и разочаровании в ней, о том, как сменил ружье на дневник и фотоаппарат, как не просто и не сразу нашел себя — успел поработать и на заводе, и на стройке, учился, преподавал, был спортивным тренером и директором спортшколы, пока наконец не нашел свою «генеральную идею» — пришел работать в заповедник.

Подбросили дров в печку, вынесли золу, еще раз заварили чай. И снова, как вспыхнувшим огоньком, греемся неторопливой беседой.

Мой спутник рассказывает о драматической судьбе азиатского бобра, инквоя — на языке коренных жителей тайги — хантов и манси. Их древняя заповедь — «Когда уйдет из наших мест инквой, тайга исчезнет, обмелеют реки, и степные ветры разрушат человеческое жилье» — навсегда определила его отношение к природе.

На острове Сташкевич без малого пять лет. Раньше руководил заповедником Малая Сосьва в Приобье, с самого его основания, так что и в природоохранительном деле не новичок, и морозами не испугаешь. И все же, несмотря на это, остров стал для него испытанием.

— Трудно было? По-всякому! — не скрывает Леонид Федорович. — То свет погас, то пожар, то хлеб не испекли, то в тундру нужно позарез, а ехать не на чем... Какой-то сплошной зарыв. А тут полярная ночь давит на психику... Ну и что?.. Плясал!

— Плясал? — не понимаю я.

— Плясал! Серьезно. Приду домой, задам трепака, кровь и заиграет... Трудно? Всем трудно, не мне одному! Было все же на кого опереться — вот главное. Наладили охрану, начали поднимать науку, выпустили общими усилиями первую «Летопись природы». Кадры ковали сами, не из варягов и гастролеров, а из своих же, самых стойких и верных. Дело пошло... А что теперь — не мне судить, сам видишь.

Не сразу я понял, что директор, кредо которого — «Жизнь — это борьба», ведет свою борьбу на два фронта, сражается не только с внешними трудностями и врагами заповедника, но и с самим собой и что глубоко в нем скрыта та честная неудовлетворенность своим «я», которая не позволяет расслабляться и довольствоваться настоящим. Не прост оказался директор, совсем не прост. За внешней размашистостью, жесткостью и чуть даже наигранной простоватостью таилось непоказное внимание к людям, а неожиданность в поступках объяснялась нестандартным мышлением, выдавала натуру творческую, готовую к риску и перемене.

Остров испытывает всех, кто попадает на него. На Севере и железо изнашивается быстрее. Но есть испытания другого рода, которые достаются не каждому...

Год назад Сташкевича постигло несчастье, самое большое, какое только может выпасть на долю человека: в Сибири при трагических обстоятельствах погиб его сын Костя. И хоть остров тут, конечно, ни при чем, но Леониду Федоровичу все казалось, что, будь он тогда рядом с сыном, несчастья бы не случилось.

Костя приезжал сюда, работал, ходил с отцом в трудные маршруты, успел полюбить Север. Жалея его, мать, Анна Васильевна, бывало, пеняла Сташкевичу: «Ты эксплуататор!» Костя только посмеивался: «Да, папка, ты — эксплуататор...»

Время не остановилось, шло своим ходом, но Сташкевич не смирился с потерей, сердце болело, горе не отступало — сына он вспоминал постоянно, перебирал в памяти мельчайшие подробности его жизни.

— Знаешь, — говорил он, — только теперь понял: я во многом жил для Кости. Ближе его у меня — никого... Он ведь какой был: вот пошел куда-то с друзьями и, даже если идет с краю, оказывается в центре, ребята его обступают...

Однажды в пути, за Чертовым оврагом, у подножия Южной горной гряды, Леонид Федорович неожиданно выключил мотор и вылез из машины. Когда я подошел к нему, он сказал:

— Вот тут как-то мы с Костей высадились из вездехода и пошли на мыс Птичий Базар. Пересекли горы через Скурихинский перевал — на Мамонтовую, потом на Гусиную — и к морю... Он легче меня ходил!

И, помолчав, добавил:

— Через два месяца после гибели Кости получаю от него письмо — так иногда почта сюда приходит! Никогда он не писал таких длинных. Вот, мол, папка, пересматриваю свою жизнь, решил пока не поступать на биофак, хочу к вам на остров, работать в охране...

Постояли... И дальше.

Конечным пунктом нашей поездки стала гора Томас, обрывающаяся в море наклонным, скалистым выступом мыса Фомы. На это место — одно из самых глухих и малопосещаемых — у нас были особые виды.

Именно с ним связаны важнейшие события в истории острова...

1867 год. Американский барк «Нил», промышляющий китов в полярных водах, забрался далеко к северу от чукотских берегов. Льды благоприятствуют плаванию, в паруса «Нила» дует ветер удачи: китобой вдруг увидел неизвестную землю. Вряд ли вахтенный матрос Томас, первым заметивший ее, думал, что его имя попадет на карту. Удачу китобой искали в другом, они даже не сделали попытки высадиться на неведомый берег. Правда, надо отдать должное капитану барка Лонгу, он нанес свое

открытие на карту и публично объявил о нем, назвав новую землю Землей Врангеля.

1911 год. К острову подходит другое судно — ледокол «Вайгач». Здесь, у горы Томас, русские моряки впервые высадились на эту землю и подняли флаг России. Существует фотография, запечатлевшая это событие, на ней изображена укрепленная гурием мачта с флагом и рядом — группа участников экспедиции.

1937 год. Геолог Леонид Васильевич Громов с помощью эскимосов обнаружил близ горы Томас остатки древнего полуподземного жилища и собрал коллекцию костяных и деревянных орудий, принадлежащих загадочным робинзонам острова. Он высказал предположение о переселении сюда во время оно племени онкилонов. В 1977 году мы, высадившись из вельбота у горы Томас, подтвердили открытие Громова: нашли остатки развалившейся землянки, а сверху, на поверхности, множество костей морских животных, и среди них одну со следами обработки.

Многое повидал на своем долгом веку старый Томас, и вот теперь мы надеемся выведать у него хоть одну из тайн...

Когда мы подъезжали к Томасу, солнце уже перекаатилось через закатную точку на полночную сторону неба, и подножие гор укрывали густые тени. Края туч были охвачены багровым свечением, и когда солнце изредка появлялось в просветах между горами, то выплескивалось к нам жидким расплавленным золотом, больно ударяло в глаза. Сильный отжимной ветер оторвал припай, угнал его далеко в море, по пронзительно синей воде бежали пенистые гребни волн.

И здесь, как на всем побережье, множество птиц: с криком реют чайки, пронсятся утки — гаги и морянки, у самого берега прыгают, дружно погружая в воду клювы, плавунчики. В тундре появились островки линяющих белых гусей, попадают и стаи черных казарок — эти гуси держатся особенно сторожко, не покидают лагун и при нашем приближении отступают зигзагами, идеальным плотным строем, как на параде, показывая то черные спины, то белые бока.

Час за часом бродим мы по затененному, неровному и мшистому подножию Томаса в надежде найти то, что восемь лет назад я видел собственными глазами, — следы жизни древнего человека. Попадают, и довольно далеко от берега, различные кости — черепа моржей и нерп, китовые ребра и позвонки, а место землянки — прямоугольная площадка с распавшимися гнилыми бревнами по сторонам — как сквозь землю провалилось! Досадно. Тут бы разбить палатку, дожидаться, когда солнце прогонит тень, и тогда уж искать — спокойно, не торопясь. А у нас времени в обрез...

Но ищешь Индию — найдешь Америку!

Неподалеку от мыса Фомы, на левом берегу ручья

Моржового, у самого впадения его в море, мы наткнулись на гурий с торчащим из него обломком старой мачты. Достаточно беглого осмотра, чтобы понять: сооружение это вполне соответствует знаку, изображенному на фотографии 1911 года. Берег мы основательно прочесали — нигде больше подобных сооружений нет, да и просто сланцевых плиток вблизи не видно, все снесены в гурий. Из истории известно, что никакая иная экспедиция после 1911 года здесь не работала и флага поднять не могла. Все это убедительно доказывало: обнаруженный нами знак и есть то место, где был впервые поднят флаг, возвестивший миру о принадлежности острова России.

Историческое место! Никак нельзя оставлять его в забвении и небрежении — долг перед предками и потомками не велит. Здесь надлежит соорудить прочный памятник с мемориальной доской или на первое время хотя бы памятный знак — чтоб было где поклониться нашим прадедам — открывателям острова.

Что-то вроде этого я доказывал Сташкевичу, пока он наконец не сказал:

— Кто же спорит? Согласен: все важно — и природа, и история. Заповедник — это ведь тоже как памятник. Кажется, вынь один камень — ну и что? А памятника не станет.

Вечерняя радиосвязь снова собрала Чибисов и Пум вместе и принесла новые известия.

Стишов. Видел американских веретенников. У камне-шарки вывелось потомство.

Марюхнич. У меня погода портится, ползет густой туман. Пока осмотрел десять песцовых нор, из них две обитаемые. Ночью сидел на норе, наблюдал.

Овсянников. Имей в виду, Паша, щенки наиболее активны в теплое время и ночью. Взрослые приходят редко, часов через восемь. Щенки подают голос — урхают... Гуси с птенцами к нам, в Тундру Академии, еще не приходили.

Литвин. Скоро будут. Гнездовье опустело. Ждите, они уже в пути!

К сожалению, мы не могли больше здесь задерживаться. Погода портилась, вездеход наш еле дышал. Да и дела торопили: по рации сообщили, что на остров вылетают сразу две экспедиции: из Москвы и Магадана, запрашивали о раненной на Чукотке медведице: нельзя ли переправить к нам, в безопасное место.

ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС ДЕСЯТЬ

Человек идет к зверю — зверь убегает от человека. Привычная схема. В наши дни, когда жизненное пространство зверя все сокращается и бежать, собственно, некуда,

ему, чтобы уцелеть, надо приспособиться жить около человека. Ничего не поделаешь. Даже в заповеднике.

В «Летописи природы» я прочел об одном удивительном случае. Некая пучочка свила гнездо под деревянным тротуаром между домами. Доски сотрясались и скрипели под ногами прохожих — и ничего, птичка в течение сорока пяти дней (!) насиживала яйца, выкармливала птенцов и благополучно отправила их в самостоятельную жизнь.

Гаги — для них, кстати, как и для многих других видов птиц, остров — предел распространения к северу (и, добавим, самый безопасный угол на земле) — эти нередко гнездятся на угольных кучах возле домов: теплее и суше, чем на почве, и подальше от хищников. Не сразу и заметишь, можно подойти вплотную — не улетит.

Обычно такие гнезда тут же попадают под опеку детей, они ревниво следят, чтобы никто не тронул беззащитную птицу. При мне среди мальчишек и девчонок был целый скандал: кто-то разорил гнездо гаги. Грешили на одного парня (видели у него рогатку), объявили ему бойкот, но вскоре оправдали — оказалось, накануне здесь видели песка, добрался-таки и сюда, негодник!

Это совсем не просто — научиться жить рядом и человеку, и зверю. Чтобы спасти меньшего брата, человек создает ему особые условия — организует заповедник и вешает табличку: «Не трогать! Охраняется государством!» Делает он это обычно с опозданием. «Когда охрана природы становится необходимостью — значит, уже поздно...» — горько пошутил однажды основатель Гренландского национального парка доктор Христиан Вибе.

Острову в этом отношении повезло, он еще принадлежит к дикой природе. Мне довелось бывать здесь в разные времена. В шестидесятые годы, когда охота не возбранялась, промысел зверя был обычным занятием. Нельзя, как это подчас делают, изображать прежних островитян этакими злодеями без стыда и совести — другим было сознание, и не только здесь, а повсеместно, богаче была природа, и, казалось, не будет ей убытка, да и многих из вразумляющих и сдерживающих государственных постановлений еще не существовало. Помню остров в семидесятые — годы организации и нелегкого становления заповедника, борьбы за него.

Ныне высокоширотный остров-заповедник, первый в нашей стране, да и во всем мире, не только эталон дикой природы и важный центр ее изучения, но и своеобразное «ядро стабильности», место спасения для зверя и птицы. «Ноев ковчег», в котором сберегаются от современного промышленного потопа каждой твари по паре...

На радиограмму о раненной на Чукотке медведице Сташкевич ответил однозначно: везите, дорогу оплатим. Уже в Москве я разверну газету и найду такое сообщение: в

поселке Рыркайпий появился выползший из моря раненый моржонко, обратно в воду не лезет, возвращается к людям. Что с ним делать? К счастью, есть остров Врангеля — подлечили и отправили туда!

Пристально и строго вглядываются островитяне в любого новичка, ступившего на эту землю. У каждого свои надежды на остров, но и у острова к каждому свой счет. Он сам «отбирает», кто ему нужен, и делает это очень быстро: в экстремальных условиях люди проявляются резче, раскрываются полнее.

Как-то сюда привезли нового работника, он потоптался, порасспрашивал, поглазел и отбыл тем же вертолетом — понял, что ему здесь «не светит». Есть и такие, что прилетают, жмут, ругают остров последними словами, наконец уезжают... и возвращаются опять.

Остров «отбирает»... и «предъявляет» не элементарные, а двойные, тройные требования к человеку. Лентяй, алкоголик, охотник до наживы, двурушник, трус — словом, всякий ущербный человек, который на Большой земле еще может как-то притереться, раствориться в массе, здесь станет не просто бременем — он потенциально опасен. Ведь от него в тундре будет зависеть не только исход дела — сама жизнь. Арктика остается Арктикой, она не сделалась ни «гостеприимной», ни «обыкновенной»: климат не потеплел, льды не поределели, пурги не утихли, полярная ночь не стала короче.

С каждой почтой в заповедник приходит груда писем: кто только не просится сюда! Это внимание подогревает и пресса. Не раз получал подобные письма и я после каждой публикации об острове: помогите попасть в заповедник!

Одно письмо особенно запомнилось. Два брата из Подмосковья перечисляли свои всевозможные достоинства и хобби: скачут на лошади, стреляют из лука, прыгают с парашютом, ныряют с аквалангом, умеют ходить по проволоке... и так далее, на целую страницу — и ничего, что действительно могло бы пригодиться на острове. О главном — своей профессии, деле, которым они владеют, братья-супермены умолчали.

Письма идут, люди ищут свой край обетованный или хотя бы обетованный уголок. Но, несмотря на постоянную нехватку кадров, заповедник не спешит приглашать...

Остров — это не только жестокий климат, но и особая человеческая галактика со своей нравственной атмосферой, своим ладом в отношениях.

Недавно в клубе Ушаковского, «столицы» острова, шел новый фильм — «Челюскинцы». Фильм так себе, подлакированный, но островитяне смотрели его с интересом — близкая тема, как-никак «Челюскин» вез смену зимовщиков на остров Врангеля.

В перерыве между сериями все высыпает на крыльцо.

Какой-то вихрастый мальчишка, подбежав к соседнему дому, начинает колотить в дверь.

— «Челюскин» утонул! «Челюскин» утонул! — кричит он взволнованно и мчится сообщить новость к другому дому. Там повторяется то же самое. К началу второй серии парнишка как раз успел оповестить весь поселок о гибели парохода.

Смешно? Не только. Земля, на которой живет этот мальчишка, сурова к людям, и, видимо, поэтому от них здесь требуется больше человечности, тепла, умения жить с чужими, как с родными, — одной семьей.

И в этой большой семье незримо присутствуют не только сегодняшние островитяне, но и те, кто работал на острове раньше и отдал ему свои лучшие годы. Даже если их самих уже нет в живых...

Среди них — писатель и геолог Олег Куваев.

Узнав, что я был дружен с ним, островитяне расспрашивали меня об этом человеке, уже ставшем легендой, некоторые признавались, что и на Север-то попали, начитавшись его книг. Редкий писатель может похвалиться такой силой воздействия!

Маршруты Олега действительно пролегли через остров. Он вел здесь первые исследования, по его словам, ловил платформу Берингию и сдружился с летчиками полярной авиации, с байдарочными капитанами, каюрами. Эти люди шагнули потом прямо из жизни на страницы его книг.

Собственно, островное «притяжение» и сблизило нас, хотя познакомился я с автором «Территории» за многие тысячи километров отсюда. И вот сейчас встретился с ним еще раз. Когда нанес на свою дорожную карту неизвестное для себя, возникшее недавно название — перевал Куваева...

Историю его происхождения рассказал мне Леонид Сташкевич.

Однажды на Западное плато, между мысом Фомы и пиком Береговым, вертолетом был заброшен балок. Он должен был служить базой для орнитологических исследований Васи Придатко. Плохая видимость помешала точно сориентироваться, и балок был... потерян. Хотя забросившие балок утверждали, что он поставлен «на умном месте», в проходе между горами, все попытки найти его не увенчались успехом. И тут Придатко осенило: «Здесь же когда-то работал Куваев! Я читал, что он прошел через перевал от побережья на речку Неожиданную...»

— Мы поверили в «умную» тропу Олега, — рассказывал Сташкевич, — избрали этот вариант прохода через горы и через полдня поднялись на малозаметный перевал. Чуть выше него, на плоской вершине, приютился потерянный балок! И мы назвали тогда этот перевал именем Куваева. Верю, пройдет время, и оно будет узаконено. С перевала такая даль видна: и Восточно-Сибирское, и пролив Лонга — как на ладошке!

— Но все же,—добавил он, усмехнувшись,—все же, наверно, не Олег первым проложил ту тропу. Ведь рядом, чуть южнее,—гора Томас, стойбище онкилонов...

Удивительно, что гораздо раньше, не зная еще о перевале Куваева, я написал стихи, посвященные Олегу, и назвал их тогда — «Перевал».

Друзья мои, спасибо за уроки!
Но истекли назначенные дни.
Никто из нас не выбился в пророки,
не избежал житейской западни.

Давайте соберемся, как бывало,
раздвеем угли в стынущей золе.
Осталось два шага до Перевала,
последнего, быть может, на Земле.

Ни боль, ни горечь скоротечной были
нам не отравят песни благодать
Еще на небе звезды не остыли
и есть еще, что ближнему отдать.

Лишь эта песня да краюха хлеба
достались нам из всех земных щедрот.
Так вспомним про полынный запах неба,
про холод незаслеженных широт.

Про то, как против тьмы и против ветра
мы шли от огонька до огонька
и все же добрались до края света,
и тесный мир раздвинули слегка...

Улетаю первым вертолетом, может быть, уже завтра.
Обычный день—без «приключений» и происшествий...

В заповеднике аврал: катают бочки, готовят к отправке с пароходом. Наконец-то очистится берег от ржавых многоэтажных наслоений. Великое дело, да и выгодное, как оказалось, когда дошли руки, каждая пустая бочка стоит шестьдесят рублей—порой дороже содержимого.

В конторе заповедника разносится голос Сташкевича—разговаривает по телефону с Москвой. Слышимость—за двенадцать тысяч километров!—лучше, чем при связи с иной Пумой. Фантастика! Но о чем речь? И почему так сердится директор?

— Требуют отчет о лесных пожарах,—объясняет он, повесив трубку.—Ежеквартально заповедник должен посылать в главк справку о рубке леса, каждый год сообщать о сохранности лесов. Я им говорю: давайте отчитаюсь на сто лет вперед—не только лесных пожаров, но и самих лесов у нас не будет. Гарантирую! Нет, не соглашаются, гони бумагу по форме!

В штате заповедника значатся лесничие, помощники лесничего, лесники. Не будем слишком строги—это всего лишь бюрократический курьез, ведомственные издержки... А вот бесконечные отчеты и справки уже не вызывают смеха. Работать мешают!

Еще один звонок—на этот раз недалекий: начальник полярной станции Иван Петрович Стойко приглашает вечером в баню. Баня у полярников отменная, с хорошим паром, венником и традиционными свежееиспеченными булочками в кают-компании—как тут откажешься!

Но Стойко, оказывается, звал не только для этого.

Показывает срочную телеграмму: Певекское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды предлагает подготовить помещение для базовой станции фоновых мониторинга... Мониторинг—это система наблюдений за изменением состояния биосферы под влиянием человеческой деятельности. Создание фоновых станций (то есть «эталонных», характеризующих первичное состояние среды для сравнения с местными, локальными и региональными наблюдениями)—дело в мировой практике совершенно новое.

Два года, рассказывает Стойко, на острове работала специальная экспедиция Арктического института и Института физики атмосферы, изучающая загрязненность воздуха. А вот теперь, стало быть, предполагается организация стационара—первого в Восточной Арктике... Это весть уже не столько из нынешнего, сколько из завтрашнего дня.

Поздний вечер, но поселок не спешит отойти ко сну. Начальник ВПП (взлетно-посадочной полосы), известный остро слов и насмешник, стучит молотком, ладит пристройку к дому. Удары молотка далеко разносятся в прозрачном воздухе.

— Что строишь, Паша?

— Дачу. С террасой. На южном берегу, с видом на море...

У стелы—памятника Ушакову—играют ребятишки, в полярный день и им не спится. Сташкевич рассказывал, что при сооружении памятника укрепил на самом вершине стелы кристалл горного хрусталя. Теперь я вместе с ребятами пытаюсь разглядеть этот хрусталик, поймать солнечный зайчик...

Одна девочка спрашивает:

— Как вы там, на юге, только живете? Не представляю. Там же ску-у-учно! Даже северных сияний нет. У телевизора, что ли, сидеть? Мама собирается уезжать, а я против. Когда вырасту, все равно вернусь сюда.

Глядя на барельеф первого начальника острова, вспоминаю встречу с ним. Как он хотел еще раз попасть на остров, где не был со времени своей знаменитой зимовки! Не бронзовым, а живым!

Минуло шестьдесят лет, как Ушаков с горсткой людей высадился на этом берегу. Когда они отправились на остров, нарком Николай Янсон сказал: «Эта земля—как белый лист бумаги. Никто не знает, что будет на ней написано». Теперь мы знаем, что «написали» на ней люди. Пятьдесят лет освоения и десять лет заповедания... Срок жизни одного

поколения. Много для одного человека и ничтожно мало — краткий миг — для истории.

Летописи не кончаются. Сегодняшний остров стоит на том же самом месте, где возник когда-то, но он движется во времени — уходя в прошлое, становится историей, наукой, песнями, детскими рисунками, проникая в будущее, меняется вместе со всей землей, сохраняя свою неповторимость.

И хоть его уже не назовешь «белым пятном», он все же остается Таинственным островом, местом, где еще возникают новые географические названия, живут современники мамонта, где можно в один день побывать сразу в трех временах года, встретить следы легендарных племен и кораблекрушений, найти выброшенную морем бутылку с письмом, увидеть плейстоценовый пейзаж и необитаемую землю...

И теперь, когда я пересек остров поперек и вдоль, мне меньше всего хочется прощаться с ним, совсем наоборот — этим путешествием я, как знаком сложения, еще раз приплюсовал свою судьбу к судьбе острова, еще теснее и ближе привязался к нему.

Все так же чертит над головой круги бессонное солнце, с каждым днем опускаясь все ниже, вот-вот уже готовое нырнуть за горизонт. Жизнь идет своим чередом: вылупились птенцы на птичьих базарах, песцы покинули норы и ударились в бродяжничество, облетели и увяли цветы, перелиняли и встали на крыло гуси, подросли и окрепли телята овцебыков — новоселов острова. И по-прежнему, вплетаясь в этот извечный ход и хор жизни, в условленный час выходят на связь друг с другом, подают голоса Чибисы и Пумы.

Лето идет на убыль, близится осень, и уже где-то во льдах плывут к острову стада моржей и китов, пробираются в торосах медведицы, чтобы на его берегах залечь в берлоги и вывести к исходу полярной ночи новое пушистое поколение.

Ожил пролив Лонга — с востока на запад пробился первый караван судов. Подступы к острову еще плотно окружены льдами, но скоро, совсем скоро и здесь услышат пароходный гудок. Когда это случится, стаи птиц уже ринутся навстречу морякам в южную сторону. Птицы готовятся к отлету. Пора собираться и мне.

И я поймал себя на мысли, что, еще не покинув остров, уже готовлюсь к новой встрече с ним.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА



Забуть и грохот, и угар,
и будний круг, и теплый угол.
Уехать к черту на рога,
где только родина и вьюга!
Одно спасение — в бегах,
когда настигнет ностальгия
по осажденному в снегах
осколку древней Берингии.

И вот последняя черта
подведена под пережитым,
и остров, как спина кита,
всплывает в море Ледовитом.
В разрывах туч, в тоске утрат
он вырастает предо мною.
Здесь ровно двадцать лет назад
я связь держал с Большой землейю.

Не изменился позывной,
но «стариков» осталось мало —
как будто бомбой разрывной
друзей моих пораскидало.
Крутой петляющей тропой
мои друзья прошли, не прячась,
по Безымянному плато,
где ветер мечется и плачет.

И снова не видать ни зги,
и спит медведица в сугробе,
под колыбельную пурги
храня детеныша в утробе.
И не сведут ее с ума
взбесившиеся эти шири —
под песню вьюги смерть сама
раскачивает люльку жизни.

Здесь на прицеле человек.
Но с каждым следом, что продолжен,
просторней мир, теплей ночлег,
и тверже шаг, и сердце тверже.
Между небесных угольков
над заполярною пустыней
звезда бродяг и чудаков
горит еще неотразимей.

Шенталинский В. А.
Ш47 Дом человеку и дикому зверю.— М.: Мысль,
1988.— 235, [1] с., [12] л. ил.: карт.
ISBN 5-244-00154-X

Перед вами — книга-путешествие, путешествие во времени и в пространстве. В ней впервые, на основе новых данных, в яркой художественной форме представлена широкая картина всей истории острова Врангеля — от геологического сотворения и до сегодняшнего дня.

Автор — полярник и писатель, участник многих экспедиций на остров Врангеля — знакомит читателей с уникальной природой первого островного арктического заповедника, с неписаными законами мужества и товарищества полярных исследователей.

Ш 1905020000-028 160-88
004(01)-88

26.89(2P1)